

В. А. МАНУЙЛОВ

роман
М. Ю.
Лермонтова

« ГЕРОЙ
НАШЕГО
ВРЕМЕНИ »



КОММЕНТАРИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
МОСКВА-
ЛЕНИНГРАД
1966

7-2-2
123-66

«Герой нашего времени» Лермонтова, как и «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя и «Кто виноват?» Герцена, — это начало русского реалистического романа. В романах и повестях И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и А. М. Горького все человечество увидело дальнейшее развитие гуманистических традиций и реалистического мастерства, которыми славится русская литература. Эти традиции живы и действительны и в советской литературе социалистического реализма. Вот почему при изучении истории русской литературы уделяется такое внимание «Герою нашего времени».

Среди разных жанров учебных пособий, наряду с общим жанром семинария по изучению жизни и творчества того или иного писателя-классика, выработался жанр комментария к отдельно взятому классическому произведению. Подобные комментарии были известны еще с глубокой древности в греческой, и особенно в римской, античной литературе, а затем в филологической культуре средневековья.

В русской дореволюционной филологии и методике преподавания классической литературы жанр комментария почти не получил распространения. Поэтому в практике советской средней и высшей школы большим событием был выход в 1932 году учебного пособия Н. Л. Бродского (1881—1951) «Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»». Это пособие прочно вошло в

обиход, выдержало пять изданий (последнее в 1964 г.) и в значительной мере определило дальнейшее развитие жанра учебного комментария¹.

В 1940 году вышел в свет историко-литературный и реальный комментарий С. Н. Дурылина «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова². Сергей Николаевич Дурылин (1877—1954) был известным исследователем творчества Лермонтова и Л. Н. Толстого, и его книга о «Герое нашего времени» для тех лет была полным и ценным сводом всего значительного, что было сказано и написано о романе Лермонтова.

С. Н. Дурылин привлек богатый историко-литературный, исторический, этнографический, в том числе кавказоведческий материал, углубляющий понимание романа. Но книга С. Н. Дурылина не была свободна от некоторого упрощенного социологизма и ряда методологических спорных приемов и положений. Это в свое время отмечала критика³.

Была еще одна серьезная работа по комментированию романа Лермонтова, оставшаяся в рукописи. Это многолетний труд историка русской литературы и библиографа, известного пушкиниста Николая Осиповича Лернера (1877—1934)⁴.

Рукопись Н. О. Лернера «По страницам «Героя нашего времени», уцелевшая в годы Великой Отечественной войны у вдовы покойного исследователя, М. М. Лернер, быстро устарела и, несмотря на наши попытки переработать ее, так и не была издана. Материалы рукописи Н. О. Лернера частично использованы в настоящей книге.

¹ См., например: Е. С. Смирнова-Чикина. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». Литературный комментарий. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 1964; П. Г. Пустовойт. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Литературный комментарий. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 1964.

² В дальнейшем всюду эта книга обозначается сокращенно: Дурылин.

³ И. Р. Эйгес. — «Литература в школе», 1940, № 6, стр. 85—86; В. Викторов (В. А. Мануйлов). — «Ленинград», 1941, № 10, стр. 22.

⁴ Однажды Н. О. Лернер, уезжая на летний отдых, взял с собой томик «Героя нашего времени» и в течение двух месяцев каждый день перечитывал от начала до конца этот роман, делая заметки и выписки. Затем, по возвращении в Ленинград, Николай Осипович начал подбирать материалы для комментария.

В 1963 году было издано учебное пособие для студентов А. В. Попова «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова». Пособие вошло в «Литературно-методический сборник», изданный Ставропольским государственным педагогическим институтом (стр. 30—80). Оно должно быть учтено составителем всякого нового учебного пособия к «Герою нашего времени».

В мае 1965 года в Ставрополе Краевом и Пятигорске состоялась VIII Всесоюзная Лермонтовская конференция, посвященная изучению «Героя нашего времени». В настоящем пособии учтена работа этой конференции.

За последнюю четверть века появилось много исследований прозы Лермонтова, и в частности его романа. Среди них надо назвать книги и статьи С. А. Андреева-Кривича, И. Л. Андройкикова, В. А. Архипова, Б. С. Виноградова, И. Виноградова, В. В. Виноградова, Л. Я. Гинзбург, К. Н. Григорьяна, В. А. Евзерихиной, С. В. Касторского, Е. Н. Михайловой, Э. Э. Найдича, Н. И. Никитина, А. В. Попова, З. Я. Рез, Д. Е. Тмарченко, А. А. Титова, И. М. Тойбина, Б. Т. Удодова, У. Р. Фохта, А. Г. Цейтлина, Г. Г. Шевченко, Б. В. Шкловского, Б. М. Эйхенбаума и многих других авторов. Названия книг и статей этих исследователей читатель найдет в приложенном к книге библиографическом списке.

Настоящее учебное пособие опирается на труды нескольких поколений исследователей жизни и творчества Лермонтова и его романа «Герой нашего времени». Книга носит итоговый характер и по возможности полно и точно знакомит читателя не только с обширным реальным, историко-литературным, ~~кавказоведческим~~ материалом, но и с высказываниями писателей, критиков и исследователей о романе Лермонтова.

Вместе с тем составитель ни в какой мере не мог и не хотел отказаться от последовательного изложения своей концепции, от своего понимания места и значения романа Лермонтова в истории развития русской литературы. И вступительная статья, и комментарии к роману пронизаны одной мыслью, что роман «Герой нашего времени» имеет исключительно большое значение в истории возникновения и становления русского реалистического социально-психологического повествования, что попытки опраничить роман Лермонтова пределами эстетики

романтизма (концепции К. Н. Григорьяна и В. А. Архипова) или объявить его произведением «романтического реализма» (У. Р. Фохт, Б. Т. Удодов) излишне осложняют и запутывают вопрос о подлинном новаторстве Лермонтова-романиста, продолжившего одновременно с Гоголем развитие пушкинских принципов русской реалистической прозы. Этому кругу вопросов посвящена четвертая глава вступительной статьи.

В комментарий, естественно, не представлялось возможным включить всю обширную литературу о «Герое нашего времени». Перечень важнейших работ о романе читатель найдет в разделе «Библиография», составленном О. В. Миллер по материалам Лермонтовского кабинета Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР.

Вопросы методики сознательно оставлены за пределами книги, но в списке литературы особо выделены книги и статьи, посвященные изучению романа Лермонтова в школе. Среди них весьма полезны для учителей работы М. Т. Ефимовой, З. Я. Рез и Н. А. Русанова.

В основу настоящего учебного пособия положен текст «Героя нашего времени», подготовленный Б. М. Эйхенбаумом для издания: М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. VI. М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, стр. 202—347 и варианты на стр. 561—615. Все тексты Лермонтова цитируются также по этому изданию (1954—1957). Впрочем, читатели могут пользоваться любым изданием романа, поскольку комментарий построен в постраничном порядке.

Автор признателен заведующей отделом народов Кавказа Музея этнографии народов СССР Е. Н. Студенецкой и доценту Чечено-Ингушского педагогического института Б. С. Виноградову за консультации по вопросам кавказоведения и этнографии, особенно сложным при комментировании повести «Бэла».



РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Вот книга, которой суждено никогда не стареться, потому что, при самом рождении ее, она была вспрыснута живою водою поэзии! Эта старая книга всегда будет нова...

Перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, как все в нем просто, легко, обыкновенно и в то же время так проникнуто жизнью, мыслию, так широко, глубоко, возвышенно...

В. Г. Белинский. Герой нашего времени. Сочинения М. Лермонтова. Издание третье, 1843.

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ ИЗ ДВУХ СТАНОВ

Незадолго до отъезда Лермонтова на Кавказ во вторую ссылку, в середине апреля 1840 года, в Петербурге вышло первое отдельное издание романа «Герой нашего времени». «Вышли повести Лермонтова, — писал в эти дни Белинский. — Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь» (Белинский, XI, стр. 508) ¹.

Хорошо зная и глубоко понимая историческую сущность окружающей его действительности, двадцатипятилетний Лермонтов создал образ героя своего времени, в котором обобщил большой жизненный материал.

Белинский первый раскрыл типические черты Печорина — «человека с сильной волей, отважного, напраши-

¹ Сочинения В. Г. Белинского всюду цитируются по изданию: В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М., Изд. АН СССР, 1953—1959. В дальнейшем это издание обозначается сокращенно — Б е л и н с к и й.

вающегося на бури и тревоги». Великий критик объяснил причины раздвоенности Печорина и убежденно заявил, что в этом романе Лермонтов является «решителем важных современных вопросов».

Вслед за первой предварительной рецензией на роман Лермонтова Белинский во второй половине мая 1840 года сделал подробный разбор «Героя нашего времени», вскоре опубликованный в июньской и июльской книжках «Отечественных записок». Этот разбор раскрыл широкому кругу русских читателей идейное и художественное значение романа Лермонтова в истории русской общественной жизни и в истории русской литературы. Горячо защищая Печорина от проповедников лицемерной казенной морали, Белинский видел в образе Печорина воплощение критического духа своего времени¹.

Одновременно с Белинским, вскоре после смерти Лермонтова, Гоголь оценил «Героя нашего времени» даже выше, чем его поэзию: «Никто еще не писал у нас такую правильную, прекрасную и благоуханную прозою. Тут

¹ Перечень отзывов о «Герое нашего времени», напечатанных при жизни Лермонтова в журналах см.: К. Д. Александров и Н. А. Кузьмина. Материалы для библиографии Лермонтова. Библиография текстов Лермонтова. Публикации, отдельные издания и собрания сочинений. Под ред. В. А. Мануйлова. М. — Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 19, 22 и 27. Отдельные журнальные критические статьи воспроизведены в книгах: В. А. Зелинский. Русская критическая литература о произведениях М. Ю. Лермонтова. Хронологический сборник критико-библиографических статей, изд. 3-е, ч. II, 1914, 239 стр.; В. Г. Белинский. М. Ю. Лермонтов. Статьи и рецензии. Л., Гослитиздат, 1940, 265 стр.; важнейшие обзоры: Д. И. Абрамович. Обзор литературы о Лермонтове. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений, т. V. Спб., 1913, стр. 128—134; Д. Я. Гершензон. Лермонтов в русской критике. — В сб.: Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова, сб. 1. Исследования и материалы. М., Гослитиздат, 1941, стр. 589—616; Н. И. Мордовченко. Лермонтов и русская критика 40-х годов. — «Литературное наследство», т. 43-44, 1941, стр. 745—796; Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 5—48; История русской критики, т. 1. М. — Л., Изд. АН СССР, 1958, стр. 395, 397; В. А. Мануйлов, М. И. Гиллельсон и В. Э. Вацуро. М. Ю. Лермонтов. Семинарий. Л., Учпедгиз, 1960, стр. 19—26; Э. Э. Найдич. «Герой нашего времени» в русской критике. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Издание подготовили Б. М. Эйхенбаум и Э. Э. Найдич. М., Изд. АН СССР, 1962, стр. 163—171 (в серии «Литературные памятники»).

видно больше углубления в действительность жизни — готовился будущий великий живописец русского быта...»¹

Реакционно-охранительная критика, напротив, порицала «безнравственность» Печорина. Показательно, что высказывания реакционных журналистов полностью совпадали с отрицательным отзывом Николая I в частном письме к императрице от 12/24 июня 1840 года².

Реакционная критика осудила Печорина и противопоставила ему соответствующий ее идеалам образ Максима Максимыча.

Добрый, бывалый кавказец, бесспорно, должен быть отнесен к положительным персонажам романа. Это мужественный, честный, искренний, хороший русский человек, незаметно делающий свое трудное и нужное дело. Он кровно связан с народом. Он принадлежит к числу тех демократических героев русской литературы XIX века, родословная которых идет от Симеона Вырина («Станционный смотритель» Пушкина), а затем получает продолжение в образах униженных и оскорбленных, бедных чиновников Гоголя и Достоевского. Но в отличие от гоголевских Поприщина и Акакия Акакиевича Башмакина Максим Максимыч обладает большим чувством собственного достоинства.

Читателю нашего времени ясно, что ограниченному Максиму Максимычу совершенно чужд дух протеста против мерзостей крепостнической России, он покорно тянет лямку военной службы на Кавказе, он не рассуждает и даже не может в полной мере понять всей трагедии лучших передовых людей своего времени. Вот эта покорность судьбе больше всего привлекала симпатии Николая I и реакционной критики к образу Максима Максимыча, тогда как для Лермонтова истинным героем времени был Печорин.

Передовая молодежь, солидаризируясь с Белинским, отлично разобралась в значении образов Печорина и Максима Максимыча, в отношении к ним Лермонтова. Об этом свидетельствует письмо от 13 декабря 1840 года в редакцию «Отечественных записок», автором которого

¹ Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VIII. М. — Л., Изд. АН СССР, 1952, стр. 402.

² Текст письма см.: Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова. М., «Советский писатель», 1964, стр. 101—102. Подлинный французский текст см. там же, стр. 467—468.

был студент Казанского университета А. И. Артемьев, впоследствии известный статистик, археолог и географ. Студент-разночинец решительно не соглашался с позицией одного из самых реакционных критиков, редактора журнала «Маяк» Бурачка: «Стражи «Маяка» боятся, что мы все, прочитавши книгу Лермонтова, сделаемся такими же героями нашего времени, как и Печорин. Да чем же быть, гг. Максимы Максимыч? Скорее, мне кажется, надобно идти вслед за веком, нежели отставать от него. «Герой нашего времени», по крайней мере для меня, гораздо нравственнее, хотя в нем и нет огромных молитв»¹.

Через шесть лет после выхода в свет романа Лермонтова на Кавказ приехал Я. П. Полонский. Работая в канцелярии наместника и в редакции газеты «Закавказский вестник» в Тифлисе, Полонский за пять лет службы много путешествовал по Грузии, не раз ездил по Военно-Грузинской дороге и, естественно, постоянно связывал свои путевые впечатления с памятными ему образами любимого Лермонтова. Подобно Лермонтову он интересовался культурой и народным творчеством кавказских и закавказских народов. В июне 1851 года Я. П. Полонский написал стихотворение «На пути из-за Кавказа», в котором поэтически воспроизвел путь автора с Максимом Максимиычем и последние страницы «Княжны Мери»:

Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несущу перевал.
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал — недалеко Дарьял.

Слышу, Терека волны тревожные
В мутной пене по камням шумят —
Колокольчик звенит — и надежные
Кони юношу к северу мчат.

Выси гор, в облака погруженные,
Расступитесь! — приволье станиц —
Расстилаются степи зеленые
Я простору не вижу границ.

¹ Это письмо было опубликовано В. И. Кулешовым по материалам архива А. А. Краевского. См.: В. И. Кулешов. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., Изд. МГУ, 1959, стр. 44-45.

И душа на простор вырывается
Из-под власти кавказских громад —
Колокольчик звенит-заливается...
Кони юношу к северу мчат.

Погоняй! гаснет день за курганами,
С вышек молча глядят казаки —
Красный месяц встает за туманами,
Недалеко дрожат огоньки —

В стороне слышу карканье ворона —
Различаю впотьмах труп коня —
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня...¹

В этом стихотворении — не только поэтический отклик на роман Лермонтова, но и признание Полонского в том, что ему, младшему современнику Лермонтова, были близки и созвучны размышления, чувства и образы, созданные его старшим собратом.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И СОВРЕМЕННОКИ ПЕЧОРИНА В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Творчество Лермонтова и его роман «Герой нашего времени» нельзя рассматривать в отрыве от тех процессов, которые происходили в русской и мировой литературе в конце 30-х и начале 40-х годов XIX века. Одним из важнейших событий в европейской литературе конца XVIII — первой трети XIX века было зарождение реалистического метода, подготовленного всем предшествующим развитием мировой литературы, в том числе достижениями классицизма, сентиментализма, и в особенности романтизма. В этот период одной из важнейших задач как в западноевропейской, так и в русской литературе была задача создать образ героя своего времени, передового молодого человека, рассказать об отношении этого героя к породившему его обществу. Эта задача, поставленная писателями Просвещения, а затем углубленная сентименталистами и романтиками, в годы возникновения реализма

¹ Я. П. Полонский. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель», 1935 («Библиотека поэта», большая серия), стр. 79; ср.: Я. П. Полонский. Стихотворения. Л., «Советский писатель», 1954 («Библиотека поэта», большая серия), стр. 151—152; см. также: А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 77.

значительно осложнилась, приобрела новые аспекты и потребовала новых решений¹.

В ряду великих творений европейской литературы, воссоздавших историю развития образа передового человека нового времени, следует прежде всего назвать «Исповедь» Жан-Жака Руссо (I часть опубликована в 1782 году; II часть — в 1789 — в самом преддверии французской буржуазной революции) и «Страдания молодого Вертера» И. Гёте, повесть, написанную в середине 70-х годов и ставшую известной читателям до «Исповеди» Руссо; здесь же следует назвать повествовательный эпизод, вставленный в сочинение Шатобриана «Гений христианства» под названием «Рене, или Следствие страстей» (1802). В 1806 году также на французском языке появляется роман Сенанкура «Оберманн»; через год Бенжамен Констан заканчивает свой психологический роман в прозе «Адольф», который выходит в свет только в 1816 году (русский перевод П. А. Вяземского с предисловием Пушкина в 1830 году «Адольф и Элеонора»). Этот роман Бенжамена Констан, как давно установлено и убедительно показано А. А. Ахматовой, имел большое значение для автора «Евгения Онегина»², не менее важен он и для автора «Героя нашего времени». В 10-е годы XIX века европейский читатель получает «Паломничество Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона.

Русская литература откликается на проблему «героя времени» с некоторым опозданием, но уже в 1799—1803 годах Н. М. Карамзин, следуя за открытиями Руссо в области анализа душевного мира формирующегося ребенка, приступает к созданию «Рыцаря нашего времени». Эта незаконченная повесть не выходит за рамки сентиментальной эстетики, но во многом предвосхищает дальнейшее развитие русского психологического романа. Через 20 лет молодой Пушкин начинает писать первый реалистический роман в стихах «Евгений Онегин», а в самом

¹ Об этом подробнее см. в кн.: А. Н. Соколов. От романтизма к реализму. М., Изд. МГУ, 1957.

² А. А. Ахматова. «Адольф» Бенжамена Констан в творчестве Пушкина. — «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», 1. М. — Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 91—114; ср.: Б. Томашевский. Проза Лермонтова и западноевропейская литературная традиция — «Литературное наследство», т. 43-44, 1941, стр. 496—499.

конце 30-х годов Лермонтов создает первый русский реалистический роман в прозе «Герой нашего времени»:

За год до начала работы Лермонтова над романом появляется и производит большое впечатление на европейского читателя роман Мюссе «Исповедь сына века» (1836), менее сложный и менее глубокий, чем «Герой нашего времени», но в известной мере предвосхищающий «Княжну Мери».

В то же время в русской литературе «Княжне Мери» непосредственно предшествуют так называемые «светские повести» 30-х годов Н. Ф. Павлова, В. Ф. Одоевского, О. М. Сомова, В. А. Соллогуба и др. И этот жанр имел значение в истории становления реализма в русской литературе¹.

Исторически достоверный и типический образ Печорина возник в русской литературе не только как прямое продолжение и развитие героя 20-х годов Евгения Онегина. Незадолго до возникновения образа Печорина или почти одновременно с ним в творчестве ряда второстепенных писателей появляются менее значительные, но все же весьма характерные для тех лет образы молодых людей, которые так или иначе воплощают ищущего истину современного человека. В последние годы советские литературоведы Г. Г. Шевченко, Б. Т. Удодов и другие обратили внимание, что даже у так называемых пассивных романтиков, представителей пассивного романтизма, основной герой — человек высоких духовных запросов, который вступает в конфликт с окружающим его обществом, с исторической действительностью и неизбежно становится жертвой этой реальной, «низкой» действительности. Таков юноша Дмитрий из повести М. П. Погодина «Адель», таков Юлий из повести А. Теплякова «Человек не совсем обыкновенный», а также герой повести Н. Станкевича «Несколько мгновений из жизни графа Z***». В этой связи называется повесть А. Андросова «Случай, который может повториться. Русская современная быль» (имеется в виду один из героев повести — Александр Иванович).

¹ Об этом подробнее см.: Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 293—294; В. А. Евзерихина. «Княжна Мери» М. Ю. Лермонтова и «светская повесть» 1830-х годов. — В сб.: Вопросы истории русской литературы. Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена. — «Ученые записки», т. 219, 1961, стр. 51—72.

К подобным персонажам относится и художник-мечтатель, молодой идеалист Пискарев из «Невского проспекта» Гоголя. Во всех этих героях-романтиках много автобиографического, они откровенно высказывают мысли своих создателей. Но, как справедливо отметила Г. Г. Шевченко, в пассивно-романтическом течении наблюдались попытки создать и объективный портрет современника. Это характерно для тех писателей, чье творчество отличалось уже в то время реалистическими, а порой и демократическими тенденциями. Так, «меткие типологические портреты» представителя нового поколения принадлежат В. Ф. Одоевскому; однако писатель не ставил перед собой задачи раскрыть характер «гордого человека XIX столетия»: он был лишь эпизодическим лицом в произведениях В. Ф. Одоевского, иногда участником событий, обнаруживающих необычную логику его поведения. Н. Ф. Павлов в повести «Маскарад» («Московский наблюдатель», 1835, ч. I, кн. 2 и 1836, ч. IV, кн. 1) показал человека тоскующего, не находящего себе места в жизни, как характерного для мыслящей части светской молодежи, как «лишнего человека»¹.

К проблеме так называемого «лишнего человека» в 30-е годы подошли и представители революционного романтизма. Именно эта проблема определила исключительную противоречивость творческих исканий В. К. Кюхельбекера. Писатель-декабрист, переживший трагедию разгрома восстания на Сенатской площади, понимал, что новому веку «необходим пример», образец цельного героя-борца, но он видел и другого человека 30-х годов, раздвоенного, мятущегося, не находящего для себя выхода (трагедия-мистерия «Ижорский», роман «Последний Колонна») ².

¹ Об этом подробнее см.: Г. Г. Шевченко. На путях становления русского социально-психологического романа. (Постановка проблемы «героя века» в литературе 20—30-х годов XIX в.) — «Ученые записки Харьковского государственного университета им. А. М. Горького», т. СХVI. Труды филологического факультета, т. 10. Харьков, 1962, стр. 52—72; ср.: Б. Т. Удодов. «Герой нашего времени» как явление историко-литературного процесса. — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Воронеж, Издательство Воронежского университета, 1964, стр. 36—37.

² См.: Е. М. Пульхридова. «Лермонтовский элемент» в романе Кюхельбекера «Последний Колонна». — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1960, № 2, стр. 126—138.

Вопрос о новом герое волнует и писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского. Вступая в творческую полемику с автором «Евгения Онегина», неудовлетворенный сниженным и негероическим образом Онегина, Марлинский противопоставляет этому разочарованному скептику и скучающему эгоисту своего героя — майора Стрелинского (повесть «Испытание»). Продолжая работать над повестями из светской жизни, в которых изображался конфликт между человеком-гражданином, энтузиастом «всего высокого и благородного» и бездушным, пустым светом, писатель решал психологическую проблему: сумеет ли герой, вопреки неблагоприятным внешним обстоятельствам и вопреки личным влечениям, сохранить верность гражданскому долгу (повесть «Фрегат Надежда»). В 30-е годы Марлинский все настойчивее обращается к образу рефлектирующего человека («Мулла-Нур», «Вадимов», «Он был убит») ¹.

Наконец, образ «рефлектирующего», «лишнего человека» зарождается в прозе молодого Герцена — Трензинский в «Записках одного молодого человека» (1839—1841).

Таким образом, «Герой нашего времени» создавался не в безвоздушном пространстве, не обособленно, а в сложном и противоречивом контексте эпохи, в период, когда в недрах романтизма со всеми его противоречиями и оттенками зарождался еще более сложный и многообразный творческий метод, получивший впоследствии название реализма.

Как явление типологическое, отражающее реальную действительность, Печорин не был одинок в русской литературе 30-х годов. Но ни один из близких к нему образов современного рефлектирующего молодого человека не обладал такой силой характера, таким мужественным интеллектом, такой страстной жадой деятельности. Эта значительность, масштабность образа Печорина, позволяющая сблизить его с Демоном и Мцыри, — черта во многом автобиографическая, выражение специфически «лермонтовского духа».

Это сразу почувствовал Белинский. Спустя несколько дней после выхода в свет первого издания романа Лермонтова, он писал В. П. Боткину: «Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души.

¹ См.: В. Г. Базанов. Очерки декабристской литературы. М., Гослитиздат, 1953.

Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целостности своей. Я с ним робок, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества» (Белинский, XI, стр. 508—509).

Прошло несколько недель, и 13 июня 1840 года Белинский снова обратился к Боткину со своими размышлениями о Лермонтове: «Лермонтов великий поэт: он объектировал современное общество и его представителей» (Белинский, XI, стр. 527).

Печорин был явлением характерным для своего времени, типическим, но создать такой образ и так раскрыть его в романе мог только гениальный художник.

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОМАНА, ПОСЛЕДНИЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ ЛЕРМОНТОВА

Творческая история романа Лермонтова «Герой нашего времени» может быть восстановлена лишь в самых общих чертах. Сохранились настолько скудные материалы, что нет возможности детально проследить, как создавалось это самое значительное произведение нашего поэта. В этом отношении исследователь «Евгения Онегина» находится в несравненно лучших условиях, в его распоряжении громадный рукописный фонд от черновых набросков Пушкина до беловых автографов.

Достаточно сказать, что до нас не дошло ни одной рукописи «Бэлы». Наибольшую ценность представляет тетрадь Лермонтова, содержащая рукописные тексты «Максима Максимыча», «Фаталиста» и «Княжны Мери», в которой все написано рукой поэта, за исключением отрывка в «Княжне Мери», написанного рукой А. П. Шан-Гирея, но сохранившего следы авторской правки. Эта драгоценная тетрадь хранится в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. На обложке рукою Лермонтова написано первоначальное заглавие романа: «Один из героев начала века». Рукопись производит впечатление перебеленной, но по всем признакам это не копия с черновика, а первоначальный текст.

С. А. Раевский в письме к А. П. Шан-Гирею 8 мая 1860 года, между прочим, отмечал: «Мишель почти всегда писал без поправок» («Русское обозрение», 1890, кн. 8, стр. 34; ср.: Лермонтов, т. VI, стр. 649). В эту тетрадь вклеен автограф Предисловия к «Журналу Печорина».

В Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде хранится и черновой автограф Предисловия к роману в альбоме Лермонтова 1840—1841 гг. (карандашом) и авторизованная копия «Тамани», писанная рукой А. П. Шан-Гирея с пометками Лермонтова. В рукописном отделении Института русской литературы Академии наук СССР имеется авторизованная копия Предисловия к роману (рукой А. П. Шан-Гирея с поправками Лермонтова). Вот, собственно, и все рукописные материалы; в полном объеме установить текст романа Лермонтова и его историю они не позволяют.

Текстологу приходится обращаться также к первым прижизненным публикациям романа. Эти печатные источники текста таковы:

«Бэла» (Из записок офицера о Кавказе). — «Отечественные записки», 1839, т. 2, № 3, отд. III, стр. 167—212.

«Фаталист». — «Отечественные записки», 1839, т. 6, № 11, отд. III, стр. 146—158.

«Тамань». — «Отечественные записки», 1840, т. 8, № 2, отд. III, стр. 144—154.

«Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова», части I и II. Спб., 1840. Первое отдельное издание (без Предисловия). Цензурные даты обеих частей — 19 февраля 1840 года. Здесь впервые напечатаны: «Максим Максимыч», Предисловие к «Журналу Печорина» и «Княжна Мери».

«Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова», части I и II, издание второе. Спб., 1841. Цензурная дата первой части — 19 февраля 1841 года, второй — 3 мая 1841 года. Здесь впервые напечатано Предисловие к роману — перед второй частью, с отдельной римской нумерацией страниц, без указания в оглавлении. Это произошло потому, что Предисловие было подверстано к книге в последний момент, когда вся книга была уже набрана, а может быть, и отпечатана.

Текст второго отдельного издания романа представляет собой перепечатку первого издания, за исключением Предисловия, с точным воспроизведением внешнего вида,

вплоть до совпадения страниц и строк. Большинство разночтений с первым изданием — результат типографских ошибок, но есть и несомненные следы авторской правки.

Отдельные эпизоды романа возникли в творческом воображении Лермонтова летом и осенью 1837 года на Кавказе и в Закавказье. По свидетельству Н. М. Сатина, в Пятигорске Лермонтов «был знаком со всем водяным обществом (тогда очень многочисленным), участвовал во всех обедах, пикниках и праздниках. Такая, по-видимому, пустая жизнь не пропадала, впрочем, для него даром: он... зорко наблюдал за встречающимися ему личностями»¹.

Основная работа над «Героем нашего времени» относится к пребыванию Лермонтова в Петербурге с начала 1838 года и до начала 1840 года. К сожалению, ни в переписке Лермонтова, ни в воспоминаниях его друзей не сохранилось сколько-нибудь достоверных свидетельств о ходе работы над романом.

Не представляется возможным определить порядок написания повестей, составивших роман «Герой нашего времени». Б. М. Эйхенбаум высказал предположение, что раньше других повестей была написана «Тамань», когда мысли о романе еще не было (Лермонтов, т. VI, стр. 656). И. Л. Андроников связал с замыслом «Тамани» загадочный набросок Лермонтова: «Я в Тифлисе...» (VI, стр. 383), действительно отдаленно напоминающий сюжетную ситуацию «Тамани»².

«Бэла» написана раньше «Максима Максимыча»; об этом можно судить по тетради Публичной библиотеки в Ленинграде, где «Максим Максимыч» отмечен цифрой II, а также и по тому, что эпиграфом к «Максиму Максимычу» первоначально были взяты слова: «... и они встретились», связанные с финалом «Бэлы». Как заметил Б. М. Эйхенбаум, в начале «Максима Максимыча» сказано, что «Бэла» была начата во время остановки во Владикавказе: «Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня... и я для развлечения вздумал записывать

¹ «Почин». М., кн. I, 1895, стр. 238.

² Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 335—338; ср.: А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 30—35 (раздел «Из творческой истории романа»).

рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей» (VI, стр. 239). Из этих слов видно, что во время работы над «Максимом Максимычем» «цепь повестей» уже определилась, но последовательность их, видимо, не совсем была ясна для Лермонтова.

Сначала Лермонтов опубликовал в мартовской книжке «Отечественных записок» за 1839 год «Бэлу», затем в том же журнале в ноябрьской книжке за 1839 год «Фаталиста», а во второй книжке «Отечественных записок» за 1840 год «Тамань», но такой порядок публикации частей романа не дает еще оснований для определения последовательности работы Лермонтова над этими повестями.

Почти одновременно с Предисловием ко всему роману, включенным во второе издание, весной 1841 года Лермонтов написал для сборника А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» очерк «Кавказец», продолжающий и углубляющий характеристику типа Кавказца, так напоминающего образ Максима Максимыча.

На этом работа Лермонтова-прозаика оборвалась. Но известно, что вслед за «Героем нашего времени», очерком «Кавказец» и наброском повести «Штосс» Лермонтов хотел написать три исторических романа из трех эпох русской жизни.

Белинский сообщил об этом последнем большом эпическом замысле Лермонтова в статье, посвященной второму изданию «Героя нашего времени»: «...пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романтическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями...» (Белинский, V, стр. 455).

Возможно, что замысел первого романа, из века Екатерины II, был связан с восстанием Пугачева и, таким образом, восходил к замыслу «Вадима». Второй роман — «из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене». Третий роман — «из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране»¹.

Очерк Лермонтова «Кавказец» и мысль о создании трех исторических романов свидетельствуют, что дальнейшее развитие его прозы шло бы по пути реализма, что возможности романтической поэтики были Лермонтовым уже исчерпаны.

СПОР О ТВОРЧЕСКОМ МЕТОДЕ РОМАНА

Реалистическое или романтическое произведение «Герой нашего времени»? Так был сформулирован один из вопросов научной анкеты, опубликованной к V Международному съезду славистов². Подавляющее большинство ответов, появившихся в советской и болгарской печати, сводилось к тому, что роман Лермонтова «Герой нашего времени» — одно из самых значительных произведений периода становления русского критического реализма и по своему творческому методу и стилю принципиально отличается от того, что принято называть романтизмом³.

Этому же вопросу было посвящено специальное заседание V Всесоюзной Лермонтовской конференции в мае 1962 года в г. Орджоникидзе⁴. В оживленной и плодотворной дискуссии наметились в основном три точки зре-

¹ Слова Лермонтова в передаче П. К. Мартыанова. См. в кн.: П. Мартыанов. Дела и люди века, т. II. СПб., 1893, стр. 93—94.

² «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1962, т. XXI, вып. 2, стр. 152.

³ «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1963, вып. 4, стр. 319—323; Болгарска Академия на науките. Болгарски комитет на славистите. «Славянска филология», т. II. Отговори на въпросите за научната анкета по литературознание, литературно-лингвистични проблеми. София, 1963, стр. 123 и след.

⁴ Сообщения о V Лермонтовской конференции были опубликованы в «Известиях Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1962, т. XXI, вып. 5, стр. 462—463, а также в журнале «Русская литература», 1962, № 4, стр. 245—248.

ния: 1. Метод и стиль «Героя нашего времени» следует определить как реалистический (Д. А. Гиреев, А. М. Докусов, В. А. Мануйлов, А. Н. Соколов и др.); 2. «Герой нашего времени» — вершина русской романтической прозы (К. Н. Григорьян) и 3. «Героя нашего времени» следует отнести к особому течению в критическом реализме, которое можно обозначить как течение романтического реализма¹ (У. Р. Фохт; позднее к этой точке зрения присоединился Б. Т. Удодов).

В последние годы ряд исследователей обратил внимание на изучение как ярко выраженных, так и скрытых элементов романтизма в творческом методе автора «Героя нашего времени» и в стиле романа². Изучение романа Лермонтова в таком аспекте углубило понимание весьма сложных и во многом противоречивых явлений в истории развития русской литературы первой половины XIX века. Но в этой интересной дискуссии не обошлось без некоторых крайностей. Так, К. Н. Григорьян рассматривает Лермонтова как поэта, по своему мирозерцанию целиком принадлежащего к романтизму, как убежденного и последовательного романтика на протяжении всего творческого пути. По мнению исследователя, Лермонтов остается на позиции романтизма и в «Герое нашего времени», романе, который, как полагает К. Н. Григорьян, является высшим достижением русской романтической прозы.

¹ О «романтическом реализме» см.: И. Волков. Романтизм. — В сб.: Творческий метод. М., «Искусство», 1960, стр. 205; см. также: «Вопросы литературы», 1964, № 9, стр. 128.

² Речь идет о следующих работах: В. В. Виноградов. Стиль прозы Лермонтова. — «Литературное наследство», т. 43-44, 1941, стр. 517—628; К. Н. Григорьян. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» — вершина русской романтической прозы. — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, 1963, стр. 36—53; ср.: К. Н. Григорьян. Лермонтов и романтизм. М. — Л., «Наука», 1964; В. И. Бурсов. Лев Толстой и русский роман. М. — Л., Изд. АН СССР, 1963, стр. 30—33, 92—94; В. И. Бурсов. Национальное своеобразие русской литературы. М. — Л., «Советский писатель», 1964, стр. 160—164; У. Р. Фохт. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. — В кн.: У. Р. Фохт. Пути русского реализма. М., «Советский писатель», 1963, стр. 148—224; см. также: История русской литературы в трех томах, т. II. М. — Л., 1963, стр. 574—588; Б. Т. Удодов. «Герой нашего времени» как явление историко-литературного процесса (характер, метод, стиль, жанр). — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Воронеж, Издательство Воронежского университета, 1964, стр. 3—109.

С таким пониманием творческого пути Лермонтова и места романа «Герой нашего времени» в истории русской литературы трудно согласиться.

В конце 30-х годов XIX века романтизм для западноевропейской и русской литературы был пройденным, хотя и очень плодотворным этапом. Вобрав художественный опыт своих предшественников, намного усложнив и обогатив традиции, накопленные в европейской литературе, Лермонтов создавал свой роман на магистрали развития европейского реалистического романа. Если бы «Герой нашего времени» был романтическим произведением, этот роман ни в какой мере не был бы новаторским и значительным. Смысл, место, метод и стиль «Героя нашего времени» можно правильно понять только в контексте реального историко-литературного процесса.

Спор о методе и стиле романа Лермонтова в значительной мере сводится к тому, был ли «Герой нашего времени» шагом вперед, великим художественным открытием или его автор не ушел дальше пройденного романтического периода и романтической эстетики. Кажущаяся новизна не всегда означает приближение к истине. Исследователи, видящие в романе Лермонтова вершину романтической прозы, по существу, снимают вопрос о новаторстве автора «Героя нашего времени», сводят на нет его достижения в истории развития европейского реалистического психологического романа.

Творчество Лермонтова развивалось от романтизма к реализму, от мятежной лирики и романтических кавказских поэм к «Бородину», «Тамбовской казначейше», «Сашке», «Валерику», «Завещанию», «Родине».

Именно в эти зрелые годы, в период от «Бородина» до «Валерика», создан «Герой нашего времени». На первый взгляд, такому пониманию творческого пути Лермонтова противоречит создание «Мцыри» и поздних редакций «Демона» — произведений безусловно романтических. Но эти произведения завершают давние замыслы, возникшие в романтический период. Создается впечатление сосуществования романтического и реалистического методов. На самом деле мы видим дописывание того, что давно начато в романтической манере и возникновение и разработку новых, уже реалистических замыслов. Именно в пору создания «Героя нашего времени» Лермонтов вписал в аль-

бом С. Н. Карамзиной широко известные и очень значительные по своей декларативной сущности стихи:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор... (II, стр. 188).

Эти стихи написаны через десять лет после известных пушкинских стрóf в «Путешествии Онегина», в которых мы справедливо видим своеобразный манифест критического реализма¹. Было время, когда Пушкину казались нужны

Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...

Но прошли годы, и на смену романтическим мечтаньям пришли иные образы, иные творческие устремления:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор.
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи,
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;

¹ Против такого понимания развития творчества Лермонтова «от мятежного романтизма к реализму» в последнее время решительно выступил В. А. Архипов. В частности, опираясь на заключительную строфу приведенного выше стихотворения, вписанного в альбом С. Н. Карамзиной («Люблю я парадоксы Ваши, и ха-ха и хи-хи...»), исследователь отказывается признать серьезность заявления поэта об отходе от романтизма в первых трех строфах этого альбомного, но, на наш взгляд, значительного стихотворения. Концепция В. А. Архипова во многом перекликается со взглядами К. Н. Григорьяна и представляется нам натянутой и неубедительной. См.: В. А. Архипов. М. Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия. М., «Московский рабочий», 1965, стр. 50—61.

Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желанья — покой,
Да щей горшок, да сам большой¹.

Заключительные стихи этой строфы предвосхитили концовку лермонтовской «Родины»:

...И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков (II, стр. 177).

Интерес к жизни простого русского человека в его повседневном быту, изображение демократического героя в неразрывной связи с самой природой и историческими судьбами народа, объективно верное раскрытие социальных противоречий действительности и отражение этих противоречий в психике современного передового человека — таковы основные черты, определяющие содержание и проблематику зрелых реалистических произведений Пушкина и Лермонтова. И Лермонтов уверенно продолжает путь к реализму, открытый до него Пушкиным.

Отказ от всякой аффектации, от романтической приподнятости вел к подлинной народности, к овладению богатствами родного языка, к простому и правдивому выражению своих мыслей и чувств, своего критического отношения к окружающей действительности.

По сравнению с ранними произведениями Лермонтова портреты, пейзажи, диалоги в его зрелых стихотворениях, поэмах и прозе приобретают большую конкретность, определенность, точность. Романтические картины природы в ранних произведениях Лермонтова — горы, море, дубравы, степи — только названные, но лишенные каких-либо четких примет, постепенно сменяются картинами, имеющими всю достоверность географического ландшафта. Среднерусская равнина с ее полями и лесами, степи и предгорья Кавказа, суровые вершины кавказских хребтов, гористая и долинная Грузия — все

¹ А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. в десяти томах, т. 5. М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, стр. 202—203. В дальнейшем это издание обозначается сокращенно: Пушкин.

пейзажное многообразие широких просторов родины оживает в его зрелых произведениях. При этом пейзаж в реалистических творениях Лермонтова всегда представлен в связи с человеком, с историей, показан в восприятии определенного лица и в определенном душевном состоянии.

Все это неразрывно связано с эволюцией человека в творческом развитии Лермонтова. От внеисторического, абстрактного героя ранних стихотворений и поэм, выражающего тревоги и порывы юного поэта, Лермонтов переходит к созданию живых, конкретных исторических образов, к созданию «типичных характеров в типичных обстоятельствах», не только в лучших произведениях зрелой реалистической лирики («Бородино», «Казачья колыбельная песня», «Валерик», «Завещание»), но и в еще большей степени в самом значительном своем творении, в романе «Герой нашего времени».

Лермонтов дорожил исторической достоверностью, правдивостью, реалистичностью, типичностью образа Печорина и сознательно противопоставлял его героям отшедшей эпохи неистового романтизма, трагическим и романтическим злодеям. В Предисловии к роману, написанном для второго издания 1841 года, отвечая на выпады реакционной критики, Лермонтов заявлял: «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина?..» (VI, стр. 203).

Следует отметить также несостоятельность попытки отделить «неистовый романтизм» от романтизма вообще и неосновательность включения в понимание термина «романтизм» того, что Пушкин, Вяземский и их единомышленники называли «истинным романтизмом». В нашем понимании «истинный романтизм» есть реализм, получивший впоследствии название критического реализма. Для нас «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Герой нашего времени» — произведения, которые ознаменовали в русской литературе торжество реалистического метода.

Не употребляя термина «реализм», Белинский всегда говорил о «Герое нашего времени» как о произведении, отвечающем на важнейшие вопросы современности, и произведении, верно и по-новому отражающем действительность, т. е. произведении реалистическом. Достаточно напомнить хотя бы следующее высказывание великого критика: «В основной идее романа г. Лермонтова лежит важный современный вопрос о внутреннем человеке, вопрос, на который откликнутся все, и потому роман должен возбудить всеобщее внимание, весь интерес нашей публики. Глубокое чувство действительности, верный инстинкт истины, простота, художественная обрисовка характеров, богатство содержания, неотразимая прелесть изложения, поэтический язык, глубокое знание человеческого сердца и современного общества, широкость и смелость кисти, сила и могущество духа, роскошная фантазия, неисчерпаемое обилие эстетической жизни, самобытность и оригинальность — вот качества этого произведения, представляющего собою совершенно новый мир искусства...» (Белинский, IV, стр. 146—147).

Здесь Белинский перечисляет все важнейшие признаки реалистического и подлинно новаторского — в пору становления реализма — произведения. Именно таким произведением в глазах прогрессивной революционной демократической критики и был «Герой нашего времени».

Известно определение сущности реалистического искусства в письме Ф. Энгельса к Маргарет Гаркнес в апреле 1888 года: «...реализм подразумевает, помимо правдивости деталей, правдивость воспроизведения типичных характеров в типичных обстоятельствах»¹. В свете этих требований, сформулированных Энгельсом, «Герой нашего времени» никак нельзя определить иначе, как роман реалистический.

Белинский отмечал «непостижимую верность, с какою обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности». Он обратил внимание и на изображение Лермонтовым типических характеров: «...в «Герое нашего времени» вы видите повседневную жизнь обитателей Кавказа, видите ее в повести и драме нашего времени, олицетворенную в типических характерах, которые с та-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. I. М., «Искусство», 1957, стр. 11.

ким творческим искусством изображает художническая кисть г. Лермонтова. Тут не одни черкесы: тут и русские войска, и посетители вод, без которых неполна физиономия Кавказа» (Белинский, IV, стр. 174—175).

Понимание романа «Герой нашего времени» как произведения реалистического и положение о типичности образа Печорина, впервые выдвинутое Белинским, получило глубоков конкретно-историческое осмысление и всестороннюю разработку в советском литературоведении (Б. М. Эйхенбаум, Е. Н. Михайлова, В. В. Виноградов, Б. С. Виноградов, Э. Э. Найдич и др.).

Образ центрального героя романа следует рассматривать во всей его сложности и противоречивости как отражение важнейших противоречий русской действительности 30-х годов, иначе говоря, как образ реалистический, в отличие от Мцыри и Демона. Эти образы выразили неудовлетворенность и порывы лучших людей своего времени, но они в силу своей исключительности не типичны, и окружающая их среда лишена социально-бытовой конкретности.

Итог многолетнему изучению советскими литературоведами романа Лермонтова подвела Е. Н. Михайлова в книге «Проза Лермонтова». Вот как она сформулировала историко-литературную природу и проблематику «Героя нашего времени»: «В этом вершинном создании Лермонтова его исконная проблема, проходящая, как сквозная нить, через все почти лермонтовские произведения, — проблема личности и общества — получила полноту реалистического воплощения. Перенесение тяжбы человека и общества на реальную историческую почву современности сразу дало жизнь, краски, глубину тому, что абстрактно и односторонне намечалось в творениях Лермонтова-романтика...»¹

¹ Е. И. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 205.

Понимание «Героя нашего времени» как важнейшего звена в становлении русского критического реализма прочно вошло и в учебную литературу. Так, например, в учебнике для университетов А. Н. Соколова «История русской литературы XIX века», т. I (М, 1960) читаем: «Лермонтов не был бы реалистом, если бы он не показал социальную природу характера и переживаний своего героя, если бы он не обрисовал «типичных обстоятельств» общественной жизни, объясняющих личность Печорина. Все это мы находим в «Герое нашего времени» (стр. 743).

Анализ стиля романа также показывает, что этот стиль вобрал в себя многие элементы, характерные для романтической манеры, но в новом качестве, и что стиль «Героя нашего времени» принципиально отличается от романтического стиля «Вадима» и романтической прозы конца 20-х и 30-х годов XIX века, стиль романа — реалистический¹.

Таким образом, усилиями нескольких поколений русских критиков и литературоведов, от Белинского до нашего времени, выработалось понимание «Героя нашего времени» как произведения реалистического, являющегося следующим шагом в развитии русской реалистической прозы после Пушкина и предвосхищающего мастерство Тургенева, Льва Толстого, Достоевского и Чехова.

ОБРАЗ ПЕЧОРИНА, ЕГО ОЦЕНКА И СУДЬБА В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Образ Печорина, передового русского человека 30-х годов XIX века, явился результатом закономерного развития всего творчества Лермонтова. Появление Печорина было подготовлено субъективной лирикой поэта и в первую очередь такими стихотворениями, как «Монолог», «1831-го июня 11 дня» и «Дума». В героях юношеских поэм и драм Лермонтова в какой-то мере эскизно намечаются черты, получившие затем развитие в образе Печорина. Особенно большое значение в становлении образа современного героя, а в конечном счете и образа Печорина, имел тип «странного человека», так прочно вошедшего в юношескую драматургию Лермонтова и имеющего многочисленных предшественников в русской литературе первых трех десятилетий XIX столетия.

Уже в драмах «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти») и «Странный человек», а затем в «Маскараде» и «Двух братьях» Лермонтов стремился связать своего героя с окружающей его реальной русской действительностью. Так, Юрий Волин показан юношей, который прошел горестный путь разочарований, превратился из идеалиста-мечтателя, отдавшегося мечте «земного общего братства» (V, стр. 147), в изверившегося «странного человека». Он говорит о себе другу: «Тот, который перед тобою, есть одна тень; человек полуживой, почти

¹ Об этом подробнее см. на стр. 40 и след.

без настоящего и без будущего...» (V, стр. 147—148). Печорин тоже будет характеризовать себя как человека «полуживого», одна часть души которого похоронена навеки.

Свою «странную» трагическую судьбу Юрий склонен рассматривать как нечто неизбежное. Он говорит: «...от колыбели какое-то странное предчувствие мучило меня... Несправедливости, злоба — все посыпалось на голову мою... По какому-то машинальному побуждению я протянул руку — и услышал насмешливый хохот — и никто не принял руки моей — и она обратно упала на сердце... Любовь мою к свободе человечества почитали вольнодумством — меня никто... не понимал» (V, стр. 149).

Многие исследователи видят в этом монологе Юрия Волина зерно будущей исповеди Печорина (в «Княжне Мери»).

Почти одновременно с Пушкиным, впервые примененным в одном из черновых набросков эпитет «лишний» к Онегину, Лермонтов в 1831 году в драме «Странный человек» вкладывает в уста Владимира Арбенина то же определение: «Теперь я свободен!.. Никто... никто... равно, положительно никто не дорожит мною на земле... я лишний!..» (V, стр. 268). Убедившись в бесплодности своей жизни, Владимир Арбенин спрашивает себя: «Где мои исполинские замыслы? К чему служила эта жажда к великому? все прошло!..» (V, стр. 257). Евгений Арбенин в «Маскараде» восклицает: «О! кто мне возвратит... вас, буйные надежды, вас, нестерпимые, но пламенные дни!..» (V, стр. 342). Этот же вопрос преследует Печорина; и Печорин будет пытаться понять, для чего ему были даны «силы необъятные», в чем состояло его «назначение высокое» (V, стр. 321) ¹.

¹ Анализу образа «странного человека» и связанной с ним проблематике посвящены следующие работы: В. А. Евзерихина. М. Ю. Лермонтов на пути к созданию образа Печорина. — «Труды IV научной конференции Новосибирского государственного педагогического института», т. I, 1957, стр. 217—248 (см. стр. 230 и след.); Н. М. Владимирская. Драма «Странный человек» и становление художественной системы Лермонтова. — «Ученые записки Великолукского государственного педагогического института», вып. 24, кафедры литературы и истории. Великие Луки, 1964, стр. 5—27; Б. Т. Удодов. «Герой нашего времени» как явление историко-литературного процесса. — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Воронеж, Издательство Воронежского университета, 1964, стр. 17—45.

Неоднократно отмечалось, что Александр в «Двух братьях» — прообраз Печорина из «Княгини Литовской», а затем и «Героя нашего времени»; не случайно исповедь Александра была впоследствии использована для соответствующего монолога Печорина в «Княжне Мери» (VI, стр. 293—295).

Выше уже говорилось о том, что в творчестве Лермонтова второй половины 30-х годов одновременно сосуществовали традиции мятежного романтизма и традиции критического реализма, которые все более вытесняли элементы романтизма, уже недостаточно выражавшие зрелое отношение поэта к жизни, к русской исторической действительности.

Теперь Лермонтова не могли удовлетворить даже удавшиеся попытки воплощения образа героя в романтической манере. Отпала необходимость маскировать своего героя, облачая его в одеяние падшего ангела или преобразая его в мятежного инока. Он подошел к труднейшей задаче: показать в реальной обстановке характерного героя своего времени — человека одаренного и мыслящего, но искалеченного светским воспитанием и оторванного от жизни своей страны и своего народа. Так возникает образ Печорина и весь замысел романа «Герой нашего времени».

Таких людей, как Печорин, в дворянском обществе николаевской России встречалось не много. И тем не менее в этом своеобразном, исключительно одаренном человеке Лермонтов показал типичного дворянского героя 30-х годов, того трагического периода русской общественной жизни, который наступил после разгрома декабристов.

Печорин не только не имеет ничего общего, но и глубоко враждебен обывательскому, обыденному отношению к действительности, которое господствует в дворянском «водяном обществе». Критический взгляд умного и наблюдательного Печорина на социальную действительность его времени во многом совпадает со взглядом самого Лермонтова. Это совпадение оценки окружающей жизни ввело в заблуждение некоторых читателей и критиков, воспринимавших Печорина как образ автобиографический. В действительности Лермонтов весьма критически относится и к Печорину, подчеркивая, что он не столько герой, сколько жертва своего времени. Печорину

свойственны и типичны противоречия передовых людей его поколения: жажда деятельности и вынужденная бездеятельность, потребность любви, участия и эгоистическая замкнутость, недоверие к людям, сильный волевой характер и скептическая рефлексия.

Фамелией Печорина Лермонтов подчеркнул духовное родство своего героя с Онегиным, но Печорин — человек следующего десятилетия, герой 30-х и начала 40-х годов.

Рассказывая о судьбе Печорина, Лермонтов вплотную подошел к вопросу, вскоре поставленному Герценом: «кто виноват?». Кто виноват в том, что умные и жаждущие деятельности люди в условиях самодержавно-крепостнической России обречены на вынужденное бездействие, искалечены воспитанием, оторваны от народа? И читатель убеждается, что Печорин не только герой, но и жертва своего времени, хотя это не снимает с него его вины.

Печорина, так же как Онегина, Бельтова и Рудина, в истории нашей критики часто причисляли к так называемым «лишним людям». В условиях 50-х — начала 60-х годов, когда надо было решительно перейти от проблемы «кто виноват?» к проблеме «что делать?», революционно-демократическая критика со всей резкостью противопоставляла новых людей, людей дела, «лишним людям» 30—40-х годов, которые в начале разночинского периода освободительного движения уже выродились в болтунов, либералов, делеких от настоящей общественной борьбы. Сравнивая Печорина, с одной стороны, с Онегиным, а с другой стороны, с Бельтовым, Чернышевский писал в 1857 году: «Печорин человек совершенно другого характера и другой степени развития. У него душа действительно очень сильная, жаждущая страсти; воля у него действительно твердая, способная к энергической деятельности, но он заботится только лично о самом себе. Никакие общие вопросы его не занимают. Надобно ли говорить, что Бельтов совершенно не таков, что личные интересы имеют для него второстепенную важность?»¹

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., Гослитиздат, 1948, стр. 699; Об отношении Чернышевского к наследию Лермонтова см.: М. Дотцауер. Лермонтов в оценке Чернышевского и его современников. — «Ученые записки Саратовского государственного педагогического института», 1940, вып. V, стр. 84—106.

Ни Чернышевский, ни Добролюбов не отрицали исторического значения Онегиных и Печориных в прошлом. Но по мере того, как новые люди конца 50-х — начала 60-х годов, революционеры-разночинцы, все определеннее выступали на первый план в освободительном движении в России, в общественной жизни и в литературе, революционно-демократическая критика все чаще и резче противопоставляла тип передового человека нового времени так называемым «лишним людям» 20—40-х годов. Эти тенденции наиболее отчетливо обнаружилось в известной статье Добролюбова «Что такое обломовщина?», опубликованной в «Современнике» в 1859 году.

По словам Добролюбова, Печорин «действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости; он действительно умеет овладеть сердцем женщины не на краткое мгновение, а надолго, нередко навсегда. Все, что встречается ему на его дороге, он умеет отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности опротивели все удовольствия, которые можно дать за деньги; любовь светских красавиц тоже опротивела ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоели, потому что он увидел, что от них не зависит ни слава, ни счастье; самые счастливые люди — певежды, а слава — удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что он не видел в них смысла и скоро привык к ним. Наконец, даже простосердечная, чистая любовь дикой девушки, которая ему самому нравится, тоже надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своим порывам. Но что же это за порывы? куда влекут они? отчего он не отдается им всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не дает себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерется без надобности...»¹

Добролюбов отчетливо различал индивидуальные черты Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, но не эти раз-

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. IV. М. — Л., Гослитиздат, 1962, стр. 334—335.

личия имели для него значение, он имел в виду обломовщину как социальное явление: «...мы не могли не видеть разницы темперамента, например, у Печорина и Обломова, так же точно как не можем не найти ее и у Печорина с Онегиным... Весьма вероятно, что при других условиях жизни, в другом обществе, Онегин был бы истинно добрым малым, Печорин и Рудин делали бы великие подвиги, а Бельтов оказался бы превосходным человеком». Но для Добролюбова наиболее существенно то, что в новых исторических условиях «в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова»¹.

Тот же смысл вложил М. Е. Салтыков-Щедрин в свою ироническую характеристику «провинциальных Печориных» и «печоринства» в «Губернских очерках»².

Большое внимание проблеме «лишних людей» уделил Герцен. В статье «Very dangerous!!!», написанной незадолго до появления в «Современнике» статьи «Что такое обломовщина?», Герцен вступил в полемику с Добролюбовым по поводу его другой, более ранней работы «Литературные мелочи прошлого года». Несогласный с дискредитацией так называемого «обличительного направления» и переоценкой исторической и общественной значимости «лишних людей», проводившейся на страницах «Современника» и других русских журналов в 1857—1859 годах, Герцен заявлял: «...Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный рок лишнего, потерянного человека... являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах... если б Онегин и Печорин могли, как многие, приладиться к николаевской эпохе, Онегин был бы Виктор Никитич Панин, а Печорин не пропал бы по пути в Персию³, а сам управлял бы, как Клейнмихель, путями сообщения и мешал бы строить железные дороги.

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. IV. М. — Л., Гослитиздат, 1962, стр. 328—329 и 333.

² М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, т. II. М., «Художественная литература», 1965, стр. 277—278.

³ А. И. Герцен допускает неточность: Печорин умер не по пути в Персию, а возвращаясь из Персии (VI, стр. 248).

Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет *лишних* людей, теперь, напротив, к этим огромным запашкам рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле *пустой* человек, свищ или лентяй. И оттого очень естественно Онегины и Печорины делаются Обломовыми¹.

Исходя из исторического понимания вопроса о «лишних людях», Герцен утверждал: «Общественное мнение, баловавшее Онегиных и Печориных потому, что чуяло в них *свои страдания*, отвернется от Обломовых»².

Полемике об историческом значении типа «лишнего человека» Герцен продолжил в следующем, 1860 году, в статье «Лишние люди и желчевики». В отличие от Чернышевского и Добролюбова, настаивавших на том, что «лишние люди» возникли на почве крепостничества, обеспечивающего возможность праздной жизни, Герцен объяснил появление этих героев дворянского периода освободительного движения реакцией 30—40-х годов, которая парализовала все попытки полезной общественной деятельности. Эта точка зрения высказывалась Герценом и раньше не только в публицистических работах, например «О развитии революционных идей в России», но и в его романе «Кто виноват?», переизданном в Лондоне в 1859 году как раз в пору самых острых споров вокруг «лишних людей».

В статье «Лишние люди и желчевики» Герцен как бы подвел итог затянувшейся полемике: «Лишние люди были тогда столько же *необходимы*, как *необходимо* теперь, чтобы их не было»³. Такая формулировка свидетельствовала о некотором сближении позиций Чернышевского и Добролюбова с позицией Герцена, чему, конечно, немало способствовала поездка Чернышевского в 1859 году в Лондон для объяснений с Герценом⁴.

Критики демократического лагеря — Д. И. Писарев,

¹ А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIV. М., Изд. АН СССР, 1958, стр. 118—119.

² Там же, стр. 119.

³ Там же, стр. 317.

⁴ Б. П. Козьмин. Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон в 1859 году и его переговоры с А. И. Герценом. — «Известия АН СССР, отделение литературы и языка», 1953, вып. 2; М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы революцион-

В. А. Зайцев, Н. В. Шелгунов — не оценили исторически прогрессивной роли Лермонтова и его творческого наследия. Из всего наследия Лермонтова Писарев принял только «Героя нашего времени». Определяя значение Печорина в развитии образа «лишнего человека», он писал: «...у Печориных есть воля без знания, у Рудиных — знание без воли; у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое»¹. В статье «Реалисты» Писарев возвращается к сопоставлению Печорина и Базарова: «Печоринский и базаровский типы ненавидят и отталкивают друг друга. Печорины и Базаровы решительно не могут существовать вместе в одном обществе, потому что и Печорины и Базаровы выделяются из одного материала: стало быть, чем больше Печориных, тем меньше Базаровых, и наоборот. Вторая четверть XIX столетия особенно благоприятствовала производству Печориных; новых Печориных жизнь уже не отчеканивает, а старые, потускневшие и поблекшие, никак не желают понять, что их время прошло»².

Противоречивые суждения о Печорине высказал Н. В. Шелгунов в статье «Русские идеалы, герои и типы»: «В чем же и слабость всех наших поэтов и романистов, как не в том, что они не умели мыслить, не имели решительно никакого понятия о страданиях человеческих и о средствах против общественных зол. Оттого их героями являлись не общественные деятели, а великосветские болтуны, и, чересчур обобщая салонную жизнь, они называли «героями нашего времени» тех, кого бы правильнее назвать «салонными героями». Это была литературная клевета писателей, неспособных понимать жизни и общественных стремлений новых поколений»³.

ной ситуации (1859—1861). — Там же, 1954, вып. 1, стр. 48—65; Б. П. Козьмин. К вопросу о целях и результатах поездки Чернышевского к А. И. Герцену в 1859 году. — Там же, 1955, вып. 2, стр. 170—177; М. В. Нечкина. О взаимоотношениях Петербургского и Лондонского центров русского освободительного движения в годы революционной ситуации (1859—1861) (Ответ Б. П. Козьмину). — Там же, стр. 178—184; Ср. Герцен, т. XIV, стр. 495 (примечание).

¹ Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, т. II. М., Гослитиздат, 1955, стр. 21.

² Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, т. III. М., Гослитиздат, 1956, стр. 28.

³ «Дело», 1868, № 6, стр. 111.

Однако, несмотря на отрицательную оценку Печорина, Шелгунов разглядел в герое Лермонтова отличительные черты русского национального характера — силу, смелость и твердость духа: «В Печорине мы встречаем тип силы, но силы искалеченной, направленной на пустую борьбу, израсходовавшейся по мелочам на дела недостойные...

...Печорина не запугаешь ничем, его не остановишь никакими препятствиями; кожа у него, правда, женская и рука аристократическая, но он, этой аристократической рукой, наносит смерть не хуже любого дикаря»¹.

Критик признавал значительность и духовную мощь Печорина, силу, роднящую его с героическими характерами русских народных богатырей.

Наряду с оживленным обсуждением образа Печорина в русской критике и публицистике, «Герой нашего времени» оказывал непосредственное воздействие на дальнейшее развитие русской прозы, и персонажи романа Лермонтова в различных вариациях продолжали появляться на страницах новых романов и повестей. Своего рода мода на Печорина, увлечение им сказалось в образе герценовского Бельтова, а также в целой галерее тургеневских героев: в Рудине, в Гамлете Щигровского уезда, в Андрее Колосове и др.

Но уже в повести «Бреттер» Тургенев начинает борьбу с «печоринством». В конце 40-х — начале 50-х годов с развенчанием новых Печориных выступает М. В. Авдеев. Он напечатал в «Современнике» в 1849, 1851 и 1852 годах три повести: «Варенька», «Записки Тамарина» и «Иванов», которые затем издал в 1852 году отдельно под общим названием «Тамарин». Вскоре имя Тамарина сделалось нарицательным для всяких провинциальных Печоринных. Но Авдеев, как отметил Чернышевский в статье «Роман и повести М. Авдеева», не сумел критически вскрыть сущность печоринского характера. Больше того, «первые части Тамарина, — писал Чернышевский, — ...это буквальное подражание «Герою нашего времени», но неудачное, ибо Тамарин — это не Печорин, а «Грушницкий, явившийся г. Авдееву во образе Печорина». В итоге «...г. Авдеев написал пародию, но не на тип Печорина, а на Лермонтова, как Козлов написал в своем

¹ «Дело», 1868, № 6, стр. 102 и 109.

«Чернеце» пародию на Байрона: оба они не ведали, что творили»¹.

Вслед за Авдеевым окарикатуренный тип Печорина вывел реакционный писатель В. И. Аскоченский в романе «Асмодей нашего времени» (1859) в лице молодого человека, видного чиновника Пустовцова.

В 70-е годы образ Печорина снова появляется в литературе. Печорина в качестве действующего лица выводит писатель-демократ А. О. Осипович-Новодворский в повести «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны». Трактовка Печорина Новодворским близка к Добролюбову. Он дает такую литературную генеалогию Печорина: отец его — Демон, дети — Рудин, Базаров и интеллигент-разночинец 70-х годов учитель Преображенский, от имени которого ведется рассказ в повести. С точки зрения Новодворского, поколение Печориных — это идейно неустойчивые, колеблющиеся интеллигенты, занимающие промежуточное положение между дворянским и революционно-демократическим станом.

Высказывания Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова о «лишних людях» и споры их на пути к решению этого вопроса имеют большое значение для изучения романа Лермонтова и оценки исторического значения образа Печорина в нашем советском литературоведении.

В наше время мы оцениваем «лишних людей» более объективно. Нам понятно стремление Белинского защитить Печорина от выпадов реакционной критики и увидеть в Печорине, да и в самом Лермонтове, «семена глубокой веры» в достоинство человека и жизни. Мы понимаем, что Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин в свое время были «лишними людьми» для реакционной, николаевской России, для деятелей охранительного направления; в истории же развития русского самосознания передовой России Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин — необходимые звенья, без которых наша культура была бы гораздо беднее. Эти «лишние люди» жили и мыслили в такое время, когда их смелые слова, их критическое отношение к самодержавно-крепостнической действительности, их размышления были общественно

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. II. М., Гослитиздат, 1949, стр. 211, 214; подробнее об этом см.: С. В. Касторский. Герой нашего времени. — В сб.: М. Ю. Лермонтов. М., Учпедгиз, 1941, стр. 122—124.

важным и исторически необходимым делом. Вот почему роман Лермонтова, всесторонне раскрывающий передового героя 30-х годов, был общественно значительным событием в истории русской литературы.

ЖАНР, ПОСТРОЕНИЕ, СТИЛЬ РОМАНА

«Герой нашего времени» — роман, состоящий из пяти повестей и рассказов, объединенных главным действующим лицом — Григорием Александровичем Печориным.

Содержание романа позволяет восстановить историю жизни Печорина. Если держаться последовательности событий, развивающихся в повестях и рассказах «Героя нашего времени», то они расположены примерно так: Печорин, быть может, за дуэль выслан из Петербурга на Кавказ. По дороге к месту его новой службы он задержался в Тамани, где происходит его случайное столкновение с контрабандистами («Тамань»). После какой-то военной экспедиции ему разрешают пользоваться водами в Пятигорске, затем за дуэль с Грушницким («Княжна Мери») его отправляют под начальство Максима Максимыча в крепость. Отлучившись на две недели в казачью станицу, Печорин переживает историю с Вуличем («Фаталист»), а по возвращении в крепость происходит похищение Бэлы («Бэла») ¹. Из крепости Печорина переводят в Грузию, затем он возвращается в Петербург. Спустя некоторое время, вновь очутившись на Кавказе, по дороге в Персию, Печорин встречается с Максимом Максимычем и офицером — автором путевых записок («Максим Максимыч»). Наконец, на обратном пути из Персии Печорин умирает (Предисловие к «Журналу Печорина»).

Лермонтов сознательно ломает порядок этих событий и рассказывает о них не в хронологической последовательности. Это можно обозначить таблицей, в которой слева указана последовательность повестей романа в том порядке, как Лермонтов сообщает их читателю, а справа, цифрами — реальная последовательность описываемых событий:

¹ Б. Т. Удодов высказывает ряд убедительных и интересных соображений в поддержку именно такого понимания фабульной последовательности в романе Лермонтова: сначала происходит то, о чем рассказывается в «Фаталисте» (зимой в станице), а затем уже история с Бэлой (апрель, май). См.: Б. Т. Удодов. «Герой нашего времени» как явление историко-литературного процесса. — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Воронеж, Издательство Воронежского университета, 1964, стр. 77—79.

Сюжетный порядок	Хронологический (фабульный) порядок	
Предисловие (1841 года) ко всему роману	12	
«Бэла»	{ Путешествие по Военно-Грузинской дороге офицера повествователя с Максимом Максимычем	7
	{ Первая часть рассказа Максима Максимыча о Бэле	5
	{ Переезд через Крестовый перевал	8
	{ Вторая часть рассказа Максима Максимыча о Бэле	6
	{ Концовка «Бэлы». Заключение от имени офицера повествователя	9
«Максим Максимыч»	Встреча с Максимом Максимычем и Печориным во Владикавказе	10
Предисловие к «Журналу Печорина»	С включением сообщения о том, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер	11
«Тамань»	История в Тамани до того, как Печорин попал на Кавказские минеральные воды	1
«Княжна Мери»	{ Дневник Печорина до записи, сделанной в ночь перед дуэлью	2
	{ Окончание «Княжны Мери» — записи, сделанная Печориным по памяти в крепости	3
«Фаталист»	История с Вуличем в казачьей станции зимой, до похищения Бэлы	4

Такое расположение частей романа, нарушающее хронологический (фабульный) порядок, усиливает сюжетное напряжение, дает возможность максимально заинтересовать читателя Печориным и его судьбой, постепенно раскрывая во всей противоречивости и сложности его характер¹.

¹ Фабулой мы называем совокупность событий в их естественном хронологическом порядке. Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении, то есть в том порядке, в котором о них сообщает автор, иначе говоря: фабула — это «то, что было на самом деле»; сюжет — «как об этом автор сообщил читателю». Такое понимание терминов «сюжет» и «фабула» неоднократно предлагал в своих работах Б. В. Томашевский. См.: Б. В. Томашевский. Теория литературы (поэтика). Л., ГИЗ, 1925, стр. 127.

В романе Лермонтова композиция и стиль подчинены одной задаче: как можно глубже и всестороннее раскрыть образ героя своего времени, проследить историю его внутренней жизни, ибо «...история души человеческой, — как заявляет автор в Предисловии к «Журналу Печорина», — хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно... когда она... писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление» (VI, 249).

Образ Печорина раскрывается двояко: с точки зрения постороннего наблюдателя и в плане внутреннего его самораскрытия. Вот почему роман Лермонтова четко делится на две части; каждая из этих частей обладает внутренним единством. Первая часть знакомит читателя с героем приемами внешней характеристики. Вторая часть подготавливается первой. В руки читателя попадает «Журнал Печорина», в котором он рассказывает о себе в предельно искренней исповеди.

Роман построен так, что Печорин и его история последовательно предстают перед читателем как бы с трех точек зрения. Предисловие от автора, написанное в ответ на разноречивые толки критики и включенное во второе издание книги, объясняет общий замысел, цель произведения. Затем идут путевые записки автора, повесть «Бэла». Эти путевые записки стилистически продолжают «Путешествие в Арзрум» Пушкина, опубликованное в 1836 году в пушкинском «Современнике», как раз незадолго до высылки Лермонтова на Кавказ.

При всей своей кажущейся простоте, повесть «Бэла» сложна и по композиции, и по стилю¹. Традиционная романтическая тема приобретает здесь правдивый, реалистический характер.

Повесть «Бэла» начинается путевыми записками. Их автор — русский офицер, странствующий «с подорожной по казенной надобности», смотрит на кавказскую природу и кавказский быт глазами русского человека: «...и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фыр-

¹ Анализ языка и стиля «Героя нашего времени» см.: В. Виноградов. Стиль прозы Лермонтова. — «Литературное наследство», т. 43-44, 1941, стр. 517—628; Л. Б. Пельмуттер. Язык прозы М. Ю. Лермонтова. — Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сборник первый. М., Гослитиздат, 1941, стр. 310—355.

канье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика» (VI, стр. 206).

Лермонтов избегает местных, диалектных или кавказских иноязычных слов, намеренно пользуясь общелитературной лексикой. Простота и точность лермонтовского прозаического языка вырабатывалась под прямым воздействием прозы Пушкина.

Центральным в повести «Бэла» является рассказ Максима Максимыча, включенный в записки странствующего офицера. Однако этот рассказ перебивается описанием Крестового перевала. Рассказ Максима Максимыча сложен и тем, что в первую его часть включен рассказ Казбича о том, как он спасался от казаков, во вторую — автохарактеристика Печорина. Этой композиции повести соответствует ее стилистическая сложность. Каждое действующее лицо имеет свою речевую манеру¹.

По теме, по материалу эта романтическая история происхождения Бэлы Печориным восходит к «Кавказскому пленнику» Пушкина, к кавказским романтическим повестям Марлинского, но рассказана она нарочито сниженным, прозаическим языком, рассказывает ее не автор, не Печорин, а Максим Максимыч. И Лермонтов подчеркивает особенности речи Максима Максимыча. Сказовая манера Максима Максимыча, да и самый образ этого рассказчика, простого, скромного человека, восходит к «Повестям Белкина»; к «Станционному зрителю».

Если Марлинский в «Аммалат-беке» описывал джигитовку в каком-то волшебном сиянии, с оперным блеском, то лермонтовский Максим Максимыч говорит о джигитовке без всякой аффектации: «...потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошадежке, ломается, паясничает, смешит честную компанию» (VI, стр. 210).

Для речевой манеры Максима Максимыча характерно употребление выражений и оборотов из военно-профессиональной терминологии: «пришел транспорт с провиантом»; «девки и молодые ребята становятся в две шеренги» (VI, стр. 210). Вместе с тем в речи Максима Максимыча

¹ Об этом см.: И. Маслов. Персонажи говорят своим языком. — «Литературная учеба», 1940, № 7, стр. 53—74 и цитированную выше статью В. В. Виноградова «Стиль прозы Лермонтова».

без всякой особой аффектации, без нажима, как совершенно привычные, вошедшие в ежедневный обиход, встречаются наиболее распространенные местные, «кавказские», слова и выражения: мирной князь, кунак, джигитовка, сакля, духанщица, бешмет, гяур, калым и т. п. Иногда в речи самого Максима Максимыча, а чаще в передаваемой им прямой речи Казбича и Азамата звучат отдельные слова и фразы татарского языка: «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему: — яман будет твоя башка!» (VI, стр. 210).

Но бывает и так, что Максим Максимыч в своем рассказе как бы затрудняется припомнить какое-либо местное кавказское выражение и заменяет его соответствующими русскими словами: «Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл как по ихнему... ну, да вроде нашей балалайки» (VI, стр. 210). Это своеобразие речевой манеры Максима Максимыча является прямым выражением его отношения к людям, к окружающему быту.

В наиболее напряженные драматические моменты язык Максима Максимыча становится особенно выразительным и приближается к стилю автора: «Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу...» (VI, стр. 236).

Высокую художественность речи Максима Максимыча отметил еще Белинский: «Максим Максимыч рассказал ее [историю «Бэлы»] по-своему, своим языком; но от этого она не только ничего не потеряла, но бесконечно много выиграла. Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении заключается бесконечный мир поэзии. Не знаем, чему здесь более удивляться: тому ли, что поэт, заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем, или тому, что он сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на событие глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем?..» (Белинский, IV, стр. 207).

Вложив рассказ об истории Печорина и Бэлы в уста старого «кавказца» Максима Максимыча, Лермонтов отделил трагическую опустошенность Печорина и, вместе с тем, противопоставил ему цельный характер русского человека.

Честный труженик, незаметный герой, Максим Максимыч не только по-новому продолжает традицию, намеченную Пушкиным в образе первого демократического героя — стационарного зрителя, но и предвосхищает образы героев Севастополя в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого и в особенности образы Тимохина и Тушина в «Войне и мире»¹.

Сам Лермонтов придавал большое значение разработке этого образа. Об этом свидетельствует примыкающий к «Герою нашего времени» набросок, озаглавленный «Кавказец»: «Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; склонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при приезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок...

Настоящий кавказец — человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского Пленника» и воспламенился страстью к Кавказу. Он с 10 товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маденым чемоданом. Он еще в Петербурге шил себе ахалук, достал мохнатую шапку и черкесскую плетть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кияжал и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку пока до экспедиции; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками

¹ О теме простого человека в творчестве Лермонтова см.: Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова. М.—Л., «Наука», 1964, стр. 127—133.

десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видеть, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды» (VI, стр. 348—349).

Такова типичная история жизни почти всякого «кавказца», примерно так представлял себе прошлое Максима Максимыча Лермонтов. И характерно, что ироническое отношение Лермонтова к молодому, неопытному кавказцу постепенно сменяется чувством уважения и симпатии к уже закалившемуся в испытаниях офицеру. В своем наброске Лермонтов наметил несколькими легкими штрихами, как преодолеваются романтические иллюзии юности, как воспитанный на Марлинском «кавказец» под непосредственным воздействием кавказской суровой действительности приобретает трезвый, прозаический взгляд на жизнь: «Между тем, хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту...» (VI, стр. 349).

Это упоминание о пленной черкешенке заслуживает особого внимания. История похищения Печориным Бэлы, рассказанная Максимом Максимычем, оказывается осуществляет «почти несбыточную мечту» всякого «кавказца», и в том числе, быть может, самого Максима Максимыча.

В повести «Бэла» Максим Максимыч представлен не столько действующим лицом, сколько рассказчиком. Лермонтов ограничивается беглой и внешней ею характеристикой. Все внимание читателя сосредоточено не на действиях Максима Максимыча, а на его рассказе, из которого возникает образ главного героя — Печорина. Правда, рассказывая о Бэле и Печорине, Максим Максимыч попутно сообщает кое-что и о себе, но эти сдержанные при-

знания¹ все же не выдвигают Максима Максимыча на первый план.

Во второй повести, связывающей «Бэлу» с «Журналом Печорина» и озаглавленной «Максим Максимыч», старый штабс-капитан уже ничего не рассказывает. «Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного...» (VI, стр. 239). Теперь Максим Максимыч сам является действующим лицом, а рассказывает о нем автор. Все внимание читателя устремляется на Максима Максимыча. Его поведение, слова, жесты получают индивидуальный отпечаток и отмечаются наблюдательным автором.

Типичность Максима Максимыча совсем иного порядка, чем типичность Печорина. Печорин — человек выдающийся, исключительный. Максим Максимыч — обыкновенный, честный офицер, каких было много на Кавказской линии и вообще в армии.

Максим Максимыч — один из тех армейских офицеров, которые вынесли на себе всю тяжесть длительной кавказской войны. По определению Белинского, это тип «старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисто русский...» (Белинский, VI, стр. 205).

В повести «Максим Максимыч» единственный раз автор романа сталкивается с Печориным лицом к лицу. Его портретную характеристику Лермонтов не считал возможным вложить в уста Максима Максимыча или какого-либо другого героя своего романа. Он позаботился о тщательной мотивировке встречи автора с героем романа, чтобы от его имени нарисовать точный психологический портрет человека, судьбой которого читатель уже заинтересовался в повести «Бэла».

Появлению Печорина предшествует описание его щегольской коляски и избалованного столичного лакея. Надменность слуги резко контрастирует с нескрываемой

¹ Например, слова Максима Максимыча: «Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет 12 уж не имею известия, а заpastись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу... Видал я наших губернских барышень, а раз был-с в Москве в благородном собрании, лет 20 тому назад...» (VI, стр. 228).

радостью Максима Максимыча, с его нетерпением поскорее увидеть Печорина.

Прежде чем приступить к характеристике Печорина, Лермонтов особо предупреждает читателя: «Теперь я должен нарисовать его портрет».

«Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно-чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно спитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера... Когда он опустил на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его, я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева, или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади» (VI, стр. 243—244).

Такое внешне точное и вместе с тем психологически проникновенное воссоздание портрета действующего лица было подлинным открытием в истории литературы. Достаточно сравнить этот портрет с любым портретом в прозе Пушкина, чтобы убедиться, что Лермонтов пошел по пути дальнейшей детализации, дальнейшего более углубленного психологического анализа внешнего облика и внутреннего содержания своего героя. Он подбирает в опреде-

ленной последовательности внешние детали и сразу же истолковывает их в физиологическом, социологическом и психологическом плане.

Портретное мастерство Лермонтова открывало широкие возможности для психологически разработанных портретных характеристик в творчестве Тургенева, Толстого, Гончарова, Чехова и Горького и всей последующей русской литературы¹.

После встречи автора с Печориным во Владикавказе в руки автора попадают его записки. В Предисловии к «Журналу Печорина» автор сообщает то, чего не мог бы сообщить сам Печорин: Печорин умер, возвращаясь из путешествия в Персию. Так обосновывается право автора на публикацию «Журнала Печорина», состоящего из трех повестей: «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист».

В повестях «Журнала Печорина», написанных от первого лица, появляется третий рассказчик, третье по счету авторское «я» — сам Печорин, судьбой которого читатель заинтересовался еще в рассказе Максима Максимыча и значительность которого оценил по портретной характеристике, данной наблюдательным автором. И вот умный, скрытый Печорин, умеющий точно определить каждую мысль, всякое душевное состояние как самого себя, так и своих собеседников, с беспощадной откровенностью рассказывает о своей жизни, о глубокой неудовлетворенности собой и всем окружающим. В самоанализе, в «рефлексии» (по терминологии Белинского) — сила и слабость Печорина, отсюда его превосходство над людьми и в этом одна из причин его скептицизма, разочарованности.

Стиль «Журнала Печорина» во многом близок к стилю авторского повествования в «Бэле» и «Максиме Максимыче». Еще Белинский отмечал: «...хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство» (Белинский, IV, стр. 262).

¹ О мастерстве Лермонтова-портретиста см.: Н. И. Никитин. Портрет у Лермонтова. — «Литературная учеба», 1941, № 7-8, стр. 40—55; Н. И. Никитин. Образ Печорина в композиции «Героя нашего времени». — «Литература в школе», 1941, № 4, стр. 48—63; Б. В. Нейман. Портрет в творчестве Лермонтова. — «Ученые записки МГУ», вып. 127. Труды кафедры русской литературы, кн. 3-я, 1948, стр. 73—90; В. А. Евзрихина. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Лекция в помощь студентам-заочникам, вып. 16. Новосибирск, 1959, стр. 30—33.

При всем стилистическом единстве «Журнала Печорина» каждая из трех повестей, составляющих этот «Журнал», имеет свою историко-литературную генеалогию.

«Тамань» — остро сюжетная и вместе с тем самая лирическая повесть во всей книге — по-новому и в реалистической манере продолжает традиции романтических разбойничьих повестей; вместе с тем в эту маленькую повесть вплетается распространенный в романтической балладе мотив русалки, ундины, но и он переведен в реальный жизненный план: ундина превращается в обольстительную контрабандистку.

Л. Ф. Зуров отметил сюжетную близость «Тамани» к рассказу Жорж Занд «L'Orco». Этот рассказ Жорж Занд был напечатан в «Revue des deux mondes» в томе XIII 1 марта 1838 года. Лермонтов следил за этим изданием и, можно сказать с уверенностью, знал рассказ Жорж Занд¹.

У Жорж Занд дело происходит в находящейся под австрийским владычеством Венеции. Заговорщики, мечта об освобождении родного города, ведут безжалостную борьбу с австрийцами. Отважная венецианская красавица завлекает ночью молодых офицеров в свою гондолу и топит их в море. О ее гондоле в Венеции многие знают, даже австрийские пограничники видели ее, но считают лодкой контрабандистов. О контрабандистах Жорж Занд упоминает дважды. Во время ночной прогулки молодой австрийский офицер встречает ночную красавицу; как и девушка в «Тамани» при первой встрече с молодым русским офицером, она поет песню, как бы не замечая его, и т. д. При всей сюжетной близости к рассказу Жорж Занд по идейному замыслу, по отношению автора к воспроизводимой действительности «Тамань» представляет полную противоположность и этой, и другим романтическим новеллам предшественников Лермонтова. Каждому движению героя, каждому поступку соответствует бытовая реалистическая мотивировка. Денщик-казак обрисован подчеркнуто прозаическими чертами. Все в «Тамани» объясняется и развязывается самым обычным и прозаическим образом, хотя первоначально воспринимается Печоринским несколько романтически и подлинно поэтически. Это неудивительно. Печорин попадает в непривычную и в нети-

¹ Л. Ф. Зуров. «Тамань» Лермонтова и «L'Orco» Жорж Занд. — The new Review, December, 1961, Vol. 66, New-York, 176—284.

пичную для дворянского героя обстановку. Ему кажется загадочной бедная хата с ее неприветливыми обитателями на высоком обрыве у Черного моря. И Печорин вторгается в эту непонятную ему, странную жизнь контрабандистов, «как камень, брошенный в гладкий источник (VI, стр 260).

Читатель вместе с Печориным начинает понимать, что девушка-контрабандистка только разыграла роль страстно влюбленной русалки, чтобы освободиться от непрошеного гостя офицера. Когда оказывается, что тем временем слепой мальчик обокрал Печорина, грустно ироническое восклицание Печорина подводит правдивый и горький итог всему происшествию: «...Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..» (VI, стр. 260).

Белинский высоко оценил «Тамань»: «Мы не решились делать выписок из этой повести, потому что она решительно не допускает их: это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом; она вся в форме; если выписывать, то должно бы ее выписать всю от слова до слова; пересказывание ее содержания даст о ней такое же понятие, как рассказ, хотя бы и восторженный, о красоте женщины, которой вы сами не видели» (Белинский, IV, стр. 226).

Вторая повесть, входящая в состав «Журнала Печорина», «Княжна Мери», разрабатывает тему героя времени в окружении «водяного общества», намеченную еще Пушкиным в известных строфах «Путешествия Онегина» («Уже пустыни сторож вечный...» Пушкин, V, стр. 210).

Описание кавказской природы, быта и нравов посетителей Кавказских минеральных вод в этой повести своеобразно сочетаются с ироническим, если не сатирическим, изображением жизни дворянского «водяного общества», в окружении которого и в столкновении с которым показан Печорин.

Княжна Мери и ее мать княгиня Лиговская, ее сестренница Вера и второй муж Веры, Семен Васильевич, — все это люди того круга, к которому принадлежит и Печорин; он связан с ними общими петербургскими и московскими знакомствами и воспоминаниями.

В повести «Княжна Мери» Печорин выступает перед читателем не только как мемуарист-рассказчик (как в «Тамани» и «Фаталисте»), но и как автор дневника, журнала, в котором точно фиксируются его размышления и впечатления. Это позволяет Лермонтову с большой глубиной раскрыть внутренний мир своего героя.

Дневник Печорина открывается записью, сделанной 11 мая, на другой день после приезда в Пятигорск. Подробные описания последующих событий составляют как бы первую, «пятигорскую» часть повести. Запись от 10 июня открывает вторую, «кисловодскую» часть его дневника. Во второй части события развиваются стремительнее, последовательно подводя к кульминации повести и всего романа — к дуэли Печорина с Грушницким. За дуэль с Грушницким Печорин попадает в крепость к Максиму Максимычу. Этим и заканчивается повесть.

Таким образом, все события «Княжны Мери» укладываются в срок немногим больший, чем полтора месяца. Но повествование об этих немногих днях дает возможность Лермонтову с исключительной глубиной и полнотой раскрыть изнутри противоречивый образ Печорина.

Именно в «Княжне Мери» наиболее глубоко показаны безысходное отчаяние, трагическая безнадежность эгоиста Печорина, умного и даровитого человека, искалеченного средой и воспитанием.

Прошлое Печорина, если не говорить о более раннем замысле «Княгини Лиговской», в пределах «Героя нашего времени» мало интересует Лермонтова. Автор почти не занят вопросом о становлении своего героя. Лермонтов не считает даже нужным сообщить читателю, что делал Печорин в Петербурге в продолжение пяти лет, прошедших после возвращения его с Кавказа и до нового появления во Владикавказе («Максим Максимыч»), по пути в Персию. Все внимание Лермонтова обращено на раскрытие внутренней жизни своего героя.

Не только в русской, но и в мировой литературе Лермонтов один из первых овладел умением улавливать и изображать «психический процесс возникновения мыслей», как выразился Чернышевский в статье о ранних повестях и рассказах Льва Толстого. И если «сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души» в полной мере были раскрыты средствами художественной литературы только Толстым, то при всем различии между

Лермонтовым и Толстым Чернышевский не случайно назвал среди предшественников Толстого имя автора «Героя нашего времени», у которого «более развита эта сторона психологического анализа»¹.

В беседе с доктором Вернером Печорин говорит: «Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» (VI, стр. 324).

Печорин последовательно и убедительно раскрывает в своем дневнике не только свои мысли и настроения, но и духовный мир и душевный облик тех, с кем ему приходится встречаться. От его наблюдательности не ускользают ни интонации голоса собеседника, ни движения его глаз, ни мимика. Каждое сказанное слово, каждый жест открывают Печорину душевное состояние собеседника. Печорин не только очень умен, но и наблюдателен и чуток. Этим объясняется его умение отлично разбираться в людях. Портретные характеристики в «Журнале Печорина» поражают своей глубиной и меткостью. Мы знаем, что они написаны Лермонтовым, но ведь Лермонтов не случайно же приписал их Печорину. Так, о докторе Вернере Печорин записывает: «Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием» и т. д. (VI, стр. 268).

Если Вернер является спутником Печорина, то Грушницкий — его антипод. Печорин знакомится с Грушницким в действующем отряде, а затем встречается с ним в Пятигорске. Эта встреча дает повод для развернутой портретной характеристики Грушницкого (VI, стр. 262—263).

Разгадав Грушницкого, Печорин точно воспроизводит в своих записях его речь и этим окончательно раскрывает

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III. М., Гослитиздат, 1947, стр. 423.

его ничтожность. Фальшивые, излишне приподнятые, декламационные высказывания Грушницкого изобилуют восклицаниями, вопросами, подчеркнутыми паузами и умолчаниями; речь Грушницкого без всякой меры расцветена острыми антитезами, сравнениями и приравнениями, например: «Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня» (VI, стр. 264).

Природа, пейзаж в «Герое нашего времени», в особенности в «Журнале Печорина», очень часто не только фон для человеческих переживаний. Пейзаж непосредственно проясняет состояние человека, а иногда контрастно подчеркивает несоответствие переживаний героя и окружающей обстановки.

Первой же встрече Печорина с Верой предшествует грозовой, насыщенный электричеством пейзаж: «Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещающая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством» (VI, стр. 277).

Противоречивое состояние Печорина перед дуэлью характеризуется двойственностью образов и красок утреннего пейзажа окрестностей Кисловодска: «Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томленье» и т. д. (VI, стр. 323—324)¹.

Тот же прием контрастного освещения применен в описании горного пейзажа, окружавшего дуэлянтов, поднявшихся на вершину скалы: «Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там, внизу, казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозой и временем, ожидали своей добычи» (VI, стр. 327).

¹ Об этом подробнее см. комментарий, стр. 241—243.

Печорин, умеющий точно определить каждую свою мысль, всякое душевное состояние, сдержанно и скупко сообщает о возвращении с поединка, на котором был убит Грушницкий. Краткое, выразительное описание природы раскрывает читателю тяжелое состояние Печорина: «Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели» (VI, стр. 331).

Наиболее сложно и менее всего изучено историко-литературное происхождение «Фаталиста», авантюрно-психологической, или, точнее, авантюрно-философской, новеллы, завершающей роман. Трагическая гибель Вулича как бы подготавливает читателя «Фаталиста» к неизбежной и близкой смерти Печорина; о ней автор уже сообщил в Предисловии к «Журналу Печорина»: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер» (VI, стр. 248).

Заключительная, философская новелла Лермонтова перекликается с некоторыми темами и мотивами, характерными и для немецкого романтика Э.-Т.-А. Гофмана и для создателя русской романтической прозы А. А. Бестужева-Марлинского, но вопрос о судьбе, о предопределении ставится Лермонтовым на совершенно реальном, даже бытовом материале. «Фаталист» ни в какой степени не является подражанием Гофману или Марлинскому: Вместе с тем Лермонтов в «Фаталисте» продолжает разрабатывать проблематику пушкинского «Выстрела» и «Пиковой дамы» — тему игрока, тему испытания судьбы. Эта тема открыто намечена уже в начале новеллы.

«Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra» (VI, стр. 338).

В идеалистической философской литературе, в рассказах, повестях и романах 20-х и в особенности 30-х годов, в период, усилившейся европейской реакции, этому вопросу уделялось большое внимание.

Ключом к идейному замыслу «Фаталиста» является монолог Печорина, объединяющий первую часть новеллы со второй ее частью, в которой речь идет о смерти Вулича.

Размышления Печорина в этом монологе как бы подводят итог всему «Журналу Печорина» и даже роману

«Герой нашего времени» в целом. Как справедливо утверждает Е. Н. Михайлова, «Лермонтов как бы говорит своей новеллой: никто не может решить окончательно, существует предопределение или нет, поскольку всегда остается место для случайности, для субъективных «промахов мысли» при объяснении явлений; но даже если предопределение и существует (к чему склоняет пример судьбы Вулича), то и в таком случае человеку остается одно — действовать, испытывать судьбу.

Действие, борьба — вот последний вывод Лермонтова из проблемы рока»¹.

* * *

Лермонтов в своем романе еще не ставит вопроса «кто виноват?» Он ограничился тем, что «болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!» Но для того чтобы подойти к вопросу «кто виноват?», а затем и решать проблему «что делать?», необходимо было со всей беспощадностью и прямоотой указать на болезнь века, обобщить и подробно изучить сложную, противоречивую жизнь героя своего времени. Именно эту задачу и разрешил Лермонтов в первом русском психологическом и социально-философском романе в прозе.

Роман Лермонтова прочно вошел в историю русской реалистической прозы и во многом определил развитие русского классического романа.

Алексей Толстой, Николай Тихонов и другие советские писатели и поэты не раз называли Лермонтова, его поэтическое наследие и роман «Герой нашего времени» среди любимых творений, которые учат высокому мастерству и великой требовательности к долгу писателя.

А. Н. Толстой так определил значение прозы Лермонтова и его романа «Герой нашего времени»: «Лермонтов-прозаик — это чудо, это то, к чему мы сейчас, через сто лет, должны стремиться, должны изучать лермонтовскую прозу, должны воспринимать ее как истоки великой русской прозаической литературы.

Лермонтов в «Герое нашего времени», в пяти повестях: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна

¹ Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 339. Об этом подробнее см. комментарий, стр. 254 и 263.

Мери» и «Фаталист», связанных единым внутренним сюжетом — раскрытием образа Печорина — героя времени...

Лермонтов в пяти этих повестях раскрывает перед нами совершенство реального, мудрого, высокого по стилю и восхитительно благоуханного искусства.

Читаешь и чувствуешь: здесь все — не больше и не меньше того, что нужно и как можно сказать. Это глубоко и человечно. Эту прозу мог создать только русский язык, вызванный гением к высшему творчеству. Из этой прозы — и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский, и Лев Толстой, и Чехов. Вся великая река русского романа растекается из этого прозрачного источника, зачатого на снежных вершинах Кавказа»¹.

«Герой нашего времени», положивший начало вместе с «Евгением Онегиным» и «Капитанской дочкой» развитию русского реалистического социально-психологического романа, переведен не только почти на все языки народов Советского Союза, но и на многие языки народов мира. Много раз роман Лермонтова переводился на английский, итальянский, немецкий и французский языки; эта книга хорошо знакома в Японии и Индии, в Турции и в Корее. Особенно широкое распространение «Герой нашего времени» получил в Восточной Европе, в странах народной демократии, и прежде всего в славянских странах: Болгарии, Польше, Чехословакии. На литературы народов этих стран роман Лермонтова оказал значительное воздействие. Так, например, «Герой нашего времени» имел очень большое значение для ряда выдающихся польских писателей: Г. Сенкевича, С. Жеромского, С. Пшебышевского. Но изучение творчества Лермонтова и его романа как явления мировой литературы только начинается в наши дни»².

¹ А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13. М., Гослитиздат, 1949, стр. 427—428.

² Библиографию переводов «Героя нашего времени» на иностранные языки, составленную Б. Л. Канделем см. в издании: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. (В серии «Литературные памятники».) Изд. АН СССР. М., 1962, стр. 203—218, а также в кн.: М. Ю. Лермонтов. Семинарий. Л., Учпедгиз, 1960, стр. 367—390.

КОММЕНТАРИЙ К РОМАНУ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие к роману «Герой нашего времени» Лермонтов написал в Петербурге весной 1841 года для второго издания; оно было разрешено к печати цензором П. Корсаковым 3 мая 1841 года в составе второй части романа перед «Княжной Мери», когда Лермонтов уже находился по пути в Ставрополь.

Во времена Лермонтова бывали случаи, что Предисловие, для усложнения композиции романа, помещалось не в начале, а в середине произведения (например, «Странник» А. Ф. Вельтмана, 1831—1832 гг.; «Княжна Мими» В. Ф. Одоевского, 1834 г. и др.). Однако Предисловие к «Герою нашего времени» попало при печатании второго издания в начало второй части исключительно по техническим причинам, так как было прислано автором, когда издание первой части уже было завершено. Предисловие напечатано с особой нумерацией страниц. Во всех последующих изданиях, уже после смерти Лермонтова, Предисловие романа помещалось перед первой частью, не нарушая естественной композиции всего произведения в целом. Так оно печатается и в советских изданиях.

Черновой автограф Предисловия находится в альбоме Лермонтова 1840—1841 годов (листы 5—7 карандашом), хранящемся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Имеется также авторизованная копия Предисловия, написанная рукой троюродного брата Лермонтова, Акима Павловича Шан-Гирея. По всем признакам этот текст писан А. П. Шан-Гиреем под диктовку Лермонтова, который за-

тем внес в текст некоторые изменения. По сравнению с черновым текстом, копия Шан-Гирея отличается незначительными изменениями, внесенными рукой поэта. Варианты этих двух редакций Предисловия см.: Л е р м о н т о в, т. IV, стр. 561—564.

В своем Предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени» Лермонтов ответил на критические статьи, появившиеся по поводу первого издания его книги во второй половине 1840 и в начале 1841 года.

В первую очередь Лермонтов полемизирует с поэтом и критиком, профессором Московского университета Степаном Петровичем Шевыревым (1806—1864), который видел в Печорине явление порочное, не свойственное русской жизни, навеянное влиянием Западной Европы («Москвитянин», 1841, ч. I, № 2, стр. 515—533). Консервативная критика отвергала идею независимой, самостоятельно мыслящей личности, ей было чуждо всякое проявление собственной воли и разума, критического отношения к окружающей крепостнической России. Шевырева раздражала в романе Лермонтова «гордость человеческого духа», сказывающаяся в «злоупотреблениях личной свободы и разума, какие заметны во Франции и Германии» (там же, стр. 533). Оставить без ответа подобные нападки реакционеров Лермонтов не мог. В самый последний момент, когда второе издание было уже почти готово, Лермонтов решил предпослать второй части романа свое остро-публицистическое Предисловие, где раскрывал глубокий общественно-политический и философский смысл всего романа (об этом подробнее см.: Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 343 и след.; Э. Э. Найдич. «Герой нашего времени» в русской критике. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (в серии «Литературные памятники»). М., Изд. АН СССР, 1962, стр. 163—171; И. Виноградов. Философский роман Лермонтова. — «Новый мир», 1964, кн. 10, стр. 224—225).

Отповедь Лермонтова С. П. Шевыреву интересна еще и тем, что в юношеские годы, учась в Московском университетском пансионе, Лермонтов относился к Шевыреву с вниманием и уважением. Высказывалось предположение, что стихотворение 1829 года «Романс» («Коварной жизнью недовольный», I, стр. 22 и 387) посвящено Шевыреву.

«Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоученья...»

Эта фраза в самом начале Предисловия содержит очень важные указания на то, что публика не поняла общественной проблематики и иронии, заложенной в романе. Лермонтов жалуется на «несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов». Это намек на то, что в романе есть второй, не высказанный прямо смысл — трагедия целого поколения, обреченного на бездействие. Именно так понял эти слова Белинский, когда привел полностью все Предисловие как лучший пример того, что значит «иметь слог», и прибавил: «Какая сжатость, краткость и, вместе с тем, многозначительность! Читая строки, читаешь и между строками; понимаю ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым» (Белинский, V, стр. 455).

«Иные ужасно обиделись...»

По мнению С. И. Родзевича, Лермонтов в этом месте перекликается с Байроном, отвечающим на аналогичные упреки в V строфе 4-й песни «Дон-Жуана» (С. И. Родзевич. Предшественники Печорина во французской литературе. Киев, 1913, стр. 33).

Вот эта строфа из «Дон-Жуана» Байрона:

Меня винят в нападках постоянно
На нравы и обычаи страны.
Из каждой строчки этого романа
Такие мысли якобы ясны.
Но я не строил никакого плана,
Да мне и планы вовсе не нужны;
Я думал быть веселым — это слово
В моих устах звучит, пожалуй, ново!

(Дж. Байрон. Дон-Жуан. Перевод Т. Г. Гнедич. М.-Л., «Художественная литература», 1964, стр. 184).

«...другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых...»

В черновой рукописи этой фразе соответствовали два более развернутых предложения: «Мы жалуемся только на недоразумение публики, не на журналы; они почти все были более чем благосклонны к этой книге, все, кроме одного, который как бы нарочно в своей критике смеши-

вал имя сочинителя с героем его повести, вероятно надеясь на то, что его читать никто не будет; но хотя ничтожность этого журнала и служит ему достаточной защитой, однако все-таки прочитав грубую и неприличную брань — на душе остается неприятное чувство, как после встречи с пьяным на улице» (VI, стр. 563).

Здесь Лермонтов имел в виду реакционного критика, редактора журнала «Маяк» С. О. Бурачок (1800—1876). Отождествив автора романа с Печориным, Бурачок с негодованием писал, что в «Герое нашего времени» «нет ни религиозности, ни народности», что образ Печорина является клеветой на русскую действительность, «на целое поколение людей», что «в натуре этакие бесчувственные, бессовестные люди невозможны». «В ком силы духовные хоть мало-мальски живы, — заключал критик, — для тех эта книга отвратительно несносна» (Разговор в гостиной. — «Маяк», 1840, ч. IV, стр. 210—219).

Не удовлетворившись нападками на Лермонтова в критических статьях, Бурачок уже после смерти поэта напечатал свой ответный реакционный роман, также озаглавленный «Герой нашего времени» («Маяк», 1845, тт. XIX, XX). Об этом см.: С. А. Андреев. Лермонтов и реакция. — «30 дней», 1938, № 7, стр. 88—90).

С. О. Бурачок в своем отрицательном отношении к роману Лермонтова не был одинок. Его мнение во многом совпадало с резким отзывом Николая I (см. стр. 9 настоящего издания) и со статьей известного романиста и драматурга М. Н. Загоскина («Маяк», 1840, ч. VII, стр. 101—102).

«Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения...»

С. И. Родзевич сопоставил эти слова Лермонтова с первыми строками «Исповеди сына века» Альфреда Мюссе: «В молодости меня постиг тяжкий нравственный недуг, и вот теперь я описываю то, что перенес в течение трех лет. Если бы только я один страдал этим недугом, то умолчал бы о нем, но так как *многие другие страдают тем же недугом, то я пишу для них*». Как и Мюссе, Лермонтов в конце предисловия говорит о «болезни», разумея здесь «пороки поколения», тот недуг, о котором упоминает французский поэт. Оба автора видят в героях своих романов как бы нечто символическое, видят в них людей, отразивших в себе свой век». О «болезни века»

Мюссе говорит в «Исповеди» еще несколько раз (во II главе, в начале III, в конце IX главы 1-й части). См.: С. И. Родзевич. Предшественники Печорина во французской литературе. Киев, 1913, стр. 32—33.

Роман Мюссе «Исповедь сына века» вышел в свет в 1836 году и, конечно, был хорошо знаком Лермонтову. Из русских переводов последних лет можно воспользоваться переводом Д. Лившиц и К. Ксаниной (М., «Художественная литература», 1958, 270 стр.).

«Ему просто было весело...»

С этим местом Предисловия можно сопоставить отрывок из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840):

И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум... (II, 149)

«БЭЛА»

«Бэла» написана в 1838 году. Автографа «Бэлы» не сохранилось. Самым ранним по времени источником текста этой повести является первоначальная публикация в «Отечественных записках» (1839, т. 2, № 3, отд. III, стр. 167—212). Эта книжка «Отечественных записок» вышла в свет в первой половине марта 1839 года.

Появление «Бэлы» в «Отечественных записках» с подзаголовком «Из записок офицера о Кавказе» вызвало сочувственный отзыв Белинского: «В III № помещена «Бэла», рассказ г. Лермонтова, молодого поэта с необыкновенным талантом. Здесь в первый еще раз является г. Лермонтов с прозаическим опытом — и этот опыт достоин его высокого поэтического дарования. Простота и безыскусственность этого рассказа — невыразимы, и каждое слово в нем так на своем месте, так богато значением. Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клеветают на него. Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей Марлинского» (Белинский, III, стр. 188).

Белинский противопоставил, таким образом, правдивую, реалистическую повесть Лермонтова «Бэла» романтическим кавказским повестям А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек» (1832) и «Мулла-Нур» (1835—1836), пользовавшимся в 30-е годы XIX века большим успехом у широких кругов читателей. Тем самым, тотчас после появления «Бэлы», Белинский высоко оценил дарование Лермонтова-прозаика и отметил, что его повесть — значительный вклад в историю русского реализма.

В «Бэле» сочетается два жанра: путевого очерка и авантюрной новеллы. Эта повесть является началом путевых записок автора романа, странствующего, наблюдающего жизнь и записывающего свои впечатления молодого офицера, образ которого явно автобиографичен.

Рассказчик, который впервые знакомит читателя с Печориным и его жизнью, превращен из условного персонажа (как это обычно бывало раньше в романтических повестях) в совершенно реальный образ человека, принимающего участие в событиях, о которых он ведет рассказ. Эта особенность отличает «Бэлу» от романтических повестей и является одним из характерных признаков реалистической манеры повествования.

Как справедливо заметил Дурылин, повесть «Бэла» естественно разделяется на четыре части, хотя у Лермонтова эти деления никак не обозначены: 1. Встреча офицера, автора записок, с Максимом Максимычем на Военно-Грузинской дороге; 2. Рассказ Максима Максимыча о Печорине и Бэле, обрывающийся на смерти Бэлы; 3. Описание подъема на Гуд-Гору и спуска с нее в Чертову Долину; 4. Окончание рассказа Максима Максимыча во время вынужденного привала в осетинской сакле, не доезжая Коби.

«Я ехал на перекладных из Тифлиса».

Рассказчик-офицер едет из Тифлиса (ныне Тбилиси), столицы Грузии, во Владикавказ (ныне Орджоникидзе) по Военно-Грузинской дороге, которая пересекает Кавказский хребет по долинам Терека, текущего с ледников Казбека, и Арагвы, текущей с Казбека на юг. Это был главный и наиболее удобный путь протяжением, в 201,75 версты, соединявший Россию с Грузией, Арменией и Азербайджаном, которые вошли в состав Российской империи в первое тридцатилетие XIX века. Постоянное сообщение по Военно-Грузинской дороге было открыто рус-

ским правительством еще в 1799 году, до присоединения Грузии.

В «Бале» описывается перевал через самую трудную, высокую и опасную часть пути между станциями Пассанаур (83 1/2 версты от Тифлиса) — Койшаур (в 19 верстах от Пассанаура) и Коби (в 16 верстах от Койшаура и в 58 1/2 верстах от Владикавказа) ¹.

Расстояния от станций по Военно-Грузинской дороге во времена Лермонтова исчислялись следующим образом:

От Владикавказа до Тифлиса:

Ст. Балта	12,5 верст.
Ларс	16
Казбек	15,5
Коби	18
Гудаур	16
Млеты	15
Пассанаур	18,5
Ананур	21
Душет	16,75
Цылханы	17,75
Мцхет	14,75
Тифлис	20

201,75

До Лермонтова путешествие по Военно-Грузинской дороге описал в путевых записках А. С. Грибоедов (октябрь 1818), затем А. С. Пушкин в первой главе «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года». В отличие от Грибоедова и Пушкина Лермонтов описал Военно-Грузинскую дорогу в обратном направлении — с юга на север, от Тифлиса до Владикавказа. Описания этого пути не раз встречаются в русской периодической печати и в записках путешественников-иностранцев в 20-е и 30-е годы XIX века. См., например: Поездка в Грузию [неизвестного автора]. — «Московский телеграф», 1833, № 15, стр. 327—367; Почтовый дорожник, или Описание всех почтовых дорог Российской империи, царства Польского и других

¹ Все расстояния в нашем комментарии указываются в верстах. Верста — старая русская мера длины (путевая), упоминающаяся еще в памятниках XI века. Величина версты изменялась неоднократно в зависимости от числа заключающихся в ней сажен (от 500 до 1000) и от величины сажени. С конца XVIII века величина версты была установлена твердо: 1 верста = 1,0668 км.

присоединенных областей в трех частях. Спб., 1824; второе издание, Спб., 1829; М. С. Руководство к познанию Кавказа. Спб., 1841, книжка вторая, стр. 2—61; Кавказский календарь на 1848 год. Тифлис, 1847, стр. 81; А. В — в. Дорога от Тифлиса до Владикавказа; Сборник газеты «Кавказ», второе полугодие 1847 года. Тифлис, стр. 1—53 и Е. Вейденбаум. От Владикавказа до Тифлиса, 1913.

Тифлис (Тбилиси — от груз. Тбили — теплый) — древнейший город Закавказья, основанный грузинским царем Вахтангом Горгасалом (446—449), столица Грузии со времен сына Вахтанга, Дачи (449—514), который завершил сооружение городских стен и перенес столицу из Мцхета.

В своей многострадальной истории Тбилиси много раз подвергался нападениям и жестоким военным разрушениям.

В 30-е годы XIX века старшее поколение жителей хорошо помнило страшное нашествие персидского шаха Ага-Муххамез-хана, который в 1795 году превратил Тбилиси в груды развалин, а население частью истребил, частью увел в плен. В ноябре 1799 года в Тбилиси прибыл русский отряд под командой генерал-майора Лазарева. В 1801 году, после добровольного присоединения Грузии к России, Тифлис стал губернским городом. Лермонтов был в Тифлисе осенью 1837 года, когда в городе насчитывалось около 30 тысяч жителей: грузин, армян, азербайджанцев, русских. Сохранилось несколько рисунков и картин Лермонтова, изображающих Тифлис. В стихотворении Лермонтова «Свидание» (1841) и в записанной им азербайджанской сказке «Ашик-Кериб» (1837) действие происходит в Тифлисе (т. II, стр. 204—206 и т. VI, стр. 194—201). См. также запись Лермонтова: «Я в Тифлисе...» (т. VI, стр. 383).

Описание Тифлиса времен Лермонтова и о пребывании там поэта см.: И. Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., «Советский писатель», 1955 и «Заря Востока», Тбилиси, 1958; ср.: Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 281—377. Кроме того, см.: М. Полиевктов и Г. Натадзе. Старый Тифлис в известиях современников. Госиздат Грузии, 1929.

Перекладные — казенные почтовые лошади, которые перепрягались, сменялись на почтовых станциях.

«Пассажир, ехавший на почтовых, должен был иметь *подорожную*, в которой указывались маршрут, должность и фамилия пассажира и обозначалось по казенной или по своей надобности он едет, каких лошадей следовало запрягать ему на станциях — «почтовых» или «курьерских» и число лошадей. *Прогонь*, т. е. плата за каждую лошадь и версту, взимались в зависимости от тракта. Число лошадей, которое имел право требовать проезжий, обуславливалось его чином и званием. Максим Максимыч как штабс-капитан (9 класс) имел право на три лошади. Кроме казенных почтовых станций, на дороге расположены были и частные духаны, харчевни, где ютились на ночлег грузины и горцы, т. е. черкесы, чеченцы, осетины и пр. Лермонтов заставляет офицера повествователя заметить возле духана и караван верблюдов. Захват русским правительством Закавказья в 1802—1829 гг. открыл возможность прямой караванной торговли России с Персией и Турцией» (Дурылин, стр. 178—179).

Койшаурская долина, Койшаурская гора, Арагва. Известная своей красотой и богатейшей растительностью Койшаурская долина является верхней частью долины Арагвы, левого притока Куры, которая берет начало в Гудовском ущелье под перевалом Военно-Грузинской дороги.

Ср. в «Путешествии в Арзрум» Пушкина: «С высоты Гуд-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога» (Пушкин, VI, стр. 656).

Грибоедов, проезжавший тут с севера на юг в октябре 1818 года, отметил: «Арагва внизу, вся в кустарниках, тьма пашней, стад, разнообразных домов, башен, хат, селений, стад овец и коз (по камням все ходят), руины замков, церквей и монастырей разнообразных, иные дики... Много ручьев и речек с гор стремятся в Арагву...» Ср.: А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. Спб., 1882, стр. 400—401 (описание Койшаурской долины, относящееся к 1840 году).

«...*Полного мглою ущелья...*» Это выражение встречается у Лермонтова не раз. См. в «Княжне Мери» в записи под 10 июня: «...ущелья, полные мглою и молча-

нием...» (VI, стр. 307), а также в стихотворении 1840 года «Из Гёте» (Горные вершины):

Тихие долины
Полны свежей мглой (II, 160).

Духан — харчевня, трактир, также мелочная лавка.
«...Я нанял шесть быков...»

Шесть быков для подъема тележки в зимнее время на Крестовый перевал не превышало ни в какой мере обычного числа быков. Так, В. А. Полторацкий в воспоминаниях утверждает, что в декабре 1846 года один путешественник поднимался «на шести парах [т. е. 12-ти] волов в Койшаурскую анафемскую гору» («Исторический вестник», 1893, кн. 1, январь, стр. 58).

Подъем «тележки» в гору на быках, нанимаемых у осетин, описал в «Путешествии в Арзрум» и Пушкин: «...услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О.» (Пушкин, VI, стр. 654).

Пушкин просто передает *факт*, не ставя большое число быков (36) ни в какую связь с плутовством их хозяев.

У Лермонтова Максим Максимыч — при подобных же тяжелых условиях подъема на тот же перевал, только с другой южной стороны, — число быков объясняет «плутовством» осетин-погонщиков. Это характерная черта для русского офицера-кавказца, находящегося всегда настороже в краю, где еще шла ожесточенная война.

Ставрополь — основан в 1777 году, как одна из десяти крепостей Азовско-Моздокской укрепленной линии, созданной для охраны южных границ России на Северном Кавказе. В 1785 г. поселок при крепости превращен в уездный город Кавказской губернии. В 1822 году при преобразовании Кавказской губернии в область Ставрополь стал ее центром. Через Ставрополь проходил главный почтовый тракт, связывавший Кавказ с Москвой и Петербургом. Здесь находился Штаб войск Кавказской линии и Черномории.

По долгу службы обязанный являться в штаб войск Кавказской линии и Черномории, Лермонтов неоднократно бывал в Ставрополе в 1837, 1840 и 1841 годах.

Здесь он представлялся командующему войсками генерал-адъютанту П. Х. Граббе (1789—1875), бывал в доме своего родственника, начальника Штаба войск Кавказской линии П. И. Петрова (1790—1871), встречался с сосланными декабристами С. Кривцовым, В. Голицыным, В. Н. Лихаревым, М. А. Низимовым, М. М. Нарышкиным, А. И. Одоевским и А. И. Черкасовым, а также их друзьями Н. М. Сатиным и доктором Н. В. Майером.

В 1837—1841 годах в Ставрополе насчитывалось около 5000 жителей — русских, армян, грузин и других национальностей (см.: Военно-статистическое обозрение Российской Империи, т. 16, ч. 1. Ставропольская губерния. Спб., 1851, стр. 240).

О Ставрополе кроме статей в Энциклопедических словарях Брокгауза и Ефрона, Граната, БСЭ и др. см.: В. Г. Г н и л о в с к и й. Территориальное развитие города Ставрополя в первой половине XIX столетия. — В кн.: Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 4. Ставрополь, 1952; Г. К р а с н о в. Ставрополь на Кавказе. Исторический очерк. Ставрополь, 1953.

«...служил при Алексее Петровиче... Когда он [Ермолов] приехал на Линию...»

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) начал военную службу в артиллерии под начальством Суворова. В 1798 году за письмо к Каховскому, брату по матери, с резкими отзывами о начальстве Ермолов был заключен в Петропавловскую крепость, а затем сослан в Кострому. С воцарением Александра I, в июне 1801 года Ермолову было разрешено вернуться на военную службу. В войне 1812 года он был уже начальником штаба сначала первой армии, потом обеих соединенных армий. В боях под Бородином, Бауценом и Кульмом Ермолов проявил выдающийся личный героизм, а также талант военного организатора. В 1815 году он был назначен главнокомандующим на Кавказ. Здесь в самых трудных условиях удивительные организаторские способности Ермолова проявились особенно ярко. С 1818 года Ермолов приступил к систематическому проведению в жизнь своего плана покорения горских народов северного и центрального Кавказа. При Ермолове в Чечне, Дагестане и на Кубани были возведены новые крепости (Грозная, Внезапная, Бурная); значительно улучшена Военно-Грузинская дорога; на

военную и гражданскую службу на Кавказе и в Закавказье привлечена даровитая и образованная молодежь (Грибоедов, Кюхельбекер и др.).

Резкий и прямой, не умевший угождать высшему начальству, Ермолов пользовался большой популярностью среди своих подчиненных, в том числе среди молодого поколения, из которого вышли будущие декабристы. Ермолов предупредил Грибоедова о грозящем ему аресте за причастность к декабристскому движению.

Близость Ермолова к декабристам и его оппозиционные настроения были хорошо известны Николаю I. После разгрома декабристов участь Ермолова была решена. В Грузию, как бы в помощь Ермолову, а на самом деле для надзора за ним, был послан генерал-адъютант Паскевич. Наконец, в 1827 году Ермолов получил отставку, покинул Кавказ и окончательно удалился от дел. В 1829 году в Калуге его навещил Пушкин, описавший эту встречу с Ермоловым в первой главе «Путешествия в Арзрум».

Ермолов оставил содержательные записки, изданные под заглавием «Записки Алексея Петровича Ермолова с приложениями», издание Н. П. Ермолова, ч. I (1801—1812). М., 1865 и ч. II (1816—1827), М., 1868. См. также: М. П. Погодин. Материалы для биографии Ермолова. — «Русский вестник», 1884 (тогда же было отдельное издание); Александр Ермолов. А. П. Ермолов. Биографический очерк. Спб., Изд. Имп. русского военно-исторического общества, 1912; А. П. Ермолов. Письма. Предисловие А. Тахо-Годи. Махач-Кала, 1926. Библиография о Ермолове помещена в журнале «Русский библиофил», 1911, кн. 4.

С детских лет Лермонтова окружали люди, хорошо знавшие Ермолова и даже служившие под его началом (напр., П. П. Шан-Гирей). Вполне возможно, что еще мальчиком в 1827—1828 годах Лермонтов видел Ермолова в Москве в домах П. М. Меликова и П. А. Мещеринова. Об этом см.: М. Е. Меликов. Заметки и воспоминания художника-живописца. — «Русская старина», 1896, т. 86, стр. 645—649; ср.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, составили М. И. Гилжельсон и В. А. Мануйлов. М., «Художественная литература», 1964, стр. 72—73 и 427.

Возможно, что стихотворение Лермонтова 1836 года «Великий муж! Здесь нет награды...» (II, 79) обращено к Ермолову, а не к П. Я. Чаадаеву или М. Б. Барклау де Толли, как это считалось раньше.

Имя Ермолова — единственное имя русского полководца, упомянутое в «Герое нашего времени» и в примыкающем к этому роману очерке Лермонтова «Кавказец» (1841). Кроме того, Ермолов назван в стихотворном послании к В. А. Лопухиной «Валерик» — «Я к вам пишу, случайно! право» (1840):

Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалось и нам... (II, 168)

Видимо, о Ермолове говорит Лермонтов в начале поэмы «Мцыри»: «Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал...» (IV, 149) и в стихотворении «Спор» (1841):

И испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой (II, 195).

«Кавказец» и «Спор» написаны Лермонтовым вскоре после личной встречи с Ермоловым. Эта встреча могла состояться в Орле или в Москве в конце января — начале февраля 1841 года, когда проездом в Петербург Лермонтов должен был передать Ермолову частное письмо от командующего войсками Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанта П. Х. Граббе, написанное около 14 января. Об этом см.: С. А. Андреев-Кривич. Кабардино-Черкесский фольклор в творчестве Лермонтова. — «Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института», т. I. Нальчик, 1946, стр. 260; И. Л. Андроников. Лермонтов и Ермолов. — В кн.: Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 480—496.

На пути к месту последней дуэли Лермонтов рассказывал М. П. Глебову о своем замысле написать роман «из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове»

(П. К. Мартыянов. Дела и люди века, т. II. Спб., 1893, стр. 93—94).

П. Бартенев сообщил отклик А. П. Ермолова на известие о гибели Лермонтова: «Уж я бы не спустил этому Мартынову!.. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!» (П. Бартенев. Разговор с А. П. Ермоловым. — «Русский архив», 1863, стр. 440—441).

Упоминание имени опального Ермолова с подчеркнутым сочувствием и уважением на первых же страницах романа Лермонтова воспринималось читателями того времени как смелый выпад оппозиционно настроенного автора. Максим Максимыч называет Ермолова не по фамилии, а просто по имени и отчеству; это свидетельствует о любви к нему старых кавказцев. И не случайно Лермонтов отмечает, что, произнося это дорогое ему имя, Максим Максимыч «приосанился»: воспоминание о службе под началом Ермолова для Максима Максимыча, быть может, самая большая его гордость. Характерно, что чины поручика и штабс-капитана Максим. Максимыч получил еще при Ермолове. С тех пор, вот уже лет десять, Максим Максимыч так и остается штабс-капитаном, без дальнейшего производства, неудачником, которому не задалась служебная карьера при новом начальстве. Но полученные при Ермолове чины ценились настоящими кавказцами, ибо Ермолов, как говорит историк, «был очень разборчив и скуп на награды» (Е. Г. Вейденбаум. Кавказские этюды. Тифлис, 1901, стр. 230). О Ермолове см. также: Дурылин, стр. 35—69, в главе «Кавказ и кавказцы в романе Лермонтова».

Линия. Е. Хамар-Дабанов [Е. Лачинова] в романе «Проделки на Кавказе» дает следующее объяснение: «По общему выражению «Кавказская линия», по военно-техническому «Кавказская кордонная линия», есть протяжение от Черного моря до Каспийского, тянущееся сначала вверх по правому берегу Кубани, потом недлинною сухою границей — и наконец по левым берегам рек Малки и Террека. По этой линии продолжена большая почтовая дорога,

почти круглый год безопасная. На противоположных же берегах русскому нельзя и носа показать без прикрытия, не подвергаясь опасности быть схвачену в плен или убиту...» (Е. Хамар-Дабанов. Прodelки на Кавказе, ч. I. Спб., 1844, стр. 79—80).

В 1830-х годах Кавказская линия, еще не достигшая полного развития, делилась на следующие части: Черноморская кордонная линия, правый фланг, центр, левый фланг и Владикавказский округ. По всей линии были расположены казачьи и регулярные войска и выстроен ряд больших крепостей и мелких укреплений.

О Кавказской линии см.: И. Дебу. О Кавказской линии и присоединенном к ней черноморском войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседственных горских народах. Спб., 1829; И. Дебу. О начальном установлении и распространении Кавказской линии. — «Отечественные записки», 1823, т. XVI, № 43 и 1824, т. XVIII, № 49 и т. XIX, № 51; Взгляд на Кавказскую линию. — «Северный архив» 1822, ч. I, № 2; А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. 1805—1850. Спб., 1882, стр. 373—376.

«...осетины шумно обступили меня ...»

Осетины, называющие себя «ирон», по-грузински — «оси», населяют Северную и Южную Осетию, расположенную в центральной части Кавказского хребта, по обе его стороны. В настоящее время Северо-Осетинская АССР граничит на Севере со Ставропольским краем, на Западе с Кабардино-Балкарской АССР, на востоке с Чечено-Ингушской АССР. Юго-Осетинская Автономная область входит в состав Грузинской ССР. Через Осетию проходят две перевальные шоссе: Военно-Грузинская (через Крестовый перевал на Тбилиси) и Военно-Осетинская (через Мамисонский перевал на Кутаиси). В XIX веке осетины называли себя по ущельям, которые они населяли: куртатинцы — по Фиагдону, дигорцы — по Дигорскому ущелью, где течет Урух, алагирцы по Ардону, тагаурцы по Гизельдону. Высшее сословие — алдары в различных ущельях назывались по-разному (баделят, царгасат, тагиат и др.). В 1833 году осетин насчитывалось 35 750 человек. В те времена осетины жили в страшной бедности, главным образом, занимались скотовод-

ством и земледелием, страдая от скученности и малоземелья. Извозный промысел на Военно-грузинской дороге был исключительно в руках осетин. Тяжелое экономическое положение и почти поголовная безграмотность и отсталость связывали духовные силы народа, глушили в нем всякую предприимчивость и инициативу. «Самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе», — писал об осетинах Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Этим и объясняется пренебрежительный отзыв Максима Максимыча об осетинах.

Распространение русского влияния на Кавказе во второй половине XIX века благотворно сказалось на развитии культуры Осетии. Передовые русские ученые сыграли большую роль в приобщении осетинского народа к русской культуре (А. М. Шёгрэн, составивший в 40-х годах первую научную осетинскую грамматику, В. Ф. Миллер, М. М. Ковалевский, посветившие Осетии историко-этнографические исследования). Под воздействием передовой русской мысли сформировалась осетинская демократическая интеллигенция, сложилось революционно-демократическое мировоззрение лучших сынов осетинского народа, и в том числе народного поэта, общественного деятеля и публициста Коста Хетагурова (1859—1906).

После Великой Октябрьской социалистической революции малоземельные и безземельные крестьяне Осетии получили земли на равнине между реками Терек, Фиагдон и Урух, отобранные у местных помещиков или крупных землевладельцев. За годы Советской власти Осетия превратилась в автономную социалистическую республику со сплошной грамотностью, с быстро развивающейся промышленностью. Во всех областях науки и искусства работают воспитанные Коммунистической партией национальные специалисты. Численность осетин все время возрастает. По Всесоюзной переписи 1959 года осетин насчитывалось 412 592 человека. В столице Северо-Осетинской АССР г. Орджоникидзе имеется Педагогический институт имени Коста Хетагурова, несколько научно-исследовательских институтов, ряд техникумов, Осетинский и Русский драматические театры. Издаются газеты, журналы, книги на русском и осетинском языках. Произведения Лермонтова, в частности роман «Герой нашего времени», неоднократно переводились на осетинский язык

и изучаются в средней школе. В 1962 году в Орджоникидзе была проведена V Всесоюзная Лермонтовская межвузовская конференция, труды которой вошли в сборник: «М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества». Под редакцией А. Н. Соколова и Д. А. Гиреева. Орджоникидзе, 1963.

О жизни и быте осетин в первой половине XIX века см.: С. В. Кокшнев. Записки о быте осетин. — В кн.: Сборник материалов по этнографии, издаваемый Дашковским этнографическим музеем, вып. I, 1885; Д. Лавров. Заметки об Осетии и осетинах. — В сб.: Материалы для описания местностей и племен Кавказа, вып. III, 1883; Л. П. Семенов и А. А. Тедтоев. Город Орджоникидзе (Краткий исторический очерк). Орджоникидзе. Северо-Осетинское книжное издательство, 1957; История Северо-Осетинской АССР. М., 1959; Х. Чибиров. Северная Осетия в братской семье народов СССР. Орджоникидзе, 1960.

Татары — одно из общих названий для тюркоязычных народов Кавказа и Закавказья, исповедующих мусульманство (азербайджанцев, кумыков, балкарцев и т. д.). В более широком смысле в кавказоведческой литературе XIX века татары — горцы-мусульмане Северного Кавказа и Дагестана. В произведениях Лермонтова это слово встречается в обоих смыслах — и как название кумыков (в «Герое нашего времени»), и как обозначение горцев-мусульман («Валерик» и «Свидание»). Максим Максимыч в «Бэле» говорит о татарах как о непьющем народе: коран запрещал правоверным мусульманам употреблять спиртное. Впрочем, это требование часто нарушалось.

В конце ноября — в первой половине декабря 1837 года Лермонтов писал из Тифлиса С. А. Раевскому: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться» (VI, 441). Сравнение татарского языка с французским — неоднократно встречается в литературе 20—30-х годов. Так, например, Нечаев в путевых записках, помещенных в «Московском телеграфе» (1826, т. 7, стр. 35), писал: «...татарский или турецкий язык в таком же всеобщем употреблении между кавказскими племенами, в каком теперь французский язык в Европе». Ср. примечание

А. А. Бестужева-Марлинского в рассказе «Красное покрывало»: «Татарский язык закавказского края мало отличен от турецкого, и с ним, как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию».

Об этом подробнее см.: М. С. Михайлов. К вопросу о занятиях М. Ю. Лермонтова «татарским» языком. — В кн.: — Тюркологический сборник, I. М. — Л., Изд. АН СССР, 1951, стр. 127—135; Б. С. Виноградов. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, 1963, стр. 57; И. Л. Андроников. Ученый татарин Али. — В кн.: Ираклий Андроников о Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 352 и 363—367.

«До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом».

К концу 1830-х годов описания кавказской природы в русской романтической литературе стали общим местом. Лермонтов в романе «Герой нашего времени» сознательно преодолевал традицию Марлинского. Об этом писал С. П. Шевырев: «Марлинский приучил нас к яркости и пестроте красок, какими любил он рисовать картины Кавказа... Пылкому воображению Марлинского казалось мало только что покорно наблюдать эту великолепную природу и передавать ее верным и метким словом. Ему хотелось насиловать образы и язык; он кидал краски с своей палитры гуртом как попало, и думал: чем будет пестрее и цветнее, тем более сходства у списка с оригиналом... Поэтому с особенным удовольствием можем мы заметить в похвалу нового кавказского живописца, что он не увлекся пестротой и яркостью красок, а, верный вкусу изящного, покорила трезвую кисть свою картинам природы и списывал их без всякого преувеличения и приторной выисканности... Автор не слишком любит останавливаться на картинах природы, которые мелькают у него только эпизодически. Он предпочитает людей и торопится мимо ущелий кавказских, мимо бурных потоков, к живому человеку, к его страстям, к его радостям и горю, к его быту, образованному и кочевому» («Москвитянин», 1841, кн. 2, стр. 519—520).

Гуд-гора в главном Кавказском хребте с северной сто-

роны отделяется от Крестовой горы небольшой долиной, известной под именем Чертовой. В середине XIX века гора Гуд входила в территорию Тифлисской губернии, в Горский округ. В те времена Военно-Грузинская дорога пролегла по Гуд-горе, и это была в зимние месяцы самая опасная часть дороги от нависающего снега, иногда в несколько сажен толщиной. Лавины нередко падали через дорогу и уносили за собой в пропасть все, что попало на пути.

«Дорога на Крестовую, Гуд и Кайшаурскую гору идет по краям обрывов, имеющих утесистые покатоки сажен на 100 и более, где по бокам нет никакого забора, ни каменного устоя, который мог бы предохранить от неосторожного скачка или шага лошади, могущей через то упасть в бездну, что особенно может случиться во время ненастья, туманов и вьюги, преимущественно бывающих здесь по вечернем закате солнца и в ночное время» (Руководство к познанию Кавказа, книжка вторая. Спб., 1847, стр. 59; ср. комментарий к фразе: «Были ли обвалы на Крестовой» — стр. 75.).

У подошвы горы расположена деревня Гуда, неподалеку из Гудовского ущелья берет начало река Арагва. В Гудовском ущелье в 30-е годы XIX века путешественники часто осматривали развалины двух древних крепостей: одну при церкви Квела-Цминда, другую при церкви Квири-Цховлиса, по преданию основанных царицей Тамарой. См.: П. Семенов. Географическо-статистический словарь Российской Империи, т. 1. Спб., 1863, стр. 707—708.

Бурка — войлочный плащ без рукавов с длинным ворсом (или начесом), национальная одежда кавказских горцев, не промокает под дождем и снегом, удобна для езды верхом и для ночлега в пути. В годы кавказской войны ее оценили и русские; лермонтовский кавказец предпочитает бурку шинели: «Бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую Андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым пре-

зрением» (VI, 350). Сам Лермонтов на Кавказе летом и осенью 1837 года носил бурку; на известном акварельном автопортрете он изобразил себя на фоне Эльбруса в бурке, возможно, следуя знаменитому портрету Ермолова работы Дж. Доу.

В русскую литературу бурка едва ли не впервые введена Пушкиным в «Кавказском пленнике»:

...черкес проворный,
Широкой стешью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремяна
Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна (IV, стр. 114).

Сохранился автопортрет Пушкина, изображающий его на коне в бурке во время путешествия в Арзрум.

О бурках и их производстве см.: А. Берже. Материалы для описания нагорного Дагестана. Тифлис, 1859 и В. В. Маргграф. Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства. М., 1888.

«Были ль обвалы на Крестовой?»

Военно-Грузинская дорога обходит Казбек с востока. Ледники, спускающиеся с вершины Казбека, а также с других вершин (Крестовой, Гуд-горы) бывают причиной обвалов. В этом отношении самый опасный из ледников Казбека — Девдоракский. В первой половине XIX века в этом месте обрушились обвалы в 1808, 1817 и 1832 годах. Последний обвал был особенно ужасен: 12 августа обрушилась такая масса снега, льда и камней, что засыпала дно ущелья на протяжении двух верст высотой до 50 сажен. Терек на некоторое время остановился, образовав выше обвала большое озеро. Два года загораживал этот обвал дорогу; нагроможденный лед и снег переходили пешком по вырубленным ступеням. Другое опасное место на Военно-Грузинской дороге — перевал между станциями Коби и Млеты. См.: Сборник сведений о завалах, упавших с горы Казбек с 1776 по 1878 г. на Военно-Грузинскую дорогу. Тифлис, 1884 и Руководство к познанию Кавказа. Спб., 1847, книжка вторая, стр. 57 и след.; ср. комментарий к слову «Гуд» на стр. 73—74.

Сакля — от грузинского сахли — дом. Иногда, в самых зажиточных горских семьях, сакля делилась на две по-

ловины: мужскую, она же кунацкая, и женскую. Но чаще всего в лермонтовские времена у народов Северного Кавказа жилье состояло из одной комнаты, где помещалась вся семья. Женской половины обычно не было, но с женой сыновей молодые брачные пары жили в отдельном доме в том же дворе или в отдельной комнате. Богатый и знатный горец, особенно в Адыгее и в Кабарде, если не было гостей, чаще всего ночевал в кунацкой. Если у него было несколько жен, то у каждой из них было свое, особое помещение. Горская беднота жила в сакле без сеней, без двора, без изгороди. Главная часть осетинской сакли — большая общая комната, кухня и столовая вместе. Целый день в ней происходила стряпня, так как у осетин не было определенного времени для еды, и члены семьи ели не все вместе, сначала старшие, затем младшие. Посреди комнаты, как это отметил Лермонтов, обычно находился очаг, над которым на цепи висел медный или чугунный котел. Очаг — центр, около которого проходила вся жизнь семьи. Железная цепь, прикрепленная к потолку у дымового отверстия — самый священный предмет в доме: приблизившийся к очагу и прикоснувшийся к цепи становился близким семье; оскорбление цепи, увесение ее из дому, считалось величайшей обидой для дома, которая требовала кровной мести.

У Лермонтова слово «сакля» встречается во многих кавказских поэмах («Кавказский пленник», «Каллы», «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Беглец», «Мцыри»), в «Герое нашего времени» и в очерке «Кавказец».

Кабардинцы — народ, населявший Большую и Малую Кабарду, ныне Кабардино-Балкарскую Автономную ССР. Современные кабардинцы, черкесы и адыгейцы — все называют себя *адыге* и происходят от местных племен издревле населявших Северо-Западный Кавказ и известных под наименованиями: меоты, синдзы, керкеты, зихи и пр. Кабардинцы, черкесы, адыгейцы объединяются под общим понятием — адыгейские народы. Язык их принадлежит к абхазо-адыгской группе кавказско-иберийских языков. Нынешнюю территорию кабардинцы заняли еще в XIII-XIV вв. В XIX веке на Кавказе кабардинцев часто называли черкесами, не отделяя их от этого близкого им по языку и происхождению народа.

Кабардинцы издавна находились под влиянием русской культуры. С XVI века завязались прочные связи с Россией, а в 1774 г. Кабарда окончательно вошла в состав Русского государства. В XIX веке у кабардинцев еще существовал феодальный строй, сочетавшийся с рабством и пережитками первобытнообщинных отношений. Сохранялась семейная община, обычаи аталычества¹, куначества, кровной мести Князя (пши) и дворяне (уорки) эксплуатировали зависимых крестьян (общинников — тхлокотлей и крепостных — пшитлей), а также рабов — унаутов. В течение долгого времени кабардинские князья держали в зависимости многие горские племена — осетин, ингушей, абазинцев, и владели всеми дорогами, ведущими с плоскости к наиболее удобному перевалу через Главный Кавказский хребет.

Кабардинцы были признаны на Северном Кавказе как законодатели хорошего тона и манер; все горцы и казаки заимствовали у кабардинцев форму одежды, вооружение, посадку на коне.

Социалистическая перестройка хозяйства и культурная революция изменили быт кабардинцев. Если в XIX веке кабардинцы жили в плетеных, обмазанных глиной хижинах, крытых камышом или соломой, то теперь их поселения состоят из саманных домов под черепичными крышами, с большими окнами и печами. По Всесоюзной переписи 1959 года кабардинцев насчитывалось 203 620 человек. В годы Советской власти создана национальная кабардинская письменность на основе русской графики, введено всеобщее обучение, ликвидирована вековая неграмотность. Произведения Лермонтова переведены на кабардинский язык.

В стихотворении «Дары Терека» Лермонтов создал образ молодого воина-кабардинца (II, стр. 129).

Чечня ныне входит в состав Чечено-Ингушской АССР.

¹ Аталычество — распространенный в прошлом среди народов Кавказа обычай, по которому родители отдавали своего ребенка вскоре после его рождения на воспитание в другую семью. Воспитатель (аталык) возвращал воспитанника в родную семью по достижении им зрелости. Обе семьи обменивались подарками и между ними устанавливались очень близкие отношения подобно родственным (см.: М. О. Косвен. Аталычество. — «Советская этнография», 1935, № 2, стр. 41—42; ср. М. О. Косвен. Этнография и история Кавказа. М., Изд-во восточной литературы, 1961 стр. 104—126).

До 1840 года пространство в границах: на западе — р. Фортанга (иные считают р. Нетайхой) до укрепления Ачхоевского, затем через Казах-Кичу до станицы Стодеревской; на севере — Терек до впадения в него Сунжи; на востоке — Кочкалыковский хребет, затем от Герзель-аула до крепости Внезапной и верховья реки Акташ; на юге Андийский хребет до реки Шаро-Аргуна и Черных гор, далее до истоков реки Фортанги (по Берже). Сунжа разделяла Большую (возвышенную) и Малую (низменную) Чечню. Горная юго-восточная Чечня называлась Ичкерией. В годы кавказской войны Чечня была житницей Шамиля. В XVIII веке большая часть Чечни была покрыта массивами ценных пород леса, но в XIX веке, в годы кавказской войны, эти леса вырубались из соображений стратегического порядка, а вырубленный лес шел на строительство русских укреплений на Сунженской равнине.

В 1840 году Чечня присоединилась к Шамилю и на ее территории начались серьезные сражения. В этих военных действиях участвовал служивший в Генгинском пехотном полку Лермонтов. С отрядом генерала А. В. Галафеева он дважды был в походе из крепости Грозной в Чечню и в стихотворном послании «Валерик» («Я к вам пишу...») описал кровопролитное сражение на реке Валерик 11 июля 1840 года. Принимал Лермонтов участие и в сражении на этой реке 30 октября того же года.

О Чечне см.: А. П. Берже. Чечня и чеченцы. Кавказский календарь на 1860 год. Тифлис, 1859; И. М. Попов. Ичкерия. Историко-топографический очерк. — В кн.: Сборник сведений о кавказских горцах, вып. IV. Тифлис, 1870; П. А. Головинский. Чеченцы. — В кн.: Сборник сведений о Терской области, вып. I. Владикавказ, 1878, стр. 241—260; Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939; И. К. Ениколопов. Лермонтов на Кавказе. Тбилиси, 1940; А. В. Попов. Лермонтов на Кавказе. Ставропольское книжное издательство, 1954; Б. С. Виноградов. Русские писатели в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1958; Н. П. Гриценко. История дружбы чечено-ингушского народа с великим русским народом. Грозный, 1962.

Чеченцы, сами себя называющие нохчо (люди), принадлежат к нахской ветви кавказских языков, куда вхо-

дят также ингушский и бабийский (цоватушинский) языки. Данные археологии, топонимики и пр. позволяют считать чеченцев аборигенами Северного Кавказа. Чеченцы упоминаются в «Армянской географии VII в.». Народы, обитавшие по соседству, называли чеченцев различно: мичигиш, шашэн, цапан, кисты и пр. Русское название произошло от села Большой Чечен на реке Аргуне. До XV—XVI веков чеченцы жили, главным образом, в горах, но постепенно стали переселяться на равнину. Экономические и культурные связи чечено-ингушского народа с русским народом отмечены уже в XVI веке, в период существования русских крепостей (старые и новые Терки) и начала дружбы с гребенскими казаками. Чеченцы научились у русских строить дома, обрабатывать поля, выращивать овощи, разводить фруктовые сады, передав свою очередь казакам ряд хозяйственных навыков, занятий и этнографических черт (костюм, обычаи и пр.). В XVI веке произошла мусульманизация Чечни, где до того было распространено язычество и, отчасти, христианство. Мусульманство принесло чужой язык (арабский), чужие обычаи, религиозный фанатизм, ненависть к инаковерующим, в том числе и к русским. Мусульманское духовенство разжигало эту ненависть. Сопrotивляясь русским войскам, чеченцы вместе с тем укрепляли экономические связи с русскими. В 1858 году Чечня отделилась от имамата Шамиля и присоединилась к России.

Чеченцы известны как храбрый и свободолюбивый, суровый и, в то же время, веселый, поэтический народ. Речь чеченцев красочна и метка, фольклор — богат и выразителен. См.: Н. Семенов. Заметка о нравственных и умственных качествах чеченцев. — В кн.: Туземцы Северо-Восточного Кавказа. Спб., 1895, стр. 73—102.

В настоящее время, освобожденный Великой Октябрьской социалистической революцией чечено-ингушский народ вместе со всеми народами Советского Союза строит коммунистическое общество. По переписи 1959 года чеченцев насчитывалось всего 418 756 человек, ингушей — 105 980 человек. Чеченцы и ингуши помнят и любят произведения Лермонтова, которые теперь переведены и на чеченский, и на ингушский языки. В начале 30-х годов и в 1964 году в Чечено-Ингушском театре драмы была поставлена инсценировка «Бэлы» (по тексту Н. А. Алибеговой).

Лермонтов был знаком с художником-академиком, че-

ченцем по происхождению, П. З. Захаровым. Портрет Лермонтова 1834—1835 годов, по мнению некоторых исследователей, сделан не Будкиным, а П. З. Захаровым. Высказывалось также предположение, что в судьбе Мцыри отразилась судьба П. З. Захарова (об этом см.: Н. Ш. Шабаньянц. Жизнь и творчество художника П. З. Захарова. Чечено-Ингушское книжное издательство, 1963).

В произведениях Лермонтова чеченцы упоминаются неоднократно. См.: «Дары Терека» (II, 130); «Казачья колыбельная песня» (II, 141); «Валерик» (II, 173); «Кавказский пленник» (III, 19, 26); «Джюлио» (III, 76); «Измаил-Бей» (III, 155, 156); «Герой нашего времени» (VI, 207, 220, 229, 232, 340, 346). (В настоящей справке использованы материалы Б. С. Виноградова.)

«...Я лет десять стоял там в крепости с ротою у Каменного Брода...»

Каменный Брод — укрепление на реке Аксай (по-кумыкски Таш-Кичу), на Кумыкской равнине, на самой границе с Чечней. В настоящее время на его месте расположен аул Аксай Дагестанской АССР. Укрепление было построено в 1825 году русскими солдатами по приказу генерала А. П. Ермолова и служило связующим пунктом между крепостью Внезапной и Амур-Ажди-Юртской переправой. В непосредственной близости от крепости находились чеченские аулы (Каш-Гельды, Курчи-Аул, Науруз-Аул, Нуим-Берды, Ойсунгур), но земли принадлежали аксайским кумыкским князьям. Вот почему Максим Максимыч не отрицал, что бывал и служил в Чечне, и Печорин спрашивал Бэлу, любит ли она чеченца. Кумыки — тюркоязычный народ — коренное население Кумыкской равнины, на которой находилось укрепление Каменный Брод.

О Каменном Броде см.: С. Н. Дурылин, стр. 49—50; И. Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. Тбилиси, «Заря Востока», 1957, стр. 70; А. Цаллатов. Аксай (или Таш-Кичу). — В кн.: Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 16. Тифлис, 1893, стр. 30; Н. Семенов. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. Спб., 1895, стр. 228; Б. С. Виноградов. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджикидзе, Северо-Осетинское книжное издательство, 1963, стр. 54—57.

«Бывало, на сто шагов отойдешь за вал...»

«В Чечне, в Дагестане, в местах частых набегов, офицеры и солдаты, кроме самих себя и неприятеля, никого не видят, не знают прогулки вне крепости, а если нужда велит идти за дровами или пищею и кормом, то выходят не иначе, как с вооруженными проводниками» (А. Е. Розен. Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 222).

«Старые кавказцы любят поговорить...»

В своем очерке «Кавказец» Лермонтов рассказывает, что, выйдя в отставку и неспешно пробираясь на родину, кавказец «останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими... Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть...» (VI, стр. 350—351).

Черкесы — народ северо-западного Кавказа, родственник абхазцам, шапсугам, абадзехам, натухайцам, темиргоевцам, бжедугам, беселенеевцам, в настоящее время объединяемым общим понятием адыге или адыгейцы. Наименование «черкесы» происходит от слова «керкеты»; так назывались предки адыгейцев, известные еще в античные времена. Эти народности живут сейчас на территории Адыгейской и Карачаево-Черкесской Автономных областей, а также в Кабардино-Балкарской Автономной республике, входящих в состав РСФСР. Адыгейский язык и очень близкий к нему кабардино-черкесский язык принадлежат к северо-западной или абхазо-адыгейской группе кавказских языков. В XIX веке у черкесов письменности не было, писанные законы заменял адат, обычное право горцев, исповедующих ислам.

Максим Максимыч, рассказывая о знакомстве Печорина с Бэлой, говорит о доме ее отца как о доме черкесском. И Печорин до встречи с Бэлой говорит Максиму Максимычу: «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках». Однако эти замечания не позволяют судить о национальной принадлежности Бэлы и ее семьи (см. стр. 88, 91—92). Во времена Лермонтова черкесами часто называли вообще горцев.

О черкесах см.: К. Ф. Сталь. Этнографический очерк черкесского народа. Кавказский сборник, т. XXI. Тифлис, 1900, стр. 53—173.

Буза — хмельной напиток, который готовится из печеного хлеба или доливаемой кипятком каши из просяной или кукурузной муки. Слово «буза» балкарское (тюркского происхождения) и часто встречается у писателей первой половины XIX века, писавших о Кавказе. В «Герое нашего времени» это слово упоминается дважды (VI, 208 и 215).

Подробнее см.: Дурыйлин, стр. 59; А. Боровой. Путь слова. М., «Советский писатель», 1963, стр. 261—266, а также Д. Лагунов. Буза... — «Кубанские областные ведомости», 1899, № 134.

«...Я тогда стоял в крепости за Терекком...»

О крепости Каменный Брод см. выше, стр. 80.

Терек — одна из крупных водных артерий Северного Кавказа, длиной около 600 км. Берет начало на Кавказских ледниках Главного Кавказского хребта, до селения Коби течет на юго-восток, а затем резко поворачивает на север и параллельно Военно-Грузинской дороге устремляется к Дарьяльскому ущелью. Вырвавшись из гор на равнины Предкавказья, Терек смирляет бурное течение и приобретает характер равнинной реки, но с быстрым течением и периодическими летними паводками. Затем Терек круто поворачивает на северо-восток, у станции Каргалинской разделяется на ряд рукавов. Ниже рукава Таловки Терек носит название Старого Терека. Основная масса вод Терека вливается в Каспийское море. Терек орошает равнины и степи Северо-Осетинской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Ставропольского края, Чечено-Ингушской АССР, Дагестанской АССР.

Лермонтов впервые побывал на Тереке еще в детские годы, когда бабушка Е. А. Арсеньева возила его на Кавказ (1818, 1820 и 1825 гг.). Во время первой ссылки на Кавказ в 1837 году Лермонтов проехал по берегу Терека до Кизляра, где встречался с горцами, армянами, грузинами, гребенскими казаками, жившими здесь. Бывал поэт на Тереке и во вторую ссылку, в 1840 году. Терек упоминается в стихотворениях: «Черкешенка» (I, стр. 51); «Поэт» (II, стр. 18); «Дары Терека» (II, стр. 128—130); «Казачья колыбельная песня» (II, стр. 140—141); «Тамара» (II, стр. 202—203) и в поэмах: «Черкесы» (III, стр. 7, 10); «Кавказский пленник» (III, стр. 17, 18, 23, 25, 30, 35); «Джюлио» (III, стр. 76).

«... этому скоро пять лет...»

Повесть «Бэла» охватывает события, отстоящие друг от друга на целое пятилетие. В рассказе Максима Максими́ча дан первый эскиз портрета Печорина, еще молодого двадцатипятилетнего офицера, только что приехавшего из Петербурга на Кавказ: «Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький...» Именно таким был Печорин, когда увидел и полюбил Бэлу. По-видимому, первоначально Лермонтов предполагал, что в крепость у Каменного Брода Печорин приехал из Петербурга. Но затем, в процессе работы над романом, Лермонтов внес существенное изменение в фабульный порядок «Героя нашего времени». Заключительная часть записок Печорина в «Княжне Мери» свидетельствует о том, что в крепость Печорин попал за дуэль с Грушницким, не из Петербурга непосредственно, а с Кавказских минеральных вод. Но характеристика молодого, не знающего Кавказ Печорина в тексте «Бэлы» осталась. Это — след первоначальной редакции «Бэлы», когда повесть существовала отдельно, вне целостного контекста романа. Последняя встреча Максима Максими́ча и автора путевых записок во Владикавказе (в следующей повести «Максим Максими́ч»), следовательно, происходит через пять лет после дуэли Печорина с Грушницким и истории с похищением Бэлы, когда Печорину было уже около тридцати лет. Развернутая характеристика тридцатилетнего Печорина и его портрет даны уже не Максимом Максими́чем, а рассказчиком-офицером. (Об этом см. в комментарии к повести «Максим Максими́ч», стр. 133—136).

«Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максими́ч и, пожалуйста — к чему эта полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке.»

Многие формальности, обязательные в николаевской армии, а тем более в гвардии, в условиях кавказской войны не соблюдались. С этим считался даже требовательный Николай I. Когда в 1837 году во время своего кавказского путешествия он производил смотры, «ему, привыкшему к педантической точности, на каждом шагу бросались в глаза отступления от принятых форм и правил...» (В. П о т т о. История 44-го Драгунского нижегородского полка, т. IV. Спб., 1894, стр. 82—83).

«...Его звали... Григорьем Александровичем Печориным...»

Впервые в творчестве Лермонтова это имя и фамилия встречаются в неоконченном романе «Княгиня Лиговская», над которым Лермонтов работал в 1836 году¹. Ср. в драме «Арбенин» в том же году:

Как у Печориных движеньем томных глаз
Она кругом искала вас... (V, стр. 543)

Дурылин, повторяя ошибку, допущенную в его более ранней книге «Как работал Лермонтов» (1934), в комментарии к роману проводил полное отождествление Печорина «Княгини Лиговской» с Печориным «Героя нашего времени», хотя совпадение имени и фамилии еще не дает основания выдавать героев не связанных между собой произведений (неопубликованного и опубликованного) за одно лицо. По мнению Дурылина, «Княгиня Лиговская» — пролог к «Герою нашего времени», где Лермонтов сообщает предысторию того самого Печорина, который потом является главным действующим лицом романа «Герой нашего времени». Как утверждает Дурылин, «все основные точки жизни Печорина и все характерные линии портрета «героя нашего времени» уже даны в «Княгине Лиговской» (Дурылин, стр. 8—9).

Углубляя эту методологическую ошибку, Дурылин в особой главе восстанавливает жизненный путь Печорина. Вряд ли закономерна и целесообразна попытка высчитать год рождения Печорина (1808) на основании дат, упоминаемых в «Княгине Лиговской», и даты написания Лермонтовым Предисловия к «Журналу Печорина». Не следует уничтожать грань между спецификой литературного произведения и реальной действительностью. Такого рода анализ не только гадателен, но и в основе своей порочен.

По расчетам Дурылина, «летом 1838 г. Печорин встречается вновь с Максимом Максимычем во Владикавказе, на пути в Персию. Вторая половина 1838 г. и начало 1839 г. падают на дальнейший путь Печорина в Персию, на пребывание его там, на отъезд отсюда и смерть» (стр. 72).

Предположим, что это так. Но из воспоминаний Н. М. Сатина мы знаем, что летом 1837 года в Пятигорске

¹ Образ Печорина и его значение в истории русской литературы рассматриваются во вступительной статье.

Лермонтов уже «писал свою «Княжну Мери» и зорко наблюдал за встречавшимися ему личностями» («Почин», 1895, кн. 1, стр. 238—241). Работа над романом продолжалась в 1838 и была закончена в начале 1839 года. Об этом упоминает и сам Дурылин (стр. 10—16). Таким образом, получается, что Лермонтов писал о жизни и смерти Печорина за несколько месяцев и даже лет до описываемых событий.

Во второй главе статьи «Печорин» Дурылин предложил вниманию читателя таблицу «имущественных слоев» класса помещиков в 1835 году с подробным рассуждением о том, сколько душ крепостных могло быть у Печорина и его родителей (стр. 76—78). Вряд ли этот материал что-либо дает для углубленного понимания образа Печорина.

Еще Белинский обратил внимание на семантическую параллельность фамилий Печорина и Онегина: «Печорин Лермонтова... это Онегин нашего времени, герой *нашего времени*. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и не видимая самим поэтом...» (Белинский. IV, стр. 265).

Возможно, что фамилия *Печорин* возникла в творческом сознании Лермонтова в какой-то связи с Владимиром Сергеевичем Печериным (1807—1885), который в 1831 году блестяще окончил Московский университет, затем провел два года в Германии, Швейцарии и Италии, в 1835 году возвратился в Петербург и мог в это время встречаться если не с Лермонтовым, то с его другом С. А. Раевским. В августе 1835 года Печерин был назначен преподавателем в Московский университет; его лекции по греческой филологии имели большой успех; 31 декабря 1835 года он был утвержден в звании исправляющего должность экстраординарного профессора, но в июне 1836 года талантливый ученый навсегда покинул Россию.

О В. С. Печерине см.: М. О. Гершензон. В. С. Печерин. — В кн.: М. О. Гершензон. История Молодой России. М.-Пг., ГИЗ, 1923, стр. 79—181; В. С. Печерин. Замогильные записки. Калинин, «Мир», 1932.

«...только немножко странен... Да-с, с большими, был странностями...»

Печорин — странный человек. Странным человеком называет его и княжна Мери (VI, 288), и доктор Вернер

(VI, 326), Отмечает странности в облике Печорина и офицер-повествователь (VI, 244). Наконец, сам Печорин не раз признается в своих странностях (VI, 279, 321, 334 и др.).

По справедливому замечанию Б. Т. Удодова, «эпитет повторяется применительно к Печорину так часто, что постепенно перестает быть только одним из эмоционально-экспрессивных средств языка автора и героев, приобретает оттенок терминологически-определятельный. За ним встает склад характера, тип человека. И Белинский, очевидно, это имел в виду, когда писал: «...вспомните Печорина — этого странного человека, который, с одной стороны, томится жизнью, презирает и ее и самого себя, не верит ни в нее, ни в самого себя... а с другой — гонится за жизнью, жадно ловит ее впечатления, безумно упивается ее обаяниями...» (IV, стр. 526).

Если это действительно особый тип «странного человека», не было ли у него своих «странных» предшественников — в жизни и литературе?

Б. Т. Удодов прослеживает в своей работе эволюцию образа «странного человека» в русской литературе и показывает, что эта эволюция самым тесным образом связана с важной проблемой положительного героя. В условиях обостренных противоречий русской действительности первой половины XIX века положительный герой по необходимости должен был тяготеть к романтической исключительности и «страстности», чем нередко затруднялось его реалистическое, к тому же подцензурное изображение.

В этом отношении большой интерес представляет отрывок из записной книжки К. Н. Батюшкова, относящийся еще к 1817 году: «Недавно я имел случай познакомиться с странным человеком, каких много... Ему около тридцати лет. Он то здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное» (К. Н. Батюшков. Сочинения. М., Гослитиздат, 1955, стр. 401). Подводя итоги описанию героя, Батюшков констатирует: «В нем два человека... оба человека живут в одном теле. Как это? Не знаю» (там же, стр. 401—402). Все это напоминает признание Печорина: «Во мне два

человека...» (VI, стр. 324) и слова автора из Предисловия к «Журналу Печорина»: «Да это злая прония! — скажут онп. — Не знаю» (VI, стр. 249).

Образ Печорина, который вынашивался Лермонтовым в течение всей его жизни, явился закономерным итогом и дальнейшим развитием типа «странного человека» в русской литературе и вместе с тем одним из наиболее органичных для творчества Лермонтова образов. Об этом подробнее см.: Б. Т. Удодов. «Герой нашего времени» как явление историко-литературного процесса. — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Воронеж, 1964, стр. 17—52; ср. вступительную статью, стр. 13—15.

«есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи».

Эти слова Максима Максимыча получают дальнейшее развитие в заключительной повести «Героя нашего времени» — «Фаталисте». Таким образом, тема предопределения намечается уже в самом начале романа.

Азамат — тюркоязычное имя и, как установлено, имеет определенное значение: молодец, удалец, юноша (лет двадцати). У чеченцев (вайнахские языки) слово «азат», «азет» бытовало со значением — освободившийся, вольный.

В советском литературоведении установился взгляд на Азамата как на тип вольнолюбивого горца, пылкого, неуравновешенного, необузданного. Азамат — отчаянная голова, у него на уме удалство и молодечество. Это юнец, которому не терпится стать взрослым, цельная натура, дитя «природы» (см.: С. А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 75—78; Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. Гослитиздат, 1957, стр. 230—234).

Дурылин выдвинул мнение, что семья Бэлы, к которой принадлежит Азамат, — чеченская (Дурылин, стр. 49—54). Б. С. Виноградов полагает и приводит доказательства в пользу того, что семья Бэлы и Азамата — кумыцкая (Б. С. Виноградов. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, Северо-Осетинское книжное издательство, 1963, стр. 55—57).

Кунак (тюркское «конак») — друг, приятель. Куначество — взаимное хлебосольство; обычай, налагавший на обе стороны некоторые взаимные нравственные обязанности: взаимовыручку, верность.

Кунацкая — см. стр. 89.

«Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках...»

После поэмы Пушкина «Кавказский пленник» русской молодежи кружила головы мечта о «деве гор». У всех была в памяти знаменитая гравюра С. Галактионова в «Полярной Звезде» 1824 года: пленник и перед ним черкешенка на фоне горного пейзажа, над которым встает двуглавый Эльбрус. «Кавказец», герой очерка Лермонтова, еще на школьной скамье упивавшийся поэмой Пушкина, попав на Кавказ, «одно время мечтал о пленной черкешенке», а потом должен был махнуть рукою на «эту почти несбыточную мечту» (VI, стр. 349).

Образ черкешенки появляется еще в отроческом стихотворении Лермонтова «Черкешенка» (I, стр. 51).

О черкешенках в 30-х годах XIX века ходило много рассказов — и правдивых, и легендарных. В повести Марлинского «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» один из собеседников говорит, что самая красивая кавказская татарка «по рабским привычкам своим достойна только закуривать трубки», «черкешенки вовсе иное дело, да мы осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа и видим их едва ль не реже солнечного затмения». Беллинский в 1837 году пишет из Пятигорска Бакунину, подтрунивая над своим любопытством: «Черкесов вижу много, но черкешенки — увы! — еще ни одной не видел... Ох, черкешенки!.. Чтоб видеть их, надо ехать в аул, верст за 30... А все-таки хочется посмотреть чернооких черкешенок!» (XI, стр. 138)

Ф. Ф. Торнау, имевший возможность хорошо познакомиться с черкесским бытом той эпохи, рассказывает: «...у черкесов не скрывают девушек, они не носят покрывала, бывают в мужском обществе, пляшут с молодыми людьми и ходят свободно по гостям. У черкесов редко выдают девушку против ее воли... Девушки показываются в мужском обществе с открытым лицом» (Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов, ч. II. М., 1864, стр. 68 и 91). О черкесах см. на стр. 81.

Джигит — наездник (татарск.), в переносном смысле — удалец. Лев Толстой объясняет: «...джигит по-кумыцки значит храбрый» («Набег»).

Кунацкая — от тюркского «конак», т. е. гость, друг, приятель. Кунацкая могла быть двух видов: отдельная сакля, предназначенная для приема гостей, и часть общего жилья, мужская половина, где обитал хозяин дома и все мужчины вместе с гостями. В кавказоведческой и художественной литературе прошлого века под кунацкой обычно понималась особая комната, гостиная. Так употребляет это слово и Лермонтов. Кунацкая иногда превращалась в своеобразный клуб молодых мужчин. «Сидят и спят в ней на земле, на камышовых циновках, на коврах, на подушках и тюфяках, составляющих у гостеприимного черкеса самую значительную и самую роскошную часть его домашних принадлежностей. В кунацкой всегда есть, кроме того, медный кувшин с тазом для умыванья... Кушанья подают на низких круглых столиках» (Ф. Ф. Торнау, Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов, ч. I. М., 1864, стр. 80).

О куначестве и кунацкой см.: С. Коккиев. Записки о быте осетин. — В кн.: Сборник материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее, вып. I, 1885, стр. 78—79; М. О. Косвен. Этнография и история Кавказа. М., Изд. Восточной литературы, 1961, стр. 126—129.

«Как же у них празднуют свадьбу?»

Первые фразы рассказа Максима Максимыча о свадьбе старшей сестры Бэлы, как полагает Б. С. Виноградов, описывают кумыкскую свадьбу вообще, а затем идет речь о свадьбе у князя-кунака. Дурылин считал, что Лермонтов допустил ошибку, что у горцев свадьба не справляется в доме невесты (Дурылин, стр. 59). Между тем Н. Семенов в книге «Туземцы Северо-Восточного Кавказа» (СПб., 1895, стр. 260—305) описывает кумыкские свадебные обряды в доме невесты, которые совпадают с рассказом Максима Максимыча.

Джигитовка — упражнения вооруженного всадника на быстро скачущей лошади, требующие смелости и ловкости.

«...какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию...»

На кумыкской свадьбе было обязательно участие шу-та-ойучу. См.: П. А. Головинский. Кумыки. Их игры, песни и обычаи. — В кн.: Сборник сведений о Терской области, вып. 1. Владикавказ, 1878, стр. 290—297.

«...вроде нашей балалайки...»

Такие инструменты есть у многих горских народов, например трехструнный щипковый инструмент дечек-пандур, встречающийся в Чечено-Ингушетии и по конструкции близкий к дагестанскому агач-кумузу. См.: Атлас музыкальных инструментов народов СССР. Составили К. Вертков, Г. Благодатов и Э. Язовицкая. М., Музгиз, 1963, стр. 110.

«Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором.»

«Что попало» надо понимать как импровизацию. Максим Максимыч описывает песню-игру, характерную для кумыкской свадьбы. Называется эта песня-игра *сарын*. Исполняя *сарын*, девушка и молодой человек обмениваются комплиментами. Нечто вроде комплимента в духе *сарын* пропела Печорину Бэла. Она как бы втягивала русского офицера в кумыкскую свадебную игру. Ее комплимент не носил любовного характера, но в какой-то степени намекал на чувства девушки. Адаты¹ у адыгейских народов предписывали дочери хозяина по его указанию приветствовать гостя. Можно было приветствовать и стихами, умение импровизировать очень ценилось в девушках. У кумыков горянка не могла говорить с посторонним мужчиной, но на свадьбе — иное дело. Лермонтов воспользовался свадебной обрядностью, чтобы создать эпизод первой встречи Печорина с Бэлой. См.:

¹ Адат или Адет (арабск.) — термин обычного права. У кавказских горцев словесные суды руководствовались преимущественно адатами в противоположность основанному на Коране и на предании общемусульманскому Шариату, писаному праву, имеющему юридическую силу (см.: Ф. И. Леонтович. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа, ч. 1 и 2. Одесса, 1882—1883).

II. А. Головинский. Кумыки. Их игры, песни и обычаи. — В кн.: Сборник сведений о Терской области, вып. 1. Владикавказ, 1878, стр. 290—297; Б. С. Виноградов. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, Северо-Осетинское книжное издательство, 1963, стр. 56—57.

Академик В. В. Виноградов в исследовании «Стиль прозы Лермонтова» обратил внимание на то, что Максим Максимыч иногда «как бы затрудняется припомнить и выговорить соответствующее кавказское слово и обозначает предмет «по-нашему», т. е. подыскивает соответствующее русское название». Для речи Максима Максимыча так же характерны выражения и образы из круга его военной профессиональной терминологии. См.: В. В. Виноградов. Стиль прозы Лермонтова. — «Литературное наследство», т. 43—44, 1941, стр. 570—572.

«Ее зовут Бэлю...»

Этимология имени Бэла не установлена. Среди традиционных мусульманских женских имен такого имени нет. В настоящее время это имя на Северном Кавказе встречается довольно часто и, возможно, подсказано романом Лермонтова.

Печорин и Максим Максимыч говорят о семье Бэлы как о семье черкесской, а Бэлу называют черкёшенкой. Но черкесы обитали в западной части Северного Кавказа, на левом берегу Кубани, действие же повести «Бэла» происходит в укреплении Таш-Кичу (Каменный брод) и в окрестностях этого укрепления на Кумыкской плоскости, на самой границе с Чечней и в непосредственной близости к чеченским аулам.

Дурылин обратил внимание на то, что географическое указание в рассказе Максима Максимыча противоречит его же этнографическим указаниям. Противоречие разрешается тем, что под черкесами в обычном словоупотреблении в 20—30-х годах XIX века зачастую разумелись все вообще горцы Северного Кавказа, как под татарами подразумевались все вообще кавказцы мусульманского вероисповедания. Поэтому Дурылин предположил, что семья Бэлы чеченская, хотя отметил существенное обстоятельство, подрывающее справедливость такого предположения. Максим Максимыч именует отца Бэлы князем, а сама

Бэла с гордостью говорит: «...я — княжеская дочь». Между тем известно, что у чеченцев княжеских родов не было, у них было что-то вроде дворянства; чеченцы представляли собою первобытную демократию с остатками родового быта. Б. С. Виноградов полагает, что отец Бэлы был кумыкский князь, а семья Бэлы кумыкская. Кумыки с XVI века были экономически и дипломатически связаны с Россией. Русские цари стояли на страже интересов кумыкских феодалов. В XIX веке кумыкские князья находились под контролем русской военной администрации. Об этом см. Б. С. Виноградов. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, Северо-Осетинское книжное издательство, 1963, стр. 55—56.

М. Н. Лонгинов, а за ним и П. А. Висковатый считали, что в основу рассказа о Бэле положено истинное происшествие, случившееся с родственником Лермонтова Акимом Акимовичем Хастатовым, у которого в Шелкозаводске жила «татарка» под этим именем («Русская старина», 1873, т. VII, кн. 3, стр. 391 и Висковатый, стр. 263).

А. В. Попов полагает, что прототипом Бэлы в известной мере послужила жена сослуживца Лермонтова по Нижегородскому драгунскому полку Г. И. Нечволодова — 22-летняя Екатерина Григорьевна, происходившая из племени абадзехов (А. В. Попов. М. Ю. Лермонтов в первой ссылке. Ставрополь, 1949, стр. 58—61). Существует мнение, что Бэла — кабардинка, дочь кабардинского князя. Именно поэтому Максим Максимыч и Печорин называют ее черкешенкой. Кабарда отстояла от Каменного брода дальше, чем кумыкские аулы, но поездка в Кабарду на свадьбу из Каменного Брода была вполне возможной. Вопрос о национальной принадлежности Бэлы окончательно не разрешен.

Увлечение русского офицера девушкой-горячкой в условиях кавказской войны было довольно частым явлением. О любви приятеля Лермонтова князя А. Н. Долгорукова к черкешенке Гуаше рассказал в своем очерке «Гуаша» убийца поэта Н. С. Мартынов (Известия Тамбовской ученой архивной комиссии, вып. XVII. Материалы для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства, т. 1, ч. 2. Тамбов, 1904, стр. 112—118). См. также рассказ Ф. Ф. Торнау в «Воспоминаниях кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов» о том, как он нашел в плену

у горцев свою Бэлу, черкешенку Аслан-Коз (ч. 2. М., 1864, стр. 130—131).

Дурылин указал на то, что «история Бэлы и Печорина, составляя одно из звеньев разработки литературной темы любви культурного европейца к дикарке, в то же время реалистически правдиво отражает явление, порожденное русско-кавказской действительностью 1820—1830-х годов» (стр. 140). Об этом подробнее см. стр. 120—121.

«...узнал моего старого знакомого Казбича».

Белинский писал: «Характеры Азамата и Казбича — это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французцу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальной физиономией и в национальном костюме!..» (Белинский, IV, стр. 220). Анализ образа Казбича см.: Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 227—234.

Поиски прототипа Казбича привели Н. О. Лернера, Л. П. Семенова, А. В. Попова к известному в свое время джигиту, лихому наезднику и предводителю шапсугов Кизилбечу Шертулокову (о нем см. на стр. 124—125). Однако, по справедливому убеждению Б. С. Виноградова, об историческом Казбиче или Кизилбече речь идет только в заключительных строках повести «Бэла», где на вопрос Печорина, что сделалось с Казбичом, Максим Максимыч отвечает: «... не знаю... Слышал, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец... да вряд ли тот самый!» Таким образом, в тексте романа Лермонтова образу Казбича, убийцы Бэлы, противопоставляется какой-то другой Казбич, удалец, реальное историческое лицо. Б. С. Виноградов показал, что Казбич в повести «Бэла» и внешне совсем не походит на Кизилбеча: Казбич «маленький, сухой, широкоплечий»; Кизилбеч, как рисует его портрет адыгейский писатель Ахметуков, «...был громадного роста, с добрыми голубыми глазами, с железной грудью, большой головой, довольно приятный на вид мужчина...» См.: Б. С. Виноградов. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникизде, Северо-Осетинское книжное издательство, 1963, стр. 59—62.

«...не то, чтоб мирной, не то, чтоб не мирной».

Современник Лермонтова Г. И. Филипсон говорит, что мирные, «как известно, были хуже немирных» («Русский архив», 1864, т. I, стр. 375). Молодой Лев Толстой, приехав на Линию лет через пятнадцать, застал там «мирные, но еще беспокойные аулы» («Казачи», гл. IV).

Сколько-нибудь значительной разницы между мирными и немирными горцами не было. Присяга на верность русскому правительству давалась не по доброй воле, и мирные горцы все время поддерживали самую тесную бытовую связь с немирными аулами. Об этом подробнее см.: М. А. Ливенцов. Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов. — «Русское обозрение», 1894, кн. 8, стр. 717 и А. Е. Розен. Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 261—262.

«...никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, не уступит».

Казбич продает баранов, но чуждается торгашества. Он больше воин, чем купец; продает дешево, значит, не гонится за наживой. Историк кавказской войны Н. Дубровин сообщал: «Чеченцы торговлей занимались мало и считали это занятие постыдным. В краю, где война была не что иное, как разбой, а торговля — воровство, разбойник в мнении общества был гораздо почтеннее купца, потому что добыча первого покупалась удалством, трудами и опасностями, а второго — одною ловкостью в обмане. Если чеченцу и случалось что-нибудь продавать, то он продавал без уступки».

Тот же историк писал: «Горец знал, что если он приведет на базар в укрепление животное для продажи, то его оставят на три дня на испытании, не окажется ли оно ворованным. Если в промежуток этого времени действительный хозяин не являлся, тогда деньги, следовавшие продавцу, отдавались ему покупателем, а в противном случае животное возвращалось настоящему его хозяину» (Н. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. 1. Спб., 1871, стр. 382 и 216—217).

«...он любит таскаться за Кубань с абреками...»

Абреки — абазинское слово, черкесы звали их хаджетами. Абрек — на Северном Кавказе и в Дагестане в период кавказской войны — горец, по каким-либо причинам скрывавшийся от своих и вынужденный заниматься на-

бегами. Абреком именовался также «отчаянный горец, давший срочный обет или зарок не щадить головы своей и драться неистово; также беглец, приставший для грабежа к первой шайке» (Вл. Даль. Толковый словарь живого русского языка, т. 1. М., 1955, стр. 2; ср.: Н. Н. Толстой. Охота на Кавказе. М., 1922, стр. 98—99). Адыгейский писатель Ю. Кази-Бек (Ахметуков) объяснял: «Абреком называется тот джигит, который дал клятву не сидеть дома и делать как можно больше вреда предмету своей мести» (см.: Юрий Кази-Бек (Ахметуков). Черкесские рассказы, т. 1. М., 1896, стр. 185—203; ср.: Дурылин, стр. 60—66). В литературе прошлого абрека часто неверно отождествляли с разбойником. Во время кавказской войны группы абреков боролись против царских колонизаторов. Абреки прорывались через границу, «жгли русские дома, угоняли скот и лошадей, убивали каждого встречного, захватывали детей и женщин. Наши пограничные казаки, одетые и вооруженные совершенно сходно с горцами и не менее их привычные к войне, день и ночь караулили границу и, в свою очередь, столкнувшись с абреками, когда сила брала, истребляли их до последнего человека... Для десяти или двадцати абреков ничего не значило, в долгую осеннюю ночь, переправившись тайком через Кубань, проскакать за Ставрополь, напасть там на деревню или на проезжающих и, перед рассветом, вернуться с добычей за реку» (Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов, ч. II. М., 1864, стр. 6—8).

Как раз в интересующее нас время абречество «распространилось за Кубанью, когда безавшие кабардинцы, озлобленные покорением их земли, дали обет, пока живы, мстить русским. Скоро из разных мест молодые люди стали уходить к неприятелю, провозглашая себя абреками, без другого повода кроме удалства и страсти к похождениям. Гораздо меньшее число делались абреками, имея действительную причину жаловаться на русских. Нельзя не признаться, что и в таких не имелось недостатка» (там же, стр. 9).

Ф. Ф. Торнау приводит ряд случаев административного произвола и судебной несправедливости русских властей, доводивших горцев до ухода в абреки.

В свои юные годы, еще не зная кавказской жизни, веря романтическому изображению абречества в «Амма-

лат-беке» Марлинского, Лермонтов изобразил невозможного в бытовом отношении Хаджи-абрека (т. III, стр. 267—280); недаром эту поэму с исторической стороны осуждал знаток Кавказа А. Л. Зиссерман («Русский архив, 1885, т. 2, стр. 78, 570).

Кабарда (Большая и Малая) расположена в предгорьях и прилегающих к ним степях центральной части северных склонов главного Кавказского хребта в бассейне Терека по рекам Малке, Баксану, Чегему, Черему. В верховьях этих рек, в горах — Балкарня. Кабарда занимает в творчестве Лермонтова значительное место. См. примечания к слову: кабардинцы на стр. 76—77. Кабарда славилась своим коневодством, в особенности верховыми лошадьми. В настоящее время Кабарда входит в состав Кабардино-Балкарской Автономной республики; центр — г. Нальчик. По Всесоюзной переписи 1959 года насчитывалось 203 620 кабардинцев («Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР». Сводный том. М., 1962). О кабардинцах см.: Л. Л[опатинский]. Заметки о народе Адыге вообще и кабардинцах в частности, с этнографической картой Кабарды. — В кн.: Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, 1891, вып. XII, отд. 1, стр. 1—10.

«Как теперь гляжу на эту лошадь; вороня как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы...»

Рассказывая о коне Казбича, Максим Максимыч сравнивает скакуна с Бэлой. Так в повести появляется традиционный восточный мотив: сопоставление лошади и женщины. Его находят у Анакреона, у многих поэтов Ближнего Востока. Распространен он и в творчестве горцев Кавказа, в частности в фольклоре аксайских кумыков. Конь в жизни кавказского джигита играл огромную роль. Без коня не было джигита. Горский фольклор знает легендарных коней. Не было ничего обидного для красавицы-горянки, если красоту лошади сравнивали с красотой девушки, или наоборот.

Позднее в русской литературе сопоставление женщин и лошадей появляется у многих писателей и поэтов, например у Тургенева в «Конце Чертопханова» и у Фета в стихотворном послании 1864 года к И. С. Тургеневу («Тебя искал мой стих по всем концам земли...»):

Взгляни в Степановке на Фатьму-кобылицу...
...Едва ль где женщину ей равную найдешь...

(А. А. Фет. Полное собрание стихотворений. Л., «Советский писатель», 1937, Большая серия «Библиотеки поэта», стр. 416). Но ближе к Лермонтову Л. Н. Толстой, как известно, назвавший лошадь Фру-Фру («Анна Каренина») именем героини популярной пьесы Мейлака и Галлеви «Frou-frou» (1870) и заставившей Вронского испытать к ней страсть не меньшую, чем Азамат испытал к Карагезу. Об этом подробнее см.: Б. С. Виноградов. Бала и песня Казбича. — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1963, № 2, стр. 188—191.

М. Врубель создал рисунок «Казбич и Азамат» в двух вариантах. «В обоих вариантах центром рисунка являются по люди, а конь Карагез. Он у Врубеля прекрасен: статен, благороден и горд. Своей красотой конь подавляет людей... и это так и нужно по Лермонтову: они оба влюблены в коня, их мысли, чувства и страсти прикованы к нему, более того — их жизни связаны с этим конем» (С. Н. Дурылин. Врубель и Лермонтов. — «Литературное наследство», 1948, т. 45—46, стр. 560).

«Уж такая разбойничья лошадь...»

По словам Ф. Ф. Торнау, горец «свою лошадь бережет пуще глаза. Она выезжена на уздечке, которой совершенно повинуется; она спокойна, смирна, привыкает к ездоку как собака, идет на его зов и переносит непомоверные труды» (Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов, ч. II. М., 1864, стр. 33).

Печорин гордится своим «искусством в верховой езде на кавказский лад»; один из его коней черкесской породы так и зовется «Черкес». Лермонтов сам был кавалерист и любил лошадей. Конь и всадник встречаются очень часто и в его поэзии и в его картинах и рисунках (см.: Л. Семенов. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, стр. 200—210). Между прочим, мы находим у Лермонтова упоминания лошадей двух кабардинских пород — Грам («Измаил-Бей», ч. III строфа XXI, т. III, стр. 214) и Лоов (Письмо к А. И. Бибикову, 1841, т. VI, стр. 457—458), пород редких и дорогих, о которых мог знать и судить только знаток лошадей. Трамовы и Лоовы — владельцы крупных табунов в Кабарде.

«Недаром на нем эта кольчуга...»

Опытный Максим Максимыч знал, что черкес надевает кольчугу лишь тогда, когда предстоит серьезное столкновение. Один офицер рассказывал Г. И. Филиппону: «В начале двадцатых годов какие они там задавали боп! Выезжало иногда до пяти тысяч всадников, из которых очень много было панцырников» («Русский архив», 1883, т. 3, стр. 165). Такое вооружение стоило дорого и не каждому было доступно. Казбич не был бедняком, судя хотя бы по тому, что надеялся посватать княжескую дочь. Панцыри у черкесов носили только наездники высшего сословия: ср. у Лермонтова в «Дарах Терека»:

Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных... (II, стр. 129)

«Якши тхе, чек якши...» (тюрк.) — Хорошая [лошадь], очень хорошая.

«...присел я у забора и стал прислушиваться...»

Подслушивание разговоров — прием частый в романе, вызванный тем, что повествование всюду ведется от первого лица. (Об этом см.: Б. М. Эйхенбаум. Лермонтов. Опыт историко-литературной характеристики. Л., ГИЗ, 1924, стр. 153.) Лермонтов пользовался «приемом подслушивания» и раньше. В «Княгине Лиговской» Красинский совершенно случайно оказывается в ресторации как раз тогда, когда оскорбивший его Печорин рассказывает приятелям о своем поступке с ним (VI, стр. 133—135).

Гяур. Этим словом (от арабского «kiafir» — неверный язычник) мусульмане презрительно называют немусульман, в том числе и русских.

Карагач — *Ulmusrumila*, красный берест, вид ильмы, дерево.

Карагёз — на тюркских языках означает черный глаз, черноглазый, черноокий.

Валлах (арабск.) — Аллах, бог; восклицание: «О, боже!»

Йок (тюрк.) — нет.

Гурда — так назывались на Кавказе самые лучшие старинные сабельные полосы с разнообразными клеймами (см.: Э. Ленц. Несколько слов о старинном холодном

оружий. — «Альманах армии и флота на 1902 г.», стр. 114). «Рассказывают, что один из туземных мастеров, достигший чрезвычайным трудом и усилиями до выделки этих чудных клинков, встретил себе соперника в лице другого мастера, старавшегося всячески подорвать его репутацию. Произошла ссора, и первый, желая доказать преимущество своего железа, с криком «гурда!» (смотри) одним ударом перерубил пополам и клинок, и самого соперника. Имя этого мастера изгладилось из народной памяти, но его восклицание «гурда» так и осталось за его клинками. Знатoki различают три рода гурды: это ассель (старая гурда), гурда-мажар и гурда-эль-мурза, отличающиеся друг от друга различными клеймами» (В. Потто. Несколько слов о холодном оружии. — В кн.: Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т. IV, вып. 4. Тифлис, 1888, стр. 504). Лев Толстой в повести «Казак» (гл. XIV) ошибочно полагал, что «Гурда» имя мастера.

«Шашка, настоящая гурда» упоминается Лермонтовым в очерке «Кавказец» (VI, стр. 349).

Отличный знаток кавказского оружия, Лермонтов знал имя известного мастера холодного оружия Геурга, который в 30-х годах XIX века жил в Тифлисе. Возможно, что Лермонтов знал его лично. Имя Геурга встречается в черновике стихотворения «Поэт»:

В серебряных ножнах блистает мой кинжал,
Геурга старого изделье... (II, стр. 279)

и в наброске Лермонтова «Я в Тифлисе у Петр. Г. — ученый татарин»: «...я снял с мертвого кинжал для доказательства... несем его к Геургу. Он говорит, что делал его русскому офицеру» (VI, стр. 383).

По свидетельству современников, Геург изготавливал сабельные клинки и кинжалы превосходного булата и отличной закалки, не уступающие даже знаменитым дамасским клинкам. Закалку клинков он производил так: у кузнеца наготове стояли всадники. Разогретое в горне лезвие Геург передавал всаднику и тот во весь опор мчался до назначенного места, поднимая клинок против ветра и рассекая им воздух. Такое воздушное охлаждение придавало стали особую прочность. См.: И. К. Ениколопов. Лермонтов на Кавказе. Тбилиси, «Заря Востока», 1940, стр. 30.

«Шашка... сама в тело вопьется».

Черта эпического гиперболизма. В «Слове о полку Игореве» струны Бояна «сами князем славу рокотаху».

«Хочешь я украду для тебя мою сестру?..»

И. И. Замотин отмечал: «Дикий Азамат, «головорез», разбойник от рождения, готовый обокрасть своего собственного отца и продать родную сестру, поражает, однако, нас силою, цельностью и искренностью своего чувства. Он, как Мцыри, живет одной, но пламенной страстью — хочет обладать конем Казбича — и для этого все ставит на карту. За эту страстность, за непреклонную волю, за беззаветную удачу мы готовы простить Азамату многое, даже его безнравственную и преступную, с нашей точки зрения, хищность, которую ему, выросшему в условиях первобытной дикости, даже и нельзя ставить в вину» (И. И. З а м о т и н. М. Ю. Лермонтов. Мотивы идеального строительства жизни. Варшава, 1914, стр. 141).

Для правильного понимания характера и поведения Азамата нужно иметь в виду, что русская администрация на Кавказе действовала не только мечом и огнем, но и подкупом, развращая нравы горцев. Азамат, готовый продать родную сестру, не был ни злодеем, ни продажным негодяем; он действовал не из жажды обогащения, а под влиянием страстного желания обладать конем Казбича. Оба горца — Азамат и Казбич — правдиво воссозданы Лермонтовым, в них нет уже фальши неистового романтизма, о чем при появлении «Бэлы» в «Отечественных записках» со всей определенностью заявил Белинский (Б е л и н с к и й, III, стр. 188).

«Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом, чудо!..»

Предлагая Казбичу украсть для него сестру, Азамат относится к ней как к вещи, которую он обменивает на коня, и в этом торге Азамат расхваливает ее достоинства, ценившиеся горцами: ее красоту, способность к танцам, мастерство в рукоделии. (Шитье золотом особенно было развито и славилось у кабардинцев.) Такое отношение к сестре характерно для отношения к женщине у мусульман. Мужчина на мусульманском Востоке в старину считался собственником женщины. Весь труд по хозяйству лежал на ней. «Черкесский дворянин проводит жизнь на

лошади и воровских набегах, в делах с неприятелем или в разъездах по гостям. Дома у себя он проводит весь день лежа в кунацкой, открытой для каждого прохожего, чистит оружие, поправляет конскую сбрую, а чаще всего ничего не делает... Днем он видится очень редко со своим семейством и идет к жене только вечером. На ней лежит обязанность смотреть за хозяйством; она ткет с помощью женской прислуги сукно, холст и одевает детей и мужа с ног до головы» (Ф. Ф. Горнау. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов, ч. II. М. 1864, стр. 90).

«Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах; скорее изорвется материя, чем шов, сделанный их рукой; серебряный галун их работы неподражаем... Умение хорошо работать считается после красоты, первым достоинством для девушки и лучшей приманкою для женихов» (там же, стр. 90—91).

Искусство пляски считалось на Кавказе одним из главных достоинств молодой женщины. Вот почему так детально описывается в поэме «Демон» эпизод с пляской Тамары (IV, стр. 187). Ср.: Дурылин, стр. 184.

Падшах — «великий царь», титул бывших турецких султанов.

«Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса: «Много красавиц в аулах у нас...»

Молчание Казбича полно глубокого значения. Он любит Бэлу. Азамат это понял. И в суровой душе Казбича происходит борьба, иначе он ответил бы сразу отказом, не задумываясь. Волнение, которое им владеет, наконец разрешается не простыми словами, а песней. У Лермонтова герои его произведений часто отвечают на вопрос или раскрывают свое состояние песней. Так, Бэла при встрече с Печориным пропела приветственную песню; в «Тамани» девушка-контрабандистка поет на кровле, «зывает счастье»; и в юношеском незаконченном романе Лермонтова «Вадим» Ольга в главе XIII вместо ответа запекает песню (VI, стр. 48).

Песня Казбича процитирована «странствующим офицером» в стихотворной форме, что особо оговорено в примечании от автора: «Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную

мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура». Этим как бы подчеркивается, что «странствующий офицер» — поэт, писатель, что образ автора-рассказчика в значительной степени автобиографичен. Об этом подробнее см.: В. Шкловский. Заметки о прозе русских классиков. Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Советский писатель», 1955, стр. 172 и Б. С. Виноградов. Образ повествователя в романе «Герой нашего времени» — «Литература в школе», 1956, № 1, стр. 20—28.

Неоднократно отмечалась близость песни Казбича к черкесской песне в «Измаил-Бее»:

Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля,
Но еще милее воля!
Не женися, молодец,
Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
Ты купи коня!.. (III, стр. 182—183)

Обе песни у Лермонтова восходят к мотивам, известным в народном творчестве горцев Кавказа. Об этом см.: Л. П. Семенов. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, Орджоникидзевское краевое издательство, 1941, стр. 36 и 79 и С. А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 76.

Вероятно, Лермонтову была знакома и русская народная песня «Ты, дума моя, думушка», где разрабатывается тот же мотив.

Анализируя песню Казбича, Б. С. Виноградов обратил внимание на то, что в этой песне лошадь и женщина не сопоставляются, но противопоставляются друг другу, причем это противопоставление сделано не в пользу женщины. Между прочим, весь ход повествования, образ самой Бэлы решительно опровергают подозрения Казбича, опровергают его песню. Карагега похитили, он был вынужден изменить своему хозяину Казбичу, а Бэла осталась верна любимому Печорину. Золото не могло и не смогло бы купить Бэлу. Ее можно украсть, убить, но нельзя заставить насильно полюбить.

А. А. Бестужев-Марлинский в рассказе «Красное покрывало» обратился к распространенной в романтической литературе теме любви различных национальных и со-

циальных миров. Горянка полюбила русского офицера и навсегда потеряла его: он был убит. Автор обращается к своей героине: «...гордое чувство любви возвысило тебя над толпой единомышленников, доступных только рабскому страху или презрительному корыстолюбию даже в том, что они называют любовью». И дальше: «Твой милый сорвал тебя, как цветок, с корня растительной жизни, и на своих крыльях умчал в новую прекрасную жизнь умственную, но стрела смерти пронзила его в поднебесье — и тебе не дышать более воздухом этого поднебесья, — не прости снова к земле!» (Марлинский. Красное покрывало. Сцены из походной жизни. Второе полное собрание сочинений, т. I. Спб., 1847, стр. 117—118).

У Лермонтова другое понимание характера горской женщины. В романтической поэме «Измаил-Бей» поэт создал образ Зары, который во многих отношениях предшествует образу Бэлы и в известной мере превосходит ее.

Как справедливо утверждает Б. С. Виноградов, «песня Казбича с ...мотивом восточного противопоставления женщины и лошади введены автором в роман не только для выражения местного колорита. Песня Казбича — важнейший компонент идейно-художественной структуры произведения» (Б. С. Виноградов. Бэла и песня Казбича. — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1963, № 2, стр. 187—198).

«— Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал».

Азамат, сам вызывавшийся променять Казбичу на коня свою сестру, молчит в ответ на подобное же предложение Печорина. Это объясняется тем, что Казбич — магаметанин и единоплеменник, свой, а Печорин — «гяур», иноверец, чужой.

Калым — выкуп, вносимый женихом за невесту ее родным (отцу, брату). Печорин мог знать обычай отдавать в качестве калыма лошадь с седлом.

«...Приехал Казбич... Я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком».

Несмотря на заведомую, с точки зрения русских властей, неблагонадежность Казбича, начальник гарнизона крепости Максим Максимыч ведет с ним знакомство и предпочитает числить Казбича мирным поставщиком продовольствия, а не абреком.

«Урус яман, яман!» — Русский злой, злой!

«Часовой загородил ему путь ружьем».

Часовой заподозрил, что Казбич совершил какое-нибудь преступление и пытается убежать. Поэтому солдат попытался задержать горца, бегущего через ворота крепости. Весь эпизод похищения Карагёза и попытки Казбича вернуть коня написан удивительно выразительно, динамично, короткими, энергичными фразами. Действенная напряженность, точность каждого жеста в этом эпизоде как бы предвосхищают технику кинодраматургии.

«...так пролежал до поздней ночи и целую ночь...»

В поэме Пушкина «Тазит» старик горец Гасуб, предавший сына проклятию и отрекшийся от него, выражает свое отчаяние и горе так же, как и Казбич:

Сказал и на землю лег — и очи
Закрыв. И так лежал до ночи.
Когда же приподнялся он,
Уже на синий небосклон
Луна, блистая, восходила
И скал вершины серебрила (IV, стр. 321).

Поэма Пушкина под неверным заглавием «Галуб» была напечатана в журнале «Современник» (1837, т. VII) и не могла пройти мимо внимания Лермонтова.

«Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему».

Как уже указывалось выше, в повседневной жизни военные на Кавказе не очень строго придерживались соблюдения формы. Максим Максимыч надел эполеты и шпагу, чтобы придать своему появлению у Печорина официальный характер. Будучи начальником гарнизона крепости, Максим Максимыч обеспокоился, как бы похищение Бэлы и сокрытие ее у Печорина не осложнило отношений с мирными горцами, к числу которых принадлежал и князь, отец Бэлы: В условиях кавказской войны

нельзя было обострять отношений с мирными горцами. Конечно, это понимал не только Максим Максимыч, но и Печорин.

«Пожалуйте вашу шпагу!..

— Митька, шпагу!...»

Без шпаги офицер не имел права выйти из дому. Если старший по службе отбирал у офицера шпагу, это означало домашний арест. Такая же сцена со шпагой есть в «Капитанской дочке» Пушкина (гл. IV), впервые опубликованной в журнале «Современник» (1836, т. IV, стр. 42—215). По этой публикации Лермонтов и прочел впервые «Капитанскую дочку». Н. И. Черняев, а за ним Б. В. Нейман обратили внимание на то, что «шпага отбирается у Печорина и возвращается ему обратно так же быстро, как отбирается и возвращается шпага Гринёва и Швабрина». В обоих случаях очень похожа домашняя обстановка, в которой отбирается шпага. Никакой торжественности, никакой официальности. Все подчеркнуто обыденно, снижено. Василиса Егоровна велит Палашке отнести шпаги в чулан, Печорин кличет Митьку, чтобы тот принес шпагу, которую у него требует Максим Максимыч. И там, и тут дело происходит в захолустной крепости. Об этом см.: Н. И. Черняев. Заметки о Лермонтове. — «Южный край», 1901, № 6925; Б. В. Нейман. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914, стр. 114.

Насколько несерьезно было наказание Печорина домашним арестом видно из презрительно-шутливого ответа Печорина Максиму Максимычу: «оставьте ее [Бэлу] у меня, а у себя мою шпагу» (VI, стр. 219). Сходство эпизодов с арестом в «Капитанской дочке» и в «Бэле» внешнее: в каждом случае назначение этого эпизода различное. Пушкин в своем романе подчеркивает патриархальность жизни в Белогорской крепости, Лермонтов показывает невозмутимость и равнодушие Печорина к службе. Вместе с тем Печорин отлично понимает всю напускную суровость Максима Максимыча и не скрывает от него этого понимания.

«...Ведь вы добрый человек, — а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст».

Печорин разделяет довольно широко распространенное среди русских убеждение, что горянка — рабочая

сила, а когда она вырастает — товар (Н. Семенов. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. Спб., 1895, стр. 81). Печорин понимал, что Бэла, отдавшись ему, обесчестила свой род и отец должен был ее убить или отречься от нее.

«Я нанял нашу духаницу: она знает по-татарски...»

Жена содержателя духана (трактира), по всей вероятности, армянка, поскольку торговля на Кавказе находилась по преимуществу в руках армян, должна была владеть так называемым «татарским» — т. е. тюркским или, точнее, азербайджанским языком, распространенным на Кавказе и в Закавказье. Этот язык изучал в 1837 году и Лермонтов. Ср. комментарий к слову «татары» на стр. 72—73.

«...есть люди, с которыми непременно должно соглашаться».

«Ты можешь все, что хочешь», — говорит Печорину Вера в повести «Княжна Мери». Вскоре она же пишет ему: «в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая». Максим Максимыч почувствовал на себе обаяние властной натуры Печорина.

Герои юношеских поэм и драм Лермонтова, вслед за героями Байрона, в значительной мере предвосхищали эту важнейшую особенность личности Печорина — подчинять своему влиянию окружающих. Так, например, Измаил-Бей принадлежал к числу тех, кто

пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе (III, стр. 190).

«Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула...»

Чтобы видеть хоть издали родные горы лермонтовский Мцыри бежит из монастыря и с восторгом вспоминает перед смертью:

В дали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незаблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней (IV, стр. 153).

Умирая, Мцыри просит перенести его в сад:

Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет...
(IV, стр. 170)

«Послушай, моя пери, — говорил он».

Пери (по-персидски крылатый) — по религиозным воззрениям древних персов, — одно из прекрасных и добрых существ, находящихся в непрестанной войне с духами зла — дивами (дэвами). Печорин, как и Лермонтов, не мог, разумеется, не знать поэму В. А. Жуковского «Пери и ангел» (1821) — перевода части поэмы английского поэта Томаса Мура (1779—1852) «Лалла Рук» («Пери и ангел» перевод второй части поэмы Т. Мура, носящей в подлиннике название «Рай и Пери»). Лермонтов и его герой знали и авторское примечание к поэме: «Пери — воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходящее людей, не живут на небе, но в цветах радуги и порхают в бальзамических облаках; питаются одними испарениями роз и жасминов и подвержены общей участи смертных. Индийцы и другие восточные народы представляют их себе в виде женщин, коих отличительное свойство составляют красота и благотворительность» (В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. III. Изд. А. Ф. Маркса, 1902, стр. 145).

Есть у Жуковского и оригинальное стихотворение «Пери» (1831). Кроме того, в 30-е годы XIX века были широко известны поэма А. И. Подолинского «Див и пери» и стихотворение Пушкина «Пью за здравие Мери», в котором упоминается пери:

Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери
(Пушкин, III, стр. 205).

Это стихотворение впервые напечатано в альманахе «Денница» за 1831 год.

Слово «пери» было известно Лермонтову (и Печорину) не только из произведений русских и английских поэтов, часто обращавшихся к восточным мотивам, но и непосредственно из кавказского фольклора, из занесенных с иранского Востока преданий.

Лермонтов часто употреблял это слово для обозначения красивой женщины. Зара в «Измаил-Бее» — «нежна, как пери молодая, создание земли и рая» (III, стр. 170); «Как пери спящая мила, она [Тамара] в гробу своем лежала» («Демон», IV, стр. 212); «На голос невидимой пери шел воин, купец и пастух» («Тамара», II, стр. 202) и т. д.

«На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками».

Кизляр — город на левом берегу реки Старый Терек, в пятидесяти верстах от Каспийского моря, известный еще в начале XVII века, с 1735 года — крепость и довольно значительный торговый пункт, через который шли товары в Баку, Грузию, Персию и даже Индию. В городе было три рынка: русский, армянский и татарский. Город населяли грузины, армяне, кумыки, ногайцы, черкесы, казанские татары, персияне, русские. Здесь закупали необходимые товары и чеченцы. Ср. иронический вопрос в книге «Неправдоподобные рассказы чичероне дель К... о. П. Федор Петрович Каталкин» (Спб., 1837). «Чего нет в Кизляре? Это просто Париж восточной части линии или, как говорят, левого ее фланга» (стр. 180). Но внешний вид города был неказистым: саманные сакли, турлучные хижны с плоскими камышовыми или глиняными крышами. Кизляр окружали многочисленные болота, в которых гнездились тучи малярийных комаров. Лермонтов любывал в Кизляре в 1837 году и мог там встретиться с П. А. Катениным, другом Пушкина и декабристов. Не исключено, что поэт бывал в Кизляре и во время второй ссылки на Кавказ в 1840 году (См.: Ю. Шидловский. Записки о Кизляре. — «Журнал Министерства внутренних дел», 1843, ноябрь, ч. 4, стр. 161—208; А. В. Попов. М. Ю. Лермонтов в первой ссылке. Ставрополь, 1949, стр. 28—35; Ираклий Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., «Советский писатель», 1955, стр. 165—197).

«...устоит ли азиатская красавица против такой багарей? — Вы черкешенок не знаете, — отвечал я: — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки — совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны...»

Убийца Лермонтова Н. С. Мартынов рассказывает в своем очерке «Гуаша» о любви к черкешенке одного из товарищей Лермонтова, князя А. П. Долгорукова, служившего в 1837 году на Кавказе: «...Долгорукий часто привозил Гуаше незначительные подарки: когда купит для нее материи на бешмет; в другой раз поднесет ей стеклянные бусы... Получив от него какую-нибудь вещь, она никогда не рассматривала ее, как это делают почти все азиатцы, и даже многие из европейцев, но молча принимала подарок, благодарила за него искренно, хотя и с достоинством, несколько впрочем не стараясь скрыть своего удовольствия, если вещь ей нравилась. Казалось, все усилия ее клонились только к тому, чтобы доказать, что она более ценит внимание лица, чем подарок...» (Известия Тамбовской ученой архивной комиссии, вып. XVII. Материалы для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства, т. 1, ч. 2. Тамбов, 1904, стр. 112—118).

«Уздени его отстали».

Как объяснял А. А. Бестужев-Марлинский, «узденъ — слово татарское, сложенное из двух *uz* и *den*, что значит: сам от себя зависящий, независимый» (Марлинский. Мулла-Нур, гл. IX. — «Библиотека для чтения», 1836, т. XVII, отд. 1, стр. 158). А. Л. Зиссерман подтверждает эту этимологию (См.: А. Л. Зиссерман. Двадцать пять лет на Кавказе. Спб., 1879, ч. II, стр. 435). У кабардинцев уздени составляли своего рода дворянское сословие, которое считалось выше зависимых сословий и ниже только князей. У черкесов в их сложном феодальном строе первое место занимали *пши* — князья; за ними следовали дворяне — *вуорки*, или уздени трех степеней: 1) *глетхотль* — подчинявшиеся князьям, но считавшиеся владельческими наравне с князьями; 2) *беслен-вуорк* — причисленные к княжеским или к дворянским аулам и 3) *вуорк-шаотляхуса*. За ними стояли *уздени-пшекау*, «которых можно назвать князьими отроками или конвойными князя». Этими узденями-пшекау Лермонтов и окружил старого князя, возвращающегося с поисков дочери (см.: Н. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. I. Спб, 1871, стр. 193 и 451; ср.: Дурдин, стр. 189—190).

У чеченцев не было такого сложного деления общества. «Все чеченцы... составляют общий класс узденей,

без всякого подразделения на сословия. — Мы все уздени, — говорят чеченцы, — понимая под этим словом людей, зависящих только от себя (слово «уздень» на чеченском языке произносится «ёзюдан» и происходит от слов: ёзю — от и дан — себя)» (Ф. И. Леонтович. Адамы Кавказских горцев, вып. II. Одесса, 1883, стр. 258; ср.: Д у р ы л и н, стр. 190).

У кумыков, как и у черкесов, было сословное деление общества, и уздени или дворяне находились в вассальных отношениях к князьям (См.: Н. Семенов. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. Спб., 1895, стр. 230).

Независимо от решения вопроса, был ли отец Бэлы кабардинским или кумыкским князем, в данном случае его уздени означают его свиту, состоящую из приближенных дворян или князьих отроков, но никоим образом не простых слуг.

«Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил».

У горцев Северного Кавказа «едва младенец начинает понимать, как мать, отец, аталык [воспитатель] и все родные твердят ему одно и то же, что он должен ненавидеть своего врага и мстить кровью за кровь, обиды и оскорбления» (Ф. И. Леонтович. Адамы кавказских горцев, вып. II. Одесса, 1883, стр. 258). О кровной мести Лермонтов писал неоднократно. См., напр., «Каллы» (1831), «Хаджи Абрек» (1833—1834) и «Беглец» (1839).

«Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить...»

Способность применяться к обычаям народов, среди которых ему случается жить, отчетливо видна в высказываниях Максима Максимыча, весь рассказ которого позволяет Печорину сделать такой общий вывод. В Максиме Максимыче, таким образом, находит свое выражение типичная черта характера и поведения русского человека, его национальная особенность. Это же понимание психологии и обычаев других народов присуще и Печорину, и рассказчику, «странствующему офицеру», но не интуитивно, стихийно, а интеллектуально, рационалистически.

«...туманы, клубясь и извиваясь как змеи...»

Сравнение облаков со змеями встречается у Лермонтова не раз: в «Хаджи Абреке»: «Ползут как змеи облака» (IV, стр. 277), в поэме «Сашка»: «Обнявшись, свившись будто куча змей, беспечно дремлют» (т. IV, стр. 92).

«...удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми...»

Недоверие к искренности Руссо (см. Предисловие к «Журналу Печорина») не мешает рассказчику разделять его идею об облагораживании человека путем сближения с природою, его отвращения к «приобретенному» душою, затемняющему ее первоначальную сущность. В «Думе» Лермонтов осудил свое поколение, которому суждено состариться в бездействии именно под бременем приобретенного, «под бременем познания и сомнения». Демон в «Сказке для детей» наказан не только вечностью, но и знанием, и Печорин видит свое несчастье в том, что живет не сердцем, а только головою, мыслями, а не чувством. «Становиться детьми, — замечает М. Н. Розанов, — это большая похвала в устах нашего поэта. С Руссо и Байроном он разделяет необычную любовь к детям» (М. Н. Розанов. Байронические мотивы в творчестве Лермонтова. — В сб.: Венок Лермонтову. М., 1914, стр. 363—364). Ср.: стихотворения «Казачья колыбельная песня» (II, стр. 140—141) и «Ребенку» (II, стр. 161—162). Эпитет «детский» в применении к взрослым у Лермонтова всегда служит похвалою.

Руссоизм Лермонтова, как и руссоизм Льва Толстого, вызван презрением к праздной пустоте и утомительной искусственности светской жизни: это философское обращение к целительной близости к природе обещало, по их убеждению, возвращение утраченной гармонии, преодоление трагических противоречий социальной действительности. См.: Л. П. Семенов. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, стр. 48 и след.; М. Н. Розанов. Байронические мотивы в творчестве Лермонтова. — В сб.: Венок М. Ю. Лермонтову. М., 1914, стр. 383; К. Н. Григорьян. Лермонтов и романтизм. М. — Л., «Наука», 1964, стр. 179 и след. Ср.: Н. Я. Дьяконова. Байрон и Руссо. — В сб.: Тезисы конференции, посвященной 250-летию со дня рождения Жан-Жака Руссо. Одесса, 1962, стр. 81.

«...поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины...»

Лермонтов, как известно, учился рисованию и живописи с юных лет и был одаренным любителем-художником. В 1837 году, странствуя по Кавказу и Закавказью, он, по собственному признанию, «снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и их у него собралась «порядочная коллекция» (письмо к С. А. Раевскому, т. VI, стр. 440). Сохранилось несколько видов Кавказа, написанных Лермонтовым масляными красками, например: «Воспоминание о Кавказе», «Эльбрус. Вид с Бермамыта», «Башня в селении Спони близ Казбека», «Тифлис», «Развалины близ селения Караагач в Кахетии» и др. Об этом подробнее см.: Н. П. Пахомов. Живописное наследство Лермонтова. — «Литературное наследство», т. 45—46, 1948, стр. 55—222; Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964.

«...и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца».

Максим Максимыч, который «не любит метафизических прений» (последние слова романа) и ограничивается лишь внешней «физиологией» явлений, недаром вспомнил здесь чувство, испытанное им в боях.

«...эта музыка даже приятна... сердце бьется сильнее...»
Ср. у Пушкина в «Пире во время чумы» (1830):

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю.

И дальше:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья. может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог

(Пушкин, V, стр. 419).

Максиму Максимычу есть что порассказать, и он, как успел подметить его собеседник, довольно словоохот-

лив, но о себе, о своей боевой жизни говорит мало и очень скромно. Скромна и сдержанна манера рассказа Максима Максимыча. В этом отношении показательное сравнение его рассказа со стилем Марлинского. «Сегодня по пояс в снегу, — повествует отставной полковник в повести «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», — завтра по колено в грязи, и потом промокши до самого сердца, просушиваться под картечным огнем неприятельским. В цепи или в разъезде вместо отдыха, то преследуя побежденных, то утекая разбитый и, в довершение удовольствий, нося более ран на теле, чем петель на мундире».

«...под нами лежала Койшаурская долина...»

Повесть «Бэла» начинается описанием Койшаурской долины, в которую только что въехал офицер повествователь, автор повести. Теперь эта же долина описывается сверху, так как она видна с Гуд-Горы, по склону которой в то время проходила Военно-Грузинская дорога. Ср. стр. 64.

«Тут бы и остаться жить навеки...»

В конце 1837 года, описывая в письме к С. А. Раевскому свои разъезды по Кавказу, Лермонтов восторгался этим самым видом: «... лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь» (VI, стр. 441).

Ср. комментарий о руссоизме Лермонтова на стр. 111.

«...застанет нас на Крестовой».

Крестовая гора в главном Кавказском хребте, по Военно-Грузинской дороге между Койшауром и Коби (в этом месте теперь дорога идет в обход). Крестовая отделена от Гуд-Горы Чертовой долиной. На вершине горы водружен крест, давший имя самой горе (П. Семенов. Географическо-статистический словарь Российской Империи, т. II. Спб., 1865, стр. 785).

Уносные — первая пара лошадей при запряжке четверкою (от слова «уносы» — постромки).

«...мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали...»

Подобная жанровая картинка, пзображающая беспечность «нашего русака», есть и у Гоголя в «Мертвых душах» (т. 1, гл. III). Селифан везет Чичикова к Собакевичу, худо зная дорогу. «Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу... пустился он вскачь, мало помышляя о том, куда приведет. взятая дорога... Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмура глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает». Наблюдения обоих писателей (на сходство их указал В. И. Шенрок: Материалы для биографии Гоголя, т. III. М., 1895, стр 411—412) освещены одинаковой иронией, добродушною и в то же время наводящею на глубокое раздумье.

«Переезд через Крестовую гору (или, как называет ее ученый Гамба, Le Mont St-Christophe) достоин вашего любопытства».

Гамба (Jaques Francois Gamba, 1763—1833) — известный путешественник, изучавший пути Франции к восточным рынкам. Пользуясь покровительством русских властей, Гамба совершил в 1817 году путешествие по южной России, посетил порты Черного моря и западные берега Каспия. Во время второго путешествия в 1819 году он посетил Северный Кавказ, Дагестан, Грузию, Ширван и побывал в Москве и в Петербурге. По настоянию Гамба в Тифлисе было учреждено французское консульство и он был назначен консулом, в звании которого и умер. В 1824 году в Париже вышла в двух томах с атласом книга Гамба «Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées au — delà du Caucase» («Путешествие в Южную Россию и преимущественно в Кавказские области», совершенное с 1820 до 1824 года; второе издание вышло в 1826 году. Выдержки из этого путешествия печатались в «Русском архиве» в 1826—1828 годах). «Нельзя сказать, чтобы сведения, сообщаемые Гамбой, отличались особенною основательностью», — за-

мечает библиограф литературы о Кавказе и Закавказье М. Мнансаров (*Bibliographia Caucasica et Transcaucasica*. Опыт справочного систематического каталога печатным сочинениям о Кавказе, Закавказье и племенах, эти края населяющих, том I, отдел 1. Спб., 1874, стр. 353).

Лермонтов имеет в виду следующее место в этой книге: «Наши лошади постепенно углублялись в снег и лед, и мы были вынуждены обратиться к помощи волов, отданных в наше распоряжение; они после четырех верст медленного и тяжелого ходу подвезли нас на вершину горы св. Кристофа, до высшей точки нашего путешествия» (стр. 34).

Ошибку Гамба, переименовавшего Крестовую гору в гору святого Христофора, раньше Лермонтова заметил сотрудник «Московского телеграфа» («Московский Телеграф», 1833, № 15, стр. 362—363; ср.: Дурыйлин, стр. 194—195).

Странствующий офицер, автор путевых записок, прозаическим образом объясняет название «Чертова долина» и иронизирует над читателем, склонным видеть «гнездо злого духа между неприступными утесами». Тем не менее именно в этих местах в 1837 году Лермонтов слышал горские сказания, отразившиеся в зрелых редакциях «Демона». П. А. Висковатый писал: «Старая Военно-Грузинская дорога, следы коей видны и поныне, своими красотою и целой вереницей легенд особенно поразила поэта. Легенды эти были ему известны уже с детства, теперь они возобновились в его памяти, вставали в фантазии его, укрепляясь в памяти вместе с то могучими, то роскошными картинами кавказской природы. Вот тут-то зародилась в Михаиле Юрьевиче мысль перенести место действия любимой его поэмы «Демон» на Кавказ. До сей поры оно было в Испании» (П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 263—264).

В другом месте Висковатый говорит: «Окрестности [Военно-Грузинской дороги] полны сказаний о горном или злом духе, полюбившем девушку, грузинку. Так, вблизи находится «Чертова долина», и в ней грома камней чуждой долине формации, принесенных, быть может, еще в стародавние времена во время какого-либо геологического переворота. Слышанные мною предания об этих камнях сходятся в том, что горный дух полюбил

молодую девушку, в свою очередь любившую молодого человека. В минуту ревности дух завалил хижину молодых людей грудой страшных камней. Верстах в 20 или в 25 от Гуд-аула на правом берегу Арагвы, в ложбине между двух покатых камней, находятся развалины монастыря, о коем окрестные жители рассказывают, что дух, рассердившись на инокинь... разрушил монастырь громовой стрелой. Может быть, Лермонтов слышал о монастыре более подробные сказания; они весьма разнообразны. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что эту местность имел в виду поэт при описании той обители, куда Гудал [ср. Гуд-аул] отводит дочь свою:

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой».

(Сочинения М. Ю. Лермонтова, ч. III. Под ред. П. А. Висковатого. М., 1891, стр. 119—120).

«В Герое нашего времени» Лермонтов подчеркивает свой отход от романтических традиций и «романтическое название» Чертовой долины сознательно толкует в прозаическом сниженном смысле.

«Саратов, Тамбов и прочие «милые» места...»

Эти города упомянуты Лермонтовым не совсем случайно. Саратов в те времена еще считался классическим образцом далекого захолустья с легкой руки Грибоедова, у которого в «Горе от ума» (д. 4-е, явл. XIV) Фамусов грозит дочери отправить ее «к тетке в глушь, в Саратов». Тамбов же сам Лермонтов осмелел в «Тамбовской казначейше» (IV, стр. 118—142).

«Ветер... свистал как Соловей-Разбойник».

Образ из былины об Илье Муромце и побежденном им страшном Соловье-Разбойнике, от свиста которого «под Ильєю конь окарачился»; даже на дворе у князя Владимира, когда привязанный к седельной луке Соловей, по приказу Ильи, желавшего потешить князя, засвистал по-своему, по-соловьиному, «князи и бояра испужались, на карачках по двору напоззались, и все сильпы богатыри могучне. И накурил он беды несносные: гостины кони с двора разбежались, и Владимир князь едва жив стоит со душой княгиней Апраксеевной...» (см.: Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., Гослитиздат, 1938, стр. 242 и 246).

Лермонтов хорошо знал русское народное творчество и глубоко проникал в поэтику русской песни и сказки. В годы, непосредственно предшествующие работе над «Героем нашего времени», Лермонтов внимательно изучал сборник Кирши Данилова в издании 1818 года, ставший едва ли не самым важным источником «Песни про купца Калашникова». См.: М. К. Азадовский. Фольклоризм Лермонтова. — «Литературное наследство», 1941, т. 43—44. стр. 227—262; М. Штокмар. Народно-поэтические традиции в творчестве Лермонтова. Там же, стр. 263—352.

«...об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр I-й, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию [генерала] Ермолова, а именно в 1824 году».

«Всеобщее предание» о кресте Петра I нашло отражение и в статье в «Московском телеграфе»: «На самой высокой точке переправы через Кавказское ущелье — на вершине Крестовой горы — императором Петром Великим поставлен крест в ознаменование перехода им сими местами с войском своим. Отсюда начало названия горы Крестовой» («Московский телеграф», 1833, № 15, стр. 363).

Название Крестовая дано горе, как было уже указано выше, действительно от каменного креста, но возражение Лермонтова справедливо: крест воздвигнут «по приказанию Ермолова» в 1824 году; Петр I не был ни в Дарьяльском ущелье, ни на Крестовом перевале; в 1722 году он посетил Западный берег Каспийского моря и прилегающую к нему часть Дагестана.

По всей вероятности, Лермонтову была известна статья Павла Бестужева в «Сыне отечества» (1838, № 1) «Замечания на статью «Путешествие в Грузию», помещенную в одном из московских журналов» («Московский телеграф», август, 1833, № 15). Статья П. Бестужева была напечатана незадолго до работы Лермонтова над «Бэлой». В этой статье П. Бестужев писал: «Если г. Гамба перекрестил Крестовую гору в Mont St. Crisophe, то русскому путешественнику стыдно не знать, что Петр I никогда не проходил через Кавказские горы и потому не мог поставить креста на Крестовой горе...» О принадлежности очерка не А. Бестужеву-Марлинскому, как это указано

в журнале, а его брату Павлу см.: Воспоминания Бестужевых. Редакция и комментарии М. К. Азадовского. М. — Л., Изд. Ан СССР, 1954, стр. 700; Б. С. Виноградов. О «Герое нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставрополь, 1965, стр. 21—24.

«Нам должно было спускаться еще верст пять... чтобы достигнуть станции, Коби».

Коби — деревня и почтовая станция у подъема на Крестовую гору. Рассказчик, странствующий офицер, с Максимумом Максимычем едут с юга, из Тифлиса, на север, во Владикавказ. Поэтому для них Коби находилось ниже, па северном склоне между Крестовым перевалом и станцией Казбек, куда они спускались, настигнутые зимней метелью.

«...метель гудела сильнее и сильнее... »

В. М. Фишер обратил внимание на то, что для описания метели у Лермонтова «красок нет, и он передает ее звуками, все метели у Лермонтова особенно певучи... Мы слышим их, но мы их не видим» (В. М. Фишер. Поэтика Лермонтова. — В сб.: Венок Лермонтову. М. — Пг., 1914, стр. 207—208).

С. В. Шувалов заметил, что «пейзаж вводится в роман не просто по связи с местом или временем действия: он нужен для мотивировки переживаний героя (Печорина или рассказчика в двух первых новеллах), как фактор, вызывающий в нем известные настроения, желания, мысли. Поэтому пейзаж рисуется в преломлении психики героя, переносящего в природу свое «я», ищущего в ней успокоения и очищения от пустой и пошлой жизни. Такое отношение к природе вызывает широкое применение в пейзаже приемов анимизации (оживления) и антропоморфизации (очеловечения), а также обилие субъективно-оценочных эпитетов; нередки авторские восклицания, вопросы, обращения к изображаемому. Такова, например, в «Бэле» лирическая картина при спуске к станции Коби». («Герой нашего времени» в школьной проработке. — «Русский язык в советской школе», 1929, № 4, стр. 62).

«И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких раздольных степях!..»

Обращение автора записок к метели как к тоскующей и рвущейся на волю изгнаннице, похожее на стихотворение в прозе, — подсказывает догадку о том, что этот офицер, подобно Лермонтову и Печорину, был подневольным кавказцем, «изгнанником с милого севера в сторону южную».

Байдара — правый приток Терека в его верхнем течении, протекает по Байдарскому ущелью, начинающемуся у станции Коби, где Военно-Грузинская дорога, покинув долину Терека, поднимается к Гудаурскому перевалу; зимою это один из самых опасных и трудных участков дороги, где снежные обвалы грозят жизни путников.

«У меня нет семейства...»

Слова Максима Максимыча напоминают лермонтовское «Завещание» умирающего старого кавказца товарищу (II, стр. 174—175). Эта проза и эти стихи предвосхищают трогательные страницы «Набега» Л. Н. Толстого о капитане Хлопове и его матери (см.: Л. Семенов. Лермонтов и Л. Толстой. М., 1914, стр. 137).

Кавказские служаки чаще всего бывали до конца своих дней холостяками. Об этом писал Лермонтов в очерке «Кавказец»: «Он женится редко, а если судьба и обрекает его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от губительной для русского человека привычки» (VI, стр. 351).

На безбрачии рядовых кавказских офицеров обрекали бытовые условия военной кавказской жизни и материальная необеспеченность (М. Ливенцов. Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов. — «Русское обозрение», 1894, № 4, стр. 753). Декабрист Н. И. Лорер рассказал «грустную, но обыкновенную у нас на Руси повесть» о семейном старике офицере, дошедшем до «вопиющей нищеты» («Русский архив», 1874, кн. 2, стр. 662—663). Известный кавказский офицер Н. П. Колюбакин писал своему боевому товарищу И. Ф. Хлопову о том, что много семейному офицеру, чтобы содержать семью, приходилось прибегать к незаконным поборам и взяткам («Русский архив», 1874, кн. 2, стр. 951).

Привязанность к Кавказу, трудность и дороговизна сообщений с Россией часто навсегда отрезали холостого

кавказца от родного дома (см.: Дурыйлин, стр. 110—119).

«А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, — я княжеская дочь».

Характерно, что Бэла не считает себя пленницей Печорина, она не покорилась ему, но полюбила его как свободная, княжеская дочь.

«Схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать...»

Грация и подвижность Бэлы часто выказываются в танцах. «Как она пляшет!» — расхваливает ее Азамат. «А уж как плясала!» — вспоминает Максим Максимыч. Княжна Мери «вальсирует удивительно хорошо». Таманская контрабандистка поет и прыгает целый день. Прекрасных героинь своих Лермонтов любит показывать в танцах. Пляшет Леила («Хаджи Абрек»), пляшет Тамара («Демон»), Нина («Маскарад»), маленькая Нина («Сказка для детей»), Ольга («Вадим»). Героини Лермонтова часто выражают пляскою то, чего они не могли бы выразить словами.

«...только что порох на полке вспыхнул...»

В кремневых ружьях и пистолетах полкой называлась часть замка, находившаяся с внешней стороны ствола, на которую насыпался порох. При ударе курка, снабженном куском кремня, о стальное огниво, прикрепленное к крышке, прикрывающей полку, появлялась искра, зажигавшая порох на полке. Эта вспышка сквозь отверстие в стволе (затравку) взрывала пороховой заряд, забитый под пулей в ствол ружья или пистолета.

«...у меня несчастный характер...»

Здесь начинается первая исповедь Печорина, его самораскрытие, подготавливающее портрет, нарисованный автором в следующей повести «Максим Максимыч», а затем и «Журнал Печорина», в котором Печорин ведет рассказ от своего лица.

«...любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой...»

К концу 30-х годов XIX века, когда Лермонтов создавал свой роман, разработка мотива любви цивилизован-

ного европейца к «дикарке» была уже широко использованным и привычным явлением в романтической литературе. Отрицательное отношение к европейской цивилизации и поэтизация первобытной «простоты естественного человека» восходят к философии Руссо и к сочинениям Шатобриана (напр., повесть Шатобриана «Атала», в которой «дикарка» освобождает пленника, а затем «Рене» и «Начезы», представляющие один цикл с повестью «Атала»). Особенно яркое выражение руссоистская традиция и разработка мотива любви европейца к «дикарке» получила в некоторых восточных поэмах Байрона (напр., «Гяур», «Корсар»), а также в отдельных эпизодах «Дон-Жуана». Пушкин в романтических поэмах «Кавказский пленник» и «Цыганы» не только следовал европейской традиции, но и глубоко вскрыл иллюзорность, несостоятельность всех этих попыток найти утраченную гармонию в сближении с первобытными, «естественными» условиями жизни. Его Пленник и Алеко терпят полный крах в своих руссоистских иллюзиях. Лермонтов, начав с подражания Пушкину в юношеской романтической поэме «Кавказский пленник», в повести «Бэла» традиционную романтическую историю любви горской девушки к русскому офицеру переключает в принципиально новый реалистический план. Эта романтическая по своему содержанию история не случайно рассказана старым кавказцем, простодушным Максимом Максимычем. Кроме того, в замысле романа очень большое значение имеет противопоставление «любви дикарки» сложной и утомительной игре Печорина с княжной Мери и его мучительной связи с Верой.

«...мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге!»

Предчувствие Печорина, основанное на глубоком понимании своей натуры, сбывается. Как мы узнаем из Предисловия к «Журналу Печорина», «Печорин, возвращаясь из Персии, умер» (VI, стр. 248).

Страсть к путешествиям и особый интерес к жизни и культуре народов Востока — черта автобиографическая. В письме к С. А. Бахметьевой в 1832 году Лермонтов писал: «...право мне необходимо путешествовать; — я цыган» (VI, стр. 411). В конце 1837 года с Кавказа Лермонтов

писал С. А. Раевскому: «Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским» (VI, стр. 441). В последние месяцы жизни Лермонтов полагал, что поездка на Восток интереснее поездки в Америку. В письме к Е. А. Арсеньевой он писал: «Скажите Екиму Шангирею [т. е. А. П. Шан-Гирею], что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее» (VI, стр. 459).

В последний приезд в Петербург, в начале 1841 года, Лермонтов неоднократно говорил с А. А. Краевским о своем интересе к Востоку: «Мы должны жить своею самостоятельную жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам всё тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского мирозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны... там на Востоке тайник богатых открытий» (П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 368).

Об интересе Лермонтова к Востоку см.: Л. П. Гроссман. Лермонтов и культуры Востока. — «Литературное наследство», т. 43-44, 1941, стр. 674—744.

Б. М. Эйхенбаум обратил внимание на то, что страсть к путешествиям, стремление вырваться из России и повышенный интерес к Востоку характерны для настроений дворянской интеллигенции в последекабристский период. Д. В. Веневитинов писал в 1827 году: «Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что я там найду силы для жизни и вдохновения» (Д. В. Веневитинов. Полное собрание сочинений. М. — Л., «Academia», 1934, стр. 344). В драме В. К. Кюхельбекера «Ижорский» герой говорит:

Игралище страстей, людей и рока,
Я счастья в странах роскошного Востока
Искал в Аравии, в Иране золотом,
Под небом Индии чудесной...

(Б. М. Эйхенбаум. Роман Лермонтова «Герой нашего времени». — В кн.: М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (В серии «Литературные памятники»). М., Изд. АН СССР, 1962, стр. 144).

— *А все, чай, французы ввели моду скучать?*

— *Нет, англичане.*

Отвечая так Максиму Максимычу, автор путевых записок имеет в виду сплин (английское слово spleen — в буквальном значении — селезенка, в переносном — хандра, тоскливое настроение, пониженный жизненный тонус, что в старину связывали с заболеванием селезенки). Недуг сплина, охвативший наиболее просвещенную и пресыщенную жизнью аристократическую молодежь Англии в начале XIX века, был одним из проявлений «мировой скорби», в которой нашло свое выражение разочарование в политических и философских идеалах эпохи Просвещения и французской буржуазной революции. Тип хандрящего, разочарованного скептика — Чайльд-Горольд — герой поэмы Дж. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Эти настроения разочарования, скепсиса, хандры получили широкое распространение и у дворянской интеллигенции России в годы торжества реакционной политики Священного союза. Сплин — мрачное состояние духа, характерное и для Онегина, типичного героя конца 10-х и начала 20-х годов XIX века:

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу...

(Пушкин, V, стр. 26)

По справедливому замечанию Н. Л. Бродского, «если... меланхолические признания вырывались у людей не обнаруживавших склонности к общественному делу, пассивно выражавших лишь свое отвращение к пошлости обыденной жизни, то та же объективная жизнь в ее косной стихии вызывала более обостренное, более едкое чувство скуки, хандры в той среде, которая мечтала о сдвигах и переменах в общественной жизни, которая иногда попадала в страдающее положение, слышала окрик чиновных Скалозубов, ощущала тяжелую и давящую лапу деспотического строя.

У Пушкина в политической ссылке то и дело прорывались стоны: «мне скучно»; «у меня хандра»; «скука смертная везде»; «тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне»; «скучно — вот и все»; «часто бываю подвержен так называемой хандре»; «скука есть одна из принадлежностей мыслящего человека».

Н. И. Тургенев в 1814 г. завел «Книгу скуки» и, когда в 1820 г. закончилась неудачей его попытка обратиться к правительству с предложением начать освобождение страны от рабства, писал в дневнике 1 июня: «Безнадежность моя достигла высочайшей степени... Скучная, мрачная будущность, одинокая старость, морозы, эгоисты и бедствия непрерывные отечества — вот что для меня остается!» Его брат С. И. Тургенев в связи с той же неудачей писал 15 июля 1820 г.: «Теперь все веселье мое исчезло. Наши противники обдали меня холодной водой, их любимым элементом, и я проснулся поневоле» (Н. Л. Бродский и. «Евгений Онегин» роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы. Издание третье, переработанное. М., 1950, стр. 100—101).

В годы после разгрома декабристского восстания, в годы общественного упадка и «всеобщего раболепия» разочарование, сплин стали одной из форм выражения дворянской оппозиции николаевскому режиму с его православием и официальной народностью. Эти настроения были близки и понятны Лермонтову и наиболее полное выражение нашли в образе «героя времени» Печорина, затем Лугина в отрывке «Штосс» (1841).

Состояние одержимого сплином человека хорошо обрисовал приятель Лермонтова В. Ф. Одоевский в повести «Записки гробовщика» (Альманах на 1838 год. Спб., 1833, стр. 221—222; ср.: Дурыйлин, стр. 200).

«...Слышала я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превезжливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..»

Об этом другом, историческом Казбиче, Кизилбече Шертулокове см.: М. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. 1. Спб., 1871, стр. 203—204; В. Потто. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т. II. Спб., 1885, стр. 626—628, 638 и др.; Записки генерала М. Ольшевского. Кавказ с 1841 по 1866 г. — «Русская старина», 1895, кн. 6, стр. 173; «Кавказский сборник», вып. XIX, 1898, стр. 50, 168—170, 172, 174, 183—188, 204, 209, 213; А. Ф. Щербина. История Кубанского казачьего войска, т. II. Екатеринодар, 1913, стр. 255—256, 259—260, 272,

276—278, 281—282 и др.: Н. О. Лернер. Оригинал одного из героев Лермонтова. — «Нива», 1913, № 37, стр. 732; Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939, стр. 93—94; А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 49—53; Б. С. Виноградов. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, Северо-Осетинское книжное издательство, 1963, стр. 59—62.

29 февраля 1840 года при взятии горцами форта Вельяминовского Кизилбеч Шертулоков был тяжело ранен и вскоре умер (см. рапорт начальника I отдел. Черноморской береговой линии генерал-лейтенанту Н. Н. Раевскому. — «Архив Раевских». Спб., 1910, т. III, стр. 422).

Правый фланг Кавказской линии простирался от границ Черноморья до Каменного моста на реке Малке и состоял из трех кордонных линий — Кубанской, Лабинской и Кисловодской; последняя, охранявшая Минеральные воды, в военном отношении имела второстепенное значение. См: Воспоминания Г. И. Филипсона. — «Русский архив», 1884, т. I, стр. 367—368.

Шапсуги — вольное черкесское племя, жившее по берегу Черного моря, от Анапы до реки Шахе, и по низовой части Закубанья.

До 1863 года шапсуги отчаянно сопротивлялись русским властям. В 1864 году, теснимые правым флангом русских войск, они получили приказ переселиться на Кубанскую равнину или выселиться в Турцию. О шапсугах см. Л. Люлье. О нутуханцах, шапсугах и абадзехах. — В кн.: Записки Кавказского отделения русского географического общества. Тифлис, 1857, кн. 4, стр. 234—236.

Бешмет — недлинная, обтягивающая стан одежда горцев, мужская и женская, полукафтан, носится под верхней одеждой, то же, что и архалук (ахалук).

«Сознавайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения...»

Как отметил Дурюлин, это обращение к читателю, переносящее внимание на личность Максима Максимыча, как бы подготавливает к следующей повести, где Максим

Максимыч из рассказчика превращается в основное действующее лицо.

Слова автора о Максиме Максимыче и его оценка напоминает аттестацию настоящего кавказца в очерке Лермонтова «Кавказец»: «Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия» (VI, стр. 349).

«МАКСИМ МАКСИМЫЧ»

Эта часть романа появилась в печати в первом отдельном издании «Героя нашего времени» в 1840 году. «Максим Максимыч» примыкает к повести «Бэла» и самостоятельного новеллистического значения не имеет, что ни в какой мере не снижает значения этой части романа для всего произведения в целом. Здесь читатели единственный раз непосредственно встречаются лицом к лицу с Печориным и знакомятся с ним (портрет Печорина). Максим Максимыч появится потом уже в самом конце романа; см. упоминание о нем в повести «Фаталист».

Для понимания и верной оценки образа Максима Максимыча многое дает очерк «Кавказец», написанный Лермонтовым через год после окончания «Героя нашего времени» (т. VI, стр. 348—391). Этот очерк предназначался для задуманного А. П. Башуцким второго сборника «Наши, списанные с натуры русскими», но не был пропущен цензурой¹. Только в 1928 году Н. О. Лернер обнаружил в архиве Н. А. Долгорукова в рукописном отделе Гос. Публичной библиотеки в Ленинграде копию очерка и опубликовал его в журнале «Минувшие дни», 1929, № 4, стр. 22—24. С тех пор очерк «Кавказец» входит во все советские издания сочинений Лермонтова.

Кавказец написан в жанре «физиологического очерка», это один из самых ранних случаев обращения к «физиологическому очерку» в России, относящийся к самому началу 1840-х годов, когда «физиологический очерк» в творчестве Бальзака, Теккерея и Диккенса только начинал появляться во французской и английской литературах. Несколько позднее в России к жанру «физиологического очерка» обратились И. С. Тургенев, В. И. Даль, Ф. В. Бул-

¹ В первом сборнике «Наши, списанные с натуры русскими» (1841) среди вещей, предназначенных для следующего сборника, упомянут и «Кавказец» Лермонтова.

гарин, И. И. Панаев, Н. А. Некрасов, А. С. Афанасьев-Чужбинский, Я. П. Бутков, И. Т. Кокорев и многие другие.

При чтении очерка «Кавказец» сразу же вспоминается не только внешний облик Максима Максимыча, но и отдельные его черты: его трубочка, его загорелое лицо, его ироническая улыбка, его сочувственное отношение к кабардинцам, его холодное мужество, самый тон его многословных бесед. При переходе от последних строк «Фаталиста» к очерку «Кавказец» становится заметной разница только некоторых внешних приемов, вызванная разницей жанров, но читатель не обнаруживает никакого изменения голоса, ни малейшего понижения таланта. В романе мы застаем Максима Максимыча уже старым служакой, которому лет пятьдесят. Мы не знаем его прошлого, история его жизни только угадывается по отдельным намекам. Очерк «Кавказец» позволяет нам восстановить прошлое Максима Максимыча и подобных ему старых кавказцев. С образом Максима Максимыча и кавказца не раз сопоставлялся лирический герой стихотворения Лермонтова «Завещание». См.: Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова. М. — Л., «Наука», 1964, стр. 158—168.

Почти для всех героев романа искали и находили живых оригиналов или прототипов, но не для Максима Максимыча, который сразу был воспринят и всеми признан в качестве ясно выраженного, законченного типа, литературное воплощение которого как будто ожидалось современниками.

До Лермонтова похожие на Максима Максимыча «кавказцы» были выведены в известной в свое время книге «Неправдоподобные рассказы чичероне дель К... о», в трех частях. Спб., 1837. Это прежде всего майор Антон Федорович Хашмин. (Ср.: М. А. Ливенцов. Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов. — «Русское обозрение», 1894, кн. 4, стр. 751—753 и кн. 6, стр. 579—580).

В обрисовке Максима Максимыча отразились и впечатления от появившейся незадолго до романа Лермонтова «Капитанской дочки» Пушкина. Н. Черняев в своей статье о Лермонтове («Южный Край», 1901, № 6925) проследил сходство Максима Максимыча с комендантом Белогорской крепости Иваном Кузьмичом Мироновым и его сослуживцем поручиком Иваном Игнатьичем

(ср.: Б. В. Нейман. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914, стр. 114).

По справедливому замечанию Дурылина, «личности Печорина и Максима Максимыча — контрастны по своему жизненному положению, психологическому содержанию и по месту, занимаемому ими в композиции романа, — контрастны не менее, чем Дон-Кихот и Санчо-Панса, эти образцы жизненного и литературного контраста.

Противопоставление Максима Максимыча Печорину сделалось любимым приемом критиков, публицистов и литературоведов, писавших о «Герое нашего времени», — причем в этих противопоставлениях выражалось обычно с наибольшей яркостью общественно-политическое мировоззрение самих противопоставителей» (Дурылин, стр. 117).

Так, для С. П. Шевырева Печорин был злым порождением «безбожного запада». Отрицая положительное значение образа «злодея» Печорина, Шевырев трактовал образ Максима Максимыча как явление светлое, как одну из опор русской жизни («Москвитянин», 1841, № 2, ч. 1, стр. 524).

Белинский высоко оценил душевное здоровье Максима Максимыча и его моральную чистоту, но в отличие от реакционной критики Белинский никогда не противопоставлял положительного Максима Максимыча отрицательно попятному Печорину (Белинский, IV, стр. 205; стр. 224—225).

Продолжение разработки образа Максима Максимыча в русской литературе обычно усматривают в образе капитана Хлопова в рассказе Л. Н. Толстого «Набег» (1852). Об этом подробнее см.: Л. П. Семенов. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, стр. 137.

Аполлон Григорьев, причисливший Максима Максимыча к «смиренному» типу (противоположен ему «хищный», к которому принадлежат пушкинские Сильвио и Германн и Печорин Лермонтова), недостаточно его понял, назвав его «тупоумным» (см.: А. Григорьев. И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо». — «Русское слово», 1859, кн. 4, отд. II, стр. 34). При этом критик вступает в противоречие с самим собой: ведь сам же он характеризовал пушкинского Белкина, этого брата Максима Максимыча: «простой здравый толк и здоровое чувство...» (Лернер).

В Максиме Максимыче есть папвность, но именно это свойство никогда не бывает присуще тупым людям и часто соединяется с чрезвычайною тонкостью ума. А именно в Максиме Максимыче поражает способность становиться на чужую точку зрения, понимать различные индивидуальные и национальные характеры. Не случайно рассказчик «Бэлы» по поводу одного такого суждения капитана удивляется «неимоверной гибкости» русского ума.

Только воздействием ошибочного мнения о тупости Максима Максимыча можно объяснить, например, упрек В. М. Фишера Лермонтову, что «рассказ слишком художествен для штабс-капитана» и что «невероятно, чтобы Печорин стал исповедываться перед Максимом Максимычем, и еще невероятнее, что последний запомнил от слова до слова его исповедь, которой не понял» (см.: В. М. Фишер. Поэтика Лермонтова. — В сб.: Венок Лермонтову. М., 1914, стр. 233).

«Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Теркское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владикавказ».

Казбек — станция на Военно-Грузинской дороге, у подножия горы Казбек, в 42 верстах от Владикавказа; Ларс — станция на Военно-Грузинской дороге, в 25 верстах от Владикавказа. За Ларсом ущелье, по которому течет Терек, суживается и тут начинается Дарьяльское ущелье, тянущееся к нему верст на 12 по тому же Тереку, почти до самого Казбека. Владикавказ — крепость на Тереке, основанная русскими в 1784 году для защиты Военно-Грузинской дороги от нападения горцев.

Таким образом, автор путевых записок утром расстался с Максимом Максимычем на станции Коби, а к вечеру, проехав 84½ версты, прибыл во Владикавказ. Дальнейший его путь лежал в станицу Екатериноградскую на реке Малке.

А. П. Беляев описал Владикавказ в те годы, когда там бывал Лермонтов: «...крепость Владикавказ составляет ключ к горному проходу в Грузию и за Кавказ. Он имеет обширный форштадт с несколькими правильными и широкими улицами, красивыми домами и садами почти при каждом доме, большую площадь с собором посредине, общественный сад и бульвар по берегу шумного Терека...

Тут была прекрасная каменная гостиница... Площадь обстроена большими домами красивой архитектуры с большими окнами и балконами, откуда открывались во все стороны самые прелестные виды... К югу возвышается снеговой хребет, увенчанный... Казбеком» (А. П. Беляев. Воспоминания декабриста. Спб., 1882, стр. 390—391. См. также: Л. П. Семенов и А. А. Тедтоев. Город Орджоникидзе. Краткий исторический очерк. Орджоникидзе, Северо-Осетинское книжное издательство, 1957).

Начало «Максима Максимыча» напоминает и, может быть, пародирует песню Ашик-Кериба из азербайджанской сказки, записанной Лермонтовым осенью 1837 года: «Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; перед захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда...» (VI, стр. 200).

«Избавляю вас от описания гор...»

Лермонтов в данном случае имел хороший образец — в целомудренной прозе «Путешествия в Арзрум» Пушкина, который на этот раз не вернулся к ярким краскам своего «Кавказского пленника», а лаконически и сдержанно рассказывал: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи... На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше» (Пушкин, VI, стр. 644 и 646). Перед этой простотою казались пошлыми роскошные описания Марлинского и в особенности его сентенции в таком роде: «...я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом; я душой понял тогда, что горы есть поэзия природы» («Вечер на Кавказских водах в 1824 г.»). Только впоследствии молодой Лев Толстой (описание гор и восторги Оленина в III главе «Казаков») мог заговорить об этом «горном чувстве», столь многими испытанном и так трудно выразимом, по-новому, с особой силой искреннего лиризма.

В кавказских поэмах Лермонтова в 1828—1837 гг. «описания гор» занимают видное место. В «Бэле» «описание гор» мотивировано самим содержанием повествования и тесно в него вплетено (встреча офицера с Максимом

Максимычем во время переезда через перевал). К концу 1830-х годов высокопарные описания Военно-Грузинской дороги, Терека и Дарьяльского ущелья, пересыпанные восторженными восклицаниями; стали общим местом. См., например, «Поездка в Грузию»: «Поэты! Живописцы! Спешите сюда!.. Здесь ожидает вас вдохновение! Здесь низойдет на вас могущество творческой силы» («Московский телеграф», 1833, № 15, стр. 359; ср.: Дурыйлин, стр. 201).

«Оказия». Пушкин в первой главе «Путешествия в Арзрум», напечатанного в «Современнике» в 1836 году (т. I, стр. 17—84), подробно описал движение с «оказней» по этой самой дороге, между Екатериноградом и Владикавказом, по которой ему пришлось ехать в 1829 году по пути в Закавказье: «С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и приезжие к ней присоединяются: это называется *оказией*» (Пушкин, VI, стр. 645).

От Владикавказа до Екатериноградской станицы дорога шла через земли кабардинцев и, так как они часто нападали на проезжающих, в 1830 и 1840 годах все еще приходилось из предосторожности составлять обоз из колясок и подвод и сопровождать его военным конвоем, и впереди авангард казаков, потом авангард пехотный и, наконец, пушка, а за нею почта и проезжающие («Московский телеграф», 1833, № 15, стр. 342).

Н. И. Лорер вспоминал: «...нельзя никому ни отстать, ни выдвинуться в сторону, и предосторожности строго соблюдаются. Чуть сломалось что-нибудь у кого бы то ни было, весь караван останавливается и не прежде двигается, как когда всё приведено в порядок» (Н. И. Лорер. Из записок. — «Русский архив», 1874, кн. 2, стр. 653; ср.: Н. И. Лорер. Записки декабриста. М., Соцэкгиз, 1931, стр. 235).

Екатериноград — город при впадении Малки в Терек, когда-то бывший значительной крепостью и даже столицей Кавказской губернии, но потом переименованный в станицу; «играл в то время немаловажную роль: здесь был узел дорог по разным направлениям и паромная пере-

права через р. Малку» (М. А. Ливенцов. Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов. — «Русское обозрение», 1894, кн. 4, стр. 712).

«Казбек в своей белой кардинальской шапке».

Здесь Лермонтов ошибся: кардиналы (высшие сановники католической церкви, ближайшие сотрудники папы) носят красные шляпы.

«...пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея: в его звании нельзя было ошибиться, видя узарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ящика. Он явно был балованный слуга ленивого барина, — нечто вроде русского Фигаро».

Комфортабельная венская коляска на Военно-Грузинской дороге была редкостью и не всегда выдерживала испытания трудного пути. Ср. упоминание венской коляски «приятеля моего О***» в «Путешествии в Арзрум» (Пушкин, VI, стр. 654).

Описанием изумившей Максима Максимыча коляски Печорина и его слуги, который с «презрительной миной» выслушал обещание восьмигривенного па чай, Лермонтов подчеркивает если не богатство, то полную материальную независимость Печорина.

Фигаро — имя ловкого, расторопного слуги, умеющего вертеть своими господами, героя знаменитой трилогии Бомарше (1732—1799): «Севильский цирюльник» (1775), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784) и «Преступная мать» (1792).

«...Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...»

Полковник *Н* — быть может, лицо не вымышленное. П. А. Висковатый, со слов А. П. Шан-Гирея, утверждал, что здесь имеется в виду Петр Петрович Нестеров, состоявший командиром 6-го линейного батальона и живший постоянно во Владикавказе (П. А. Висковатый. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 365). У Нестерова можно было достать не только газеты «Русский инвалид» и «Северную пчелу», но и «Revue Britannique» —

французский журнал, в котором печатались переводы статей из английских журналов и произведения английской художественной литературы (В. В. Боборыкин. Три встречи с М. Ю. Лермонтовым. — «Русский библиофил», 1915, № 5, стр. 71—81). А. М. Дондуков-Корсаков говорил о Нестерове, что это была «замечательно симпатичная и образованная личность; веселая натура его, доброта и обходительность привлекали к нему положительно всех» (А. М. Дондуков-Корсаков. Мои воспоминания. 1840—1844. — «Старина и новизна», кн. V. Спб., 1902, стр. 202; «Кавказский сборник», т. XI, Тифлис, 1887, стр. 371—380, 427—428; Записки М. Я. Ольшевского. — «Русская старина», 1894, кн. I, стр. 135, 153—155; А. Е. Розен. Записки декабриста, Спб., 1907, стр. 223).

В «Русском биографическом словаре» дана небольшая справка о П. П. Нестерове (ум. в 1854 г.), но там указано, что в чин полковника он был произведен только в 1842 году, когда был назначен комендантом Владикавказской крепости. В годы, когда Лермонтов встречал Нестерова и писал «Героя нашего времени», тот был капитаном и майором (см.: Русский биографический словарь, т. Нааке-Накенский — Николай Николаевич старший. Спб., 1914, стр. 254).

«...я дам тебе восьмигривенный на водку...»

Серебряная монета в 4 абаза (двугривенных), чеканившаяся специально для Грузии и ходившая только в Закавказье и на Кавказе.

«...шевырять в печи...»

Шевырять — ковырять, копать, рыться, разгребать кочергой угли, золу.

«Теперь я должен нарисовать его портрет...»

В романе «Герой нашего времени» исключительно большое значение имеет портрет Печорина, нарисованный наблюдательным автором путевых записок, за которым угадывается сам Лермонтов. Предшествуя «Журналу Печорина», этот портрет подготавливает восприятие читателя и многое объясняет в сложной и противоречивой натуре Печорина. Таких детальных психо-физиологических портретов до Лермонтова в русской литературе не было. Портретные характеристики Карамзина — условны и скорее являются попытками раскрыть внутреннее состояние

героя, чем показать в его внешности сущность, личность. Портреты Пушкина очень точны и выразительны, но лаконичны и не представляют такого развернутого анализа внешности героя и его внутреннего содержания, как это удалось сделать Лермонтову в портрете Печорина. От портрета Печорина потом в истории русского романа и повести шли и Тургенев, и Л. Толстой, и Достоевский, и Чехов.

Лермонтов был вообще чрезвычайно внимателен к наружности своих героев. Недаром в этом описании встречается имя Бальзака. Для великого французского романиста была характерна такая подробная физическая детализация индивидуальностей. Как и Бальзак, Лермонтов придавал большое значение физическим чертам человека. Никого из героев своего романа он не описал так подробно, как Печорина; это описание сделано с обстоятельностью наблюдателя-клинициста, владеющего научным методом. У Лермонтова был свой метод. На него он намекает здесь, говоря: «мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях» (VI, стр. 243). Этот метод применяет для распознавания людей и Печорин, в котором воспроизведены многие черты его создателя. Лермонтов, по словам И. С. Тургенева, «до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине» (И. С. Тургенев. Собрание сочинений в двенадцати томах. М., Гослитиздат, 1956, т. 10, стр. 330—331).

Лермонтов не забывает отметить, что у Печорина «зубы ослепительной белизны» (VI, стр. 244); Печорин спрашивает Грушницкого, белы ли зубы у Мери, и тут же замечает: «это очень важно» (VI, стр. 266). Недалекий Грушницкий сердится, что Печорин «говорит о хорошенькой женщине как об английской лошади» (VI, стр. 266), но Печорин в данном случае является таким же «физиологом», как и сам Лермонтов, который с полной объективностью усматривает «породу» в Печорине, как усмотрел бы ее в белой лошади с черной гривой и черным хвостом. В этом замечании сказался кавалерист.

Заслуживает внимания, что «породист» не только Печорин; «породиста», по мнению Печорина, и девушка-контрабандистка.

Как отмечалось выше, Лермонтов уделил большое внимание глазам Печорина. «Они не смеялись, когда он смеялся» (VI, стр. 244). Не была ли эта особенность

в некоторой степени подсказана Байроном? У его Лары странная улыбка:

Лишь на устах скользит она всегда,
Но нет в глазах веселости следа

(замечание Г. Ю. Федерса в его книге «Эволюция типа «странного человека» у Лермонтова». Нежин, 1914, стр. 78). Блеск глаз Печорина «подобен блеску гладкой стали». Эта сталь — холодное оружие. В. М. Фишер привел ряд примеров, показывающих, что Лермонтов любил это сравнение:

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполнены таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали

(«Кинжал», II, стр. 108).

И блистали

Как лезвие кровавой стали
Глаза его... («Измаил-Бей», III, стр. 163)

Таков был и взор Демона:

Пред нею прямо он сверкал,
Неотразимый как кинжал (VI, стр. 211).

(В. М. Фишер. Поэтика Лермонтова. — В сб.: Венок М. Ю. Лермонтова. М., 1914, стр. 206).

Лермонтов вообще относился с особым вниманием к глазам героев своего романа. Черные очи Бэлы «так и заглядывали к вам в душу» (VI, стр. 211), глаза таманской контрабандистки, «казалось, были одарены какою-то магнитической властью» (VI, стр. 255), глаза Вернера «всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли» (VI, стр. 269), у Казбича глаза были «неподвижные, огненные» (VI, стр. 211), у Вулича были «проницательные глаза» (VI, стр. 339), у Веры «глубокие и спокойные» (VI, стр. 278), а у Мерц «бархатные», которые «будто бы тебя глядят» (VI, стр. 265—266). С недоумением смотрит Печорин на лицо слепого мальчика в «Тамани», оно для него загадка: «что прикажете прочесть на лице, у которого нет глаз?» (VI, стр. 251).

В одном из черновых вариантов «Максима Максимыча» Лермонтов в характеристике Печорина первоначально писал: «Если верить тому, что каждый человек имеет сходство с каким-нибудь животным, то конечно Печорина можно было сравнить только с тигром; сильный и гибкий,

ласковый или мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушению минуты, всегда готовый на долгую борьбу, иногда обращенный в бегство, но не способный покориться, не скучающий один в пустыне с самим собою, а в обществе себе подобных требующий беспрекословной покорности: по крайней мере таков, казалось мне, должен был быть его характер физический, то есть тот, который зависит от наших нерв и от более или менее скорого обращения крови, душа — другое дело: душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их: от этого злодеи, толпа, и люди высокой добродетели; в этом отношении Печорин принадлежал к толпе, и если он не стал ни злодеем, ни святым — то это я уверен от лени» (VI, стр. 568—569) ¹.

«Привычки порядочного человека...»

Этими словами Лермонтов характеризует Печорина не с моральной стороны, а с социально-классовой. Если не по форме, то в сущности это галлицизм: по-французски Лермонтов назвал бы Печорина «un homme comme il faut», т. е. человеком «высшего» общества. Максима Максимыча Лермонтов называет «достойным уважения», но не причислил бы его к «порядочным» в том смысле, в каком причисляет к этой социальной категории Печорина.

Ниже в таком же сословно-классовом смысле следует понимать «порядочная женщина», «порядочный человек» в колком разговоре Печорина с Грушницким о Мери: «Если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...» — «Хорошо! И вероятно по-твоему порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..» (VI, стр. 296).

К этой «порядочности» Лермонтов относился иронически. В отличие от «порядочных людей» в данном смысле Лермонтов с уважением упоминает об «истинно порядочных людях», которые умели оценить ум и душу благородного доктора Вернера (т. VI, стр. 268).

«Бальзакова тридцатилетняя кокетка...»

Французский романист-психолог О. Бальзак (1799—1850) в своих очерках «Тридцатилетняя женщина» (1831—1834) и в ряде других произведений по-новому

¹ О портрете Печорина и вообще о мастерстве Лермонтова-портретиста см. во вступительной статье, стр. 46—47.

изобразил европейскую женщину высших классов. Это своего рода аналогия Печорину. Ее анализ дал Г. Брандес в книге «Литература XIX в. в ее главных течениях. Французская литература. Романтическая школа», гл. XIV (СПб., 1895). По словам Г. Брандеса, «Бальзак изобразил тридцатилетнюю женщину, уже оставившую за собой первую молодость, глубже и богаче чувствующую и мыслящую, уже испытавшую разочарования и тем не менее способную к новой страсти. Прошлое оставило на ее лице резкие следы... но героиня Бальзака не утеряла еще всемогущества своего пола» (стр. 172—173).

«...Ни стука колес по кремнистой дороге...»

Ср. в одном из последних стихотворений Лермонтова («Выхожу один я на дорогу...»): «Сквозь туман кремнистый путь блестит» (II, стр. 208).

Лев Толстой считал этот стих «как описание Кавказа, очень метко схваченным впечатлением» (слова Л. Н. Толстого, записанные С. А. Стахович. — В сб.: Толстой и о Толстом. Новые материалы, вып. I. Под ред. Н. Н. Гусева. М., издание Толстовского музея, 1924, стр. 64).

«Я понял его: бедный старик в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, — и как же он был награжден!»

В подорожных и других официальных документах обычно указывалось, едут ли по «казенной надобности» или по «собственной».

«Вы молодежь светская, гордая...»

В этих словах беззлобного Максима Максимыча слышится давно накипевшая обида отнюдь не узколичного свойства, обида затираемого старого служаки. На Северный Кавказ в те времена слетались пскатели легких наград, отпрыски аристократических и богатых семей, которым давалась возможность хватать чины и ордена и потом садиться на шею тем, кто действительно служил честно. «Случалось, — рассказывает Г. И. Филипсон, — и не редко, что предпринималась какая-нибудь экспедиция, стоившая немало крови, в виде угощения какого-нибудь посетителя. Эти походы... были вредны коренным деятелям, офицерам постоянных войск, часто несшим на своих плечах бремя этой беспощадной войны и большею частью

остававшимся в тени» (Г. И. Флипсон. Воспоминания. — «Русский архив», 1884, т. 1, стр. 370).

В романе Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кавказе» один из таких «гастролеров» утешает другого, опасаящегося, как бы им не уменьшили наград, к которым их представило благосклонное начальство: «Как это можно! Уменьшат награды лишь фронтовых офицеров. И в самом деле, на что им так много получать? Для них все хорошо» (Е. Хамар-Дабанов. Проделки на Кавказе, 1844, ч. II, стр. 150—151).

Старый кавказец «ломовик» в воспоминаниях М. А. Ливанцова, толкуя о предстоящей экспедиции, жалуется: «...скоро, вот, понаедут к нам целые легионы гвардионцев, человек шестьдесят прискачет наверно... шестьдесят наград отнимутся у наших многотерпцев-строевиков для украшения этих «украстелей» модных салонов» (М. А. Ливанцов. Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов. — «Русское обозрение», 1894, кн. 4, стр. 698).

«Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч».

Обиженный Максим Максимыч причисляет офицера путешественника, автора записок, к тому же столичному дворянскому кругу, к которому по рождению и воспитанию принадлежит Печорин. У них, действительно, много общего: это люди одного круга, одного поколения, одних интересов. Им обоим свойственна «охота к перемене мест», любовь к Байрону, глубокое, сильное чувство природы, разочарование в русской николаевской действительности. Поскольку личность офицера повествователя проступает в его рассказе, можно и его причислить к «лишним людям». Об этом см.: Б. С. Виноградов. Образ повествователя в романе «Герой нашего времени». — «Литература в школе», 1956, № 1, стр. 20—28.

Флер — прозрачная тонкая ткань.

«Я уехал один».

После этих заключительных слов в черновом автографе было: «Я пересмотрел записки Печорина, и заметил по некоторым местам, что он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло доверенность штабс-капитана. — В самом деле Печорин в некоторых местах обращается к читателям; вы это сами

увидите, если то, что вы об нем знаете, не отбило у вас охоту узнать его короче. — На тетрадках не было выставлено чисел: некоторые, вероятно, потеряны, потому что между ними нет большой связи. — А я несмотря на дурной пример, поданный нам некоторыми журналистами, никак не решился поправлять или доканчивать чужое произведение¹: я только переменял одно: поставил Печорин вместо его настоящей фамилии, за что конечно он сам на меня сердиться не будет» (VI, стр. 570).

Таким образом, в первоначальной редакции «Максим Максимыч» заканчивается прямым переходом или Предисловием к «Журналу Печорина». Но в окончательной редакции Лермонтов от такого варианта Предисловия отказался; он хотел сохранить за записками Печорина всю искренность признаний, обращенных только к самому себя.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЖУРНАЛУ ПЕЧОРИНА»

Автограф Предисловия к «Журналу Печорина» приклеен в тетради, содержащей рукописные тексты «Максима Максимыча», «Фаталиста» и «Княжны Мери». Но в автографе заглавие «Журнал Печорина. Предисловие» отсутствует. (Тетрадь хранится в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде.)

Предисловие к «Журналу Печорина» впервые напечатано перед «Таманью» в первом отдельном издании «Героя нашего времени» 1840 года.

«...Печорин, возвращаясь из Персии, умер».

В повести «Бэла» Печорин говорил Максиму Максимычу: «Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге!» (VI, стр. 232). Печорин сдержал свое слово, отправился в дальнее путешествие на Восток и умер в дороге. Об интересе Печорина и Лермонтова к путешествиям и к Востоку см. в комментарии к «Бэле» стр. 121—122.

«...я видел его только раз в моей жизни на большой дороге...»

Имеется в виду встреча во Владикавказе, описанная

¹ Лермонтов имеет в виду редактора журнала «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского, который произвольно распоряжался чужими рукописями и присочинял целые куски.

в «Максиме Максимыче». Лермонтов еще раз подчеркивает, что Печорин все время в пути, в дороге.

«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...»

Такое заявление было бы невозможно в эпоху классицизма. Только после того как сентименталисты, а затем, главным образом, романтики обратились к раскрытию внутреннего мира человека, к субъекту, рассматривающему весь мир по отношению только к себе, стала возможна попытка создать «историю души человеческой». В «Герое нашего времени» центральная проблема — проблема личности. Но история личности героя в отличие от произведений романтизма рассматривается Лермонтовым в отношении к конкретному обществу и к определенному историческому моменту, что и нашло свое выражение в заглавии романа — «Герой нашего времени».

Через несколько месяцев после выхода в свет первого издания «Героя нашего времени» в «Отечественных записках» появились «Записки одного молодого человека» Герцена. Тут во Вступлении Герцен цитировал Гейне: «Каждый человек, — говорит Гейне, — есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история». Герцен имеет в виду «Путевые картины» Гейне ч. III, Путешествие от Мюнхена до Генуи, гл. XXX. Этот источник, конечно, был хорошо знаком и Лермонтову.

Белинский справедливо усматривал пафос лермонтовской поэзии в «нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности» (VII, стр. 36). Это определение вполне распространяется и на роман Лермонтова.

«Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям».

Эти слова вполне в духе Печорина, который, по его собственному признанию, «к дружбе неспособен». Недоверие Лермонтова к искренности Жан-Жака Руссо (1712—1778) стоит в связи с его юношеским отзывом о романе Руссо «Новая Элоиза, или Письма двух любовников, жителей одного небольшого города у подошвы Альпийских гор» (1761): «Я читаю Новую Элоизу. Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы, и истины...» (VI, стр. 388).

«...мы почти всегда извиняем то, что понимаем».

Н. О. Лернер полагал, что в данном случае Лермонтов перефразировал афоризм из самого известного романа мадам де Сталь (1766—1817) «Коринна, или Италия» (1807): «*Tout comprendre rend très indulgent*» (Кто все понимает, тот становится весьма снисходительным). Д. И. Абрамович указал на зависимость этих слов в Предисловии к «Журналу Печорина» от афоризма Жорж Занд (1804—1876) «*Tout comprendre c'est tout pardonner*» (Все понять — все простить). См.: М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений, т. V. Под ред. и с прим. проф. Д. И. Абрамовича. Спб., 1913, стр. XLIV (Академическая библиотека русских писателей).

«...в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света...»

«Благодарим автора за приятное обещание, — писал Белинский, — но сомневаемся, чтоб он его выполнил: мы крепко убеждены, что он навсегда расстался с своим Печориным. В этом убеждении утверждает нас признание Гёте, который говорит в своих записках, что, написав «Вертера», бывшего плодом тяжелого состояния его духа, он освободился от него и был так далек от героя своего романа, что ему смешно было видеть, как сходила от него с ума пылкая молодежь... Если же г. Лермонтов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он представит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже всё сказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще можно много сказать. Может быть, он покажет его нам исправившимся, признавшим законы нравственности, но верно уж не в утешение, а в пущее огорчение моралистов: может быть, он заставит его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увериться, что это не для него, что он много утратил сил в ужасной борьбе, ожесточился в ней и не может сделать эту разумность и блаженство своим достоянием... А может быть и то: он сделает его и причастником радостей жизни, торжествующим победителем над злым гением жизни... Но то или другое, а во всяком случае искупление будет совершенно через одну из тех женщин, существованию которых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не на

своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей жизни... Так сделали Пушкин с своим Онегиным...» (Беллинский, IV, стр. 269—270).

Белинский оказался прав. Продолжения «Героя нашего времени» не последовало. В бумагах Лермонтова не сохранилось никаких следов какой-либо попытки вернуться к продолжению истории Печорина.

«ТАМАНЬ»

Автограф повести «Тамань» не сохранилось, но в собрании рукописей Лермонтова в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде имеется авторизованная копия «Тамани» с пометкой на 1 листе П. А. Висковатова: «Писано рукою двоюродного брата Лермонтова Ак[има] Павл[овича] Шан-Гирея, коему Лерм[онтов] порою диктовал свои произв[едения]».

До нас дошло сообщение П. С. Жигмонта о том, что Лермонтов «набросал начерно «Тамань» из «Героя»... в Ставрополе, в квартире Семена Осиповича Жигмонта». Это могло быть только осенью 1837 года (об этом подробнее см.: Д. М. Иофанов. М. Ю. Лермонтов. Новые материалы о жизни и творчестве. Киев, 1947, стр. 37—38; ср.: А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 30—31).

В воспоминаниях Д. В. Григоровича есть любопытное указание на то, что ему была известна черновая, ныне утраченная, рукопись повести: «Возьмите повесть Лермонтова «Тамань»: в ней не найдешь слова, которое можно было бы выбросить или вставить; вся она от начала до конца звучит одним гармоническим аккордом; какой чудный язык, как легко, кажется, написано! Но взгляните в первую рукопись: она вся перемарана, полна вставок, отметок на отдельных бумажках, наклеенных облатками в разных местах» (Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1961, стр. 107).

Впрочем, следует отметить, что воспоминания Д. В. Григоровича — источник не очень авторитетный.

Впервые «Тамань» напечатана в журнале «Отечественные записки» (1840, т. 8, № 2, отд. III, стр. 144—154)

с примечанием редакции: «Еще отрывок из записок Печорина, главного лица в повести «Бэла», напечатанной в 3-й книжке «Отечественных записок» 1839 года». Затем повесть вошла в первое издание «Героя нашего времени» 1840 года и во все последующие издания.

В истории создания «Тамани» имеют значение не только личные впечатления Лермонтова, полученные им во второй половине 1837 года во время странствий по Кавказу, и в частности в Тамани, но и историко-литературные традиции и источники, до сих пор недостаточно проясненные. Так, в самых общих чертах указывалось, что в «Тамани» Лермонтов продолжил традиции Пушкина-прозаика. По-пушкински живо и стремительно развивается действие. Экспозиция заключена в двух строчках, которые сразу же вводят в содержание этой краткой повести: «Я там чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить». И сразу же развитие действия: «Я приехал на перекладной тележке поздно ночью» (VI, стр. 249). События развертываются в течение суток, молниеносно следуют одно за другим. Безусловно, Лермонтов опирался также и на традиции европейской романтической разбойничьей повести, но ставшие уже привычными романтические положения и образы он низвел в реальную южно-русскую жизнь, показал в повседневном и грубом быте. Однако от этого реалистическое повествование не утратило своей волнующей поэтичности (см. выше, стр. 48—49).

Повесть Лермонтова «Тамань» поражает своим лаконизмом. Автор «не рассуждает, не дает пояснений, ничто не навязывает читателю: он только рисует, предполагая в читателе достаточно тонкого судью. Мы не знаем прошлого контрабандистов, мы не знаем точно положения дел их; по нескольким осторожно брошенным намекам мы должны сами дополнить картину, причем мы знаем не больше автора, но видим все то, что он видит. Нам предоставлена полная свобода отношения к изображаемым героям» (В. М. Фишер. Поэтика Лермонтова. — В сб.: Венок Лермонтову. М., 1914, стр. 234).

С. В. Шувалов отметил «некоторую недоговоренность и неясность в жизни контрабандистов и в их взаимных отношениях, оставляющую достаточно простора для работы нашего воображения...» (С. В. Шувалов. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., ГИЗ, 1925, стр. 134).

По справедливому замечанию Е. Н. Михайловой, «всю поэзию, красоту, лиризм, присущие его мастерству, Лермонтов обратил на передачу всесильного обаяния свободы, непокорства, бесстрашия, борьбы с людьми и стихией. Жизнь контрабандистов он сплел с жизнью моря и внес этим самым в нее черты мощной суровой поэзии» (Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 249—271; см. также: В. А. Евзерихина. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Лекция в помощь студентам-заочникам, вып. 17. Новосибирск, 1959, стр. 6 и В. А. Евзерихина. Мастерство Лермонтова в «Герое нашего времени» («Тамань»). — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставрополь, 1965, стр. 35—44).

Как отметила Е. Н. Михайлова, в «Тамани» Лермонтов почти ничего не говорит о переживаниях и мыслях Печорина. «Внутренний мир его здесь еще для читателя закрыт. Но характер Печорина четко выступает из описываемых событий. По сравнению с «Белой» на первом плане здесь не печоринские «странности», — то есть непопятная противоречивость его натуры, а, наоборот, упругая волевая собранность в моменты, когда надо и можно действовать. Этому способствует центральная ситуация, в которой он здесь выведен. Вместо истории психологических (любовных) отношений... здесь Печорин поставлен перед лицом непосредственной опасности, угрожающей жизни и требующей немедленного отпора. И здесь (сцена с девушкой в лодке) вдруг в грозном блеске раскрываются обычно свернутые, томящиеся бездействием силы печоринской натуры... Все от начала и до конца в этом цикле событий движется силой печоринской воли. Его зоркая наблюдательность, настойчивый, последовательный интерес к неизвестному, а пуще всего влечение к опасности и действию, напрягая его безотказно работающую, почти смертоносную волю, создали из заурядно-житейских обстоятельств остро захватывающие приключения... В «Тамани», как и в «Бэле», Печорин показан снова не в кругу людей одинакового с ним социального и культурного уровня, но в среде, глубоким рубежом отделенной от привилегированной господствующей верхушки» (Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 249—250).

«Тамань» — одно из самых совершенных созданий в истории русской классической прозы — еще при жизни Лермонтова была высоко оценена Белинским: «Повесть эта отличается каким-то особенным колоритом: несмотря на прозаическую действительность ее содержания, все в ней таинственно, лица — какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца. Особенно очаровательна девушка: это дикая, сверкающая красота...

...Что касается до героя романа — он и тут является тем же таинственным лицом, как и в первых повестях. Вы видите человека с сильною волею, отважного, не бледнеющего никакой опасности, напрашивающегося на бури и тревоги, чтобы занять себя чем-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и деятельностью без всякой цели» (Белинский, IV, стр. 226—227).

В 1840 году «Тамань» «чертовски поразила» А. В. Кольцова (см. его письмо к В. Г. Белинскому: А. В. Кольцов. Полное собрание сочинений, 1909, стр. 212).

И. С. Тургенев признавал, что «из Пушкина целиком выработался Лермонтов — та же сжатость, точность и простота...» «Какая прелесть «Тамань!» — восклицал он» (см.: А. Луканина. Мое знакомство с И. С. Тургеневым. — «Северный вестник», 1887, № 2, стр. 54).

Л. Н. Толстой в списке книг, оказавших на него влияние, отметил «Героя нашего времени», который произвел на него «очень большое впечатление». В 1909 году на вопрос С. Н. Дурылина, какое из произведений русской поэзии он считает совершеннейшим, Л. Н. Толстой, колеблясь, назвал «Тамань» (см.: Н. Н. Апостолов. Лев Толстой и его спутники. М., 1928, стр. 15).

А. П. Чехов считал «Тамань» образцом русской прозы: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова, — говорил Чехов. — Я бы так оделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах — по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать» (см.: С. Щуккин. Из воспоминаний об А. П. Чехове. — «Русская мысль», 1911, кн. 10, стр. 46).

Говоря о «Тамани», А. П. Чехов отказывался понять, «как мог Лермонтов, будучи почти мальчиком, сделать это», и мечтал «написать такую вещь... тогда бы и уме-

реть можно!» (О Чехове. Воспоминания и статьи. М., 1910, стр. 17).

В 1888 году в письме к Я. П. Полонскому А. П. Чехов писал: «Может быть я не прав, но лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка»... прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящною прозой» («Русская мысль», 1911, кн. 10, стр. 46; ср.: А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. 14. М., Гослитиздат, 1949, стр. 18).

Д. В. Григорович в 1888 г. писал Чехову: «...образец повести, по-моему, «Тамань», — пусть все литераторы соберутся, и ни один не найдет слова, которое можно было бы прибавить или убавить, там все как цельный музыкальный аккорд» (Слово. Сборник II. К 10-летию смерти Чехова. М., 1914, стр. 202).

«Сколько надо было, — писал Иннокентий Анненский, — иметь ума и сколько настоящей силы, чтобы так глубоко, как Лермонтов, чувствуя чары лунно-синих волн и черной паутины снастей на светлой полосе горизонта, оставить их жить, светиться, играть, как они хотят и могут, не заслоняя их собою, не оскорбляя их красоты... Или в последней сцене, покинув на берегу слепого мальчишка, так и покинуть его тихо и безутешно плачущим и не обмолвиться напоследок ни словом о родстве своем...» (И. Анненский. Юмор Лермонтова. — В кн.: Вторая книга отражений. Спб., 1909, стр. 26).

«Тамань» оказала несомненное влияние на рассказ Николая Николаевича Толстого, старшего брата Льва Николаевича, «Пластун». Его герой попадает на Черноморское побережье Кавказа в среду контрабандистов, но входит в нее не как враг, а как друг. Молодая девушка Оксана любит контрабандиста Бешпапашного, очень напоминающего лермонтовского Янко. Он «всегда приезжает в бурю или в темную ночь... он в темную ночь раза два или три отправляется в море и всякий раз привозит груз товара; он тогда весел, — говорит Оксана, — смеется и шутит, и я весела при нем, а когда он отчалит и плывет к кораблю, на котором чуть виден мелькающий огонек, я сижу у открытого окна и не слышу, как ветер шумит, как дождь льется; не слышу, как бьется мое сердце». Своих героев Н. Толстой оставляет в такой же неизвестности, как и Лермонтов: «...не знаю, удалось ли ему нако-

лотить мошну, купить дом, пожениться, и где теперь он и Оксана. Бог знает!» («Красная новь», 1926, кн. 5 и 7). В 1857 году Н. П. Огарев написал стихотворение «У моря» («Дождь и холод! А ты все сидишь па скале...»), являющаяся поэтическим откликом на лермонтовскую «Тамань» (Н. П. Огарев. Избранные произведения, т. 1. М., Гослитиздат, 1956, стр. 303—304).

В 1890 году был напечатан рассказ А. П. Чехова «Воры», одна из самых его поэтических вещей. В этом рассказе, как уже не раз отмечалось в работах о Чехове, и общее содержание, и обстановка, и некоторые характеры, и даже отдельные положения — все отмечено влиянием Лермонтова (см.: Н. К. Пиксанов. О классиках. М., Моск. товарищество писателей, 1933, стр. 271—292).

«Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России»

Тамань — городок, название которого Лермонтов взял для заглавия повести, находится на крайней западной оконечности Кавказа, у восточной Таманской бухты Керченского пролива, отделяющего Кавказ от Крыма. На этом месте была древнегреческая колония Фанагория, а затем столица русского удельного княжества Тьмутаракань (X—XI вв.). Во времена Лермонтова из Тамани шел почтовый тракт (210 верст) на Екатеринодар (ныне Краснодар), отсюда на Ставрополь, центр Северного Кавказа. Тамань входила в черту военной черноморской береговой линии: близ Тамани находилась небольшая крепость Фанагория, построенная в 1792 году А. В. Суворовым, но к 30-м годам XIX века утратившая всякое военное значение. Здесь находился военный госпиталь и провиантский магазин (склад).

В 1820 году через Тамань проезжал Пушкин, в то время там было «жителей не более двухсот» (Гавриил Гераков. Путевые записки по многим Российским губерниям, 1820. Петроград, 1828, стр. 113), а в конце 1850-х годов около полутора тысяч да около полутораста домов, «большею частью земляных и сложенных из обломков старинных каменных зданий, отрываемых из-под земли; эти приземистые домики покрыты черепицей и землей... Общественных заведений, кроме убогой гостиницы и первоначального училища, никаких» (И. Попка. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту.

Спб., 1858, стр. 62; ср.: Кавказский календарь на 1850 год. Тифлис, 1849, стр. 78—79 и В. Соколов. Тамань в прошлом и настоящем. Керчь, 1914).

Тихая жизнь этих мест несколько оживлялась, когда неподалеку на западной части черноморского побережья разгорались бои с шапсугами.

А. А. Попов обратил внимание на то, что Лермонтов посетил и описал Тамань после стихийного бедствия, обрушившегося на городок в 1834 году. Это бедствие и послужило главной причиной запустения Тамани. По словам кавказоведа М. Селезнева, чудовищной силы вихрь налетел в 1834 году «на песчаную лощину и, разворачивая ее постепенно, раскидал песок подобно вулканическому извержению, засыпав зеленую равнину, пахати, сады, дома жителей, развалины [турецкой крепостц]» (Руководство к познанию Кавказа. Книжка вторая. Спб., 1847, стр. 265). Последствия урагана были очень тяжелыми.

Лермонтов посетил Тамань в сентябре 1837 года; здесь ему пришлось задержаться в ожидании корабля, на котором он должен был отправиться в Геленджик. (О пребывании Лермонтова в Тамани в 1837 году см.: Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939, стр. 86—87; А. В. Попов. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954, стр. 98—101; А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 30—41).

В Тамани, как сообщал еще П. А. Висковатый, «поэт испытал странного рода столкновение с казачкою Царицхой, принявшей его за тайного соглядатая, желавшего накрыть контрабандистов, с которыми она имела сношения. Эпизод этот послужил поэту темою для повести «Тамань». В 1879 году описываемая в этой повести хата еще была цела...» (П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 252).

«...В 1838 году, — рассказывает товарищ Лермонтова М. И. Цейдлер, — Тамань была небольшим, невзрачным городишком, который состоял из одноэтажных домиков, крытых тростником; несколько улиц обнесены были плетневыми заборами и каменными оградами. Кое-где устроены были палисадники и виднелась зелень. На улицах тихо и никакой жизни.

Мне отвели с трудом квартиру, или, лучше сказать, мазанку, на высоком утесистом берегу, выходящем к морю мысом. Мазанка эта состояла из двух половин, в одной из коих я и поместился...

...Я почти весь день проводил в Тамани на излюбленной завалинке; обедал, читал, пил чай над берегом моря в тени и прохладе. Однажды, возвращаясь домой, я издали заметил какие-то сидящие под окнами моими фигуры: одна из них была женщина с ребенком на руках; другая фигура стояла перед ней и что-то с жаром рассказывала. Подойдя ближе, я поражен был красотой моей неожиданной гостьи. Это была молодая татарка лет 19-ти с грудным татарчонком на руках... Вообще вся она была изящна; прекрасное лицо ее выражало затаенную грусть. Собеседник ее был мальчик в сермяге, босой, без шапки. Он, казалось, был слеп, судя по бельмам на глазах. Все лицо его выражало сметливость, лукавство и смелость. Несмотря на бельма, ходил он бойко по утесистому берегу. Из расспросов я узнал, что красавица эта — жена старого крымского татарина, серебряных дел мастера, который торгует оружием, и что она живет по соседству, в маленьком сарае, на одном со мной дворе; самого же его здесь нет, но что он часто приезжает. Покуда я расспрашивал слепого мальчика, соседка тихо запела свою заунывную песню... Слепой мальчик сделался моим переводчиком. Всякий раз, когда она приходила посидеть под окном, он, видимо, следил за ней. Муж красавицы, с которым я познакомился впоследствии, кушив у него прекрасную шашку и кинжал, имел злое и лукавое лицо, говорил по-русски неохотно, на вопросы отвечал уклончиво; он скорее походил на контрабандиста, чем на серебряных дел мастера. По всей вероятности, доставка пороха, свинца и оружия береговым черкесам была его промыслом.

Сходство моего описания с поэтическим рассказом о Тамани в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова заставляет меня сделать оговорку: по всей вероятности, мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел

речь» (М. И. Цейдлер. На Кавказе в 30-х годах. — «Русский вестник», 1888, № 9, стр. 135, 138—139).

В 1891 году появилось сообщение О. Арканникова о жившем тогда в Темрюке отставном офицере, который хорошо помнил девушку-контрабандистку, выведенную Лермонтовым в его повести; и дом над обрывом все еще существовал («Русский архив», 1891, т. III, стр. 575).

Поэт В. А. Шуф, выступавший в печати под псевдонимом Борей, сообщал, что какой-то есаул Ф., родом из Тамани, с которым он познакомился в Персии, рассказал ему о таманском звонаре Яшке, который умер в конце XIX века и действительно был подслепой. «Он хорошо помнил Лермонтова, которому прислуживал во время пребывания поэта в Тамани, и любил о нем рассказывать. «Слепой мальчик» превратился в старого звонаря... Звонарь Яшка, рассказывая о Лермонтове, почему-то упорно молчал только о Мишоне поэта. Может быть, в детстве Яшка действительно помогал контрабандистам, и о многом вспомнить ему было неудобно». И так, в «Тамани» Лермонтова, — заключил репительно В. А. Шуф, — «старуха, в доме которой он жил, была казачка Царициха, слепой мальчик — Яшка, и лишь о главном лице повести, девушке, чуть было не утопившей поэта, мы ничего не знаем» («Новое время», 1912, № 13079).

Геленджик — укрепление южнее Анапы, на казказском берегу Черного моря, заложенное русскими войсками в 1831 году. Ныне морской курорт.

«Опоясал кинжал».

В смысле «опоясаться кинжалом», надеть пояс с пристегнутым к нему кинжалом, — выражение чисто военное. У Марлинского («Вечер на Кавказских водах в 1824 году») читаем: «полковник... опоясал саблю».

«В тот день немые возопиют...»

Печорину пришли на память библейские тексты, вероятно, из книги пророка Исаи: «И в тот день глухие услышат слова книги, и глаза слепых прозрят из тьмы и мрака» (гл. 29, стих 18; ср. гл. 35, стихи 5—6).

«Пена валунов».

Случайная обмолвка вместо «валов». Валун — камень, и в настоящем смысле Лермонтов правильно воспользо-

вался этим словом в стихотворении «Дары Терека», где Терек говорит морю:

Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов, им на славу,
Стадо целое пригнал... (II, стр. 128)

т. е. камней, оторванных Терекон в Дарьяльском ущелье.

«— Что слепой? — сказал женский голос...»

Этот голос долго занимал Печорина, которому лишь на другой день удалось увидеть «ундину». Печорина он влек так же, как влек путников голос властительницы Дарьяльского ущелья («Тамара»): «...на голос невидимой пери шел воин, купец и пастух...» Таманская контрабандистка похожа на легендарную царицу: тоже «прекрасна как ангел» и «как демон коварна» (II, стр. 202).

«Черноморский урядник».

Урядник Черноморского казачьего войска — то же, что в армии унтер-офицер, в наше время соответствует сержанту.

«Как по вольной волюшке...»

Страстным стремлением к свободе эта песня контрабандистки превосходит песню другой русской девушки, песню Любы из «Медвежьей охоты» Некрасова («Отпусти меня, родная...»):

Не рыбацкий парус малый,
Корабли мне снятся.
Скучно! в этой жизни вялой
Дни так долго длятся...

«Магнетическая власть».

У Мери тоже «магнетические глазки» (VI, стр. 274); там же читаем: «магнетическое влияние сильного организма» (VI, стр. 279). В наше время термин «магнетизм» было бы правильнее заменить понятным «гипнотизм», силой внушения. В 1820—1830-х годах как в Западной Европе, так и в России много писали и говорили о магнетизме. Был даже ряд магнетизеров-практиков, особенно целителей, действовавших именно своим пристальным взглядом. Подобное выражение есть и в «Евгении Онегине»: «сила магнетизма» (гл. VIII строфа XXXVIII). В неоконченном рассказе Лермонтова «Штосс» Лутин столбенеет под

магнетическим влиянием серых глаз своего партнера (VI, стр. 364).

«Порода большую часть избличается в поступи, в руках и ногах».

Впервые увидев княжну Мери, Печорин обращает особенное внимание на ее «сухощавую ножку» и походку. Впоследствии он отмечает, что у нее «маленькая пожка» и «маленькая ручка» (VI, стр. 264 и 316).

«Правильный нос в России реже маленькой ножки...»

Здесь намек на известное лирическое отступление в «Евгении Онегине» (гл. I, строфа XXX).

«...порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции...»

Эти слова, вероятно, являются перифразом стихов В. Гюго: из сборника «Les chants du crépuscule» (1835):

«Et ce jeune énervé ...qui n'admire à Paris
Què les femmes de race et les chevaux de prix»

(Этот издерганный юноша... который поклоняется в Париже только женщинам хорошего рода и призовым лошадям). Слова Печорина явно ироничны, так как Гюго «издерганному поколению» противопоставляет героическую фигуру Канариса (в стихотворении «Канарис»).

«...Юная Франция» (Jeune France) — так называли себя молодые французские поэты и писатели романтического направления, объединившиеся после революции 1830 года вокруг молодого В. Гюго (А. де Виньи, Эм. Дешамп, Шарль Нодье, Шендолле и др.). Участники этой группы носили блузы и отпускали длинные волосы (см. упоминание в романе «Княгиня Лиговская», VI, стр. 160).

Гётева Миньона.

Героиня романа И.-В. Гёте (1749—1832) «Ученические годы Вильгельма Мейстера» (1777—1796). Песня Миньоны «Kennst du das Land» в конце 1830-х годов была известна в России в нескольких переводах. В этом романе встречается фамилия Вернер, может быть, бессознательно перенесенная Лермонтовым в «Княжну Мери».

Лермонтовской характеристике Миньоны предшествовала другая, которую дала мадам де Сталь в своей книге «О Германии»: «Странная смесь ребячества с глубиной, серьезности с воображением... Личность Миньоны таин-

ственна как сон. Нельзя себе представить без волнения ни одного движения этой девушки; ей присуща какая-то волшебная простота, под которою можно предположить бездну мыслей и чувств; как будто слышишь бушующую в глубине ее души грозу, но в то же время не можешь привести ни одного слова, ни одного обстоятельства в объяснение невыразимого беспокойства, внушаемого ею» (ч. II, гл. XXVIII).

Юная таманская контрабандистка, видимо, такого же непростого происхождения, как героиня «Ученических годов Вильгельма Мейстера»; своей Миньоне Гёте также придал «охоту к лазанью», «уменье взбираться на высочайшие вершины, бегать по самому краю лодки» (Гёте. Собрание сочинений, т. IV. Спб., 1894, стр. 377).

Образ лермонтовской девушки-контрабандистки иногда также сближали с образом Эсмеральды, героини романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1830—1831). Этот роман произвел на современников сильное впечатление и, конечно, был хорошо знаком Лермонтову. Указание на связь образа лермонтовской героини с Эсмеральдой впервые сделано С. П. Шевыревым («Москвитянин», 1841, ч. 1, № 2, стр. 527). Сопоставляя творчество Лермонтова с произведениями его предшественников в русской и западноевропейской литературе, Шевырев стремился доказать несамостоятельность Лермонтова и не видел, что при внешнем совпадении мотивов, ситуаций и образов Лермонтов всегда ставил и решал другие художественные задачи. Мотивировка поступков и всего жизненного поведения героини «Тамани», ее речи, ее отношение к Печорину с романтическим образом Эсмеральды, по существу, имеют мало общего.

Анализ образа девушки-контрабандистки см.: Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 259—262.

«Она... скрылась как птичка... Она, как змея, скользнула между моими руками...»

В стихотворении «К портрету» (1840 г.), посвященном А. К. Воронцовой-Дашковой, Лермонтов писал:

Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь, ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка (II, стр. 164).

«...Моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно...»

Ундина — созданное воображением германо-скандинавских народов существо, соответствующее славяно-русской русалке. образу этому дал в начале XIX века новую жизнь немецкий романтик Ламонт-Фуке своею повестью «Ундина», которую В. А. Жуковский перевел в стихах на русский язык (вышла в свет в 1837 году). У героини этой повести, загадочного существа не человеческого происхождения, нет души, но она ее обретает, полюбив человека. Ее появление похоже на появление прекрасного призрака в отрывке «Штосс»: «...он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание; и слабый шорох, и вздох невольный... склонясь над плечом, сияла женская головка, ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая...» (VI, стр. 365).

Образ русалки-ундины часто встречается в творчестве Лермонтова; ср. «Русалка» (1836), «Мцыри» (1839), «Морская царевна» (1841).

«Я мгновенно сбросил ее в волны...»

В наброске первоначального плана «Тамани» «Я в Тифлисе» (VI, стр. 383) происходит такая же борьба: «Он хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил» (с моста в Куру).

«Дагестанский кинжал».

Самое лучшее кавказское холодное оружие издавна производилось в Дагестане; особенно славилось своими оружейниками селение Большие Казанищи.

«Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»

Те же жалобы звучат в «Княжне Мери», в словах Печорина: «Я был необходимое лицо пятого акта» (VI, стр. 301) и в записи о дуэли: «И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы!» (VI, стр. 321). Ср.: замечание Максима Максимыча о Печорине: «Ведь есть, право, такие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи» («Бэла», VI, стр. 209).

Честные контрабандисты.

И. Л. Андроников полагает, что «эти простые люди, жившие над морским обрывом в Тамани, названы «честными контрабандистами» потому, что они тайно доставляли горцам оружие — честную контрабанду, ибо она помогала в борьбе за независимость и честь свободолюбивых народов Кавказа с царским самодержавием» (И. Андроников. Лермонтов. Новые разыскания. М., «Советский писатель», 1948, стр. 142; ср.: И. Андроников. Лермонтов. М., «Советский писатель», 1952, стр. 209).

С таким пониманием этих слов не соглашается Б. С. Виноградов. Он пишет: «Участникам кавказской войны было известно о том, что горцы снабжались оружием из Турции и Персии, вернее через них. Знаменитый русский хирург Н. И. Пирогов, приехав на Кавказ в 1847 году, столкнулся с ужасными огнестрельными ранениями, произведенными оружием горцев. Пирогов писал, что пушки горцев «большой частью турецкие или персидские» (Н. И. Пирогов. Отчет о путешествии по Кавказу. М., Медгиз, 1952, стр. 62). Один из современников вспоминал: «...наше оружие было ужасно плохо. Это были гладкоствольные кремневые ружья, которыми стрелять далее чем на сто шагов было бесполезно, между тем горцы были вооружены винтовками, бившими более чем вдвое дальше» (В. А. Бельгард. Автобиографические воспоминания. — «Русская старина», 1899, кн. 2, стр. 413). Русским войскам приходилось непосредственно сближаться с противником, чтобы в рукопашных схватках решать исход сражения. Но мог ли Лермонтов одобрительно относиться к вмешательству других держав в Кавказскую войну. Мог ли он одобрять действия тех, кто помогал этому вмешательству? Нам думается — нет. Так почему же все-таки — «честные контрабандисты»?

Только в 30-х годах XIX века было официально уничтожено на Кавказе рабство «как несвойственное, по законам, Российскому подданному». Но и после этого работорговля продолжалась длительное время. В городе Кизляре и в кумыкском селении Эндери (Андреевском) существовали явные, а потом тайные «ясырь-базары». Купленных здесь рабов переправляли на кавказское побережье, «откуда ежегодно продавалось в Турцию до 4 тыс. пленников» (см.: Н. А. Смирнов. Политика России на

Кавказе в XVI—XIX веках. М., Соцэкгиз, 1958, стр. 191—192). «Контрабандисты из «Тамани», по словам Янко, перевозили «богатые товары», а не оружие и не людей. Работоторговлей, невольничеством они не занимались. Лермонтов потому и назвал их *честными*. Намек приобретал политический характер. Контрабандисты оказались честнее тех, кто торговал людьми, то есть не только работоторговцев на Кавказе, но и крепостников в России» (Б. С. Виноградов. О «Герое нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставрополь, 1965, стр. 33—34). Комментарий Б. С. Виноградова представляется более убедительным.

«...с подорожной по казенной надобности».

Для того чтобы получить на почтовой станции почтовых лошадей, прежде требовалось предъявление подорожной, официального документа, удостоверяющего личность и права едущего. Подорожные выдавались с обозначением: по казенной (служебной, государственной) или личной, частной надобности едет путник. Тут же указывалось, сколько лошадей соответственно своему чину и званию имеет право требовать предъявитель. При выдаче подорожных в канцеляриях петербургского и московского военных генерал-губернаторов взыскивалась за весь путь следуемая сумма дорожного сбора. Получавшие подорожные от прочих губернских учреждений и из уездных казначейств должны были предъявлять подорожные на первой шоссейной заставе и уплачивать причитающийся с них дорожный сбор за все расстояние, которое предстоит проехать. На почтовых станциях подорожные записывались в шнуровые книги.

«КНЯЖНА МЕРИ»

Черновой автограф повести «Княжна Мери» имеется в тетради Лермонтова, хранящейся в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. Вся рукопись «Княжны Мери» писана рукой Лермонтова, за исключением части от слов: «Нынче поутру у колодца», кончая словами «и хотел разгорячиться». Эта часть писана ру-

кою А. П. Шан-Гирея, но и здесь обнаруживается правка, сделанная самим Лермонтовым.

Судя по этой рукописи, «Княжна Мери» (лл. 15—37) была вписана в тетрадь после «Максима Максимыча» (лл. 1—7) и «Фаталиста» (лл. 8—14). По-видимому, в истории создания романа был такой момент, когда по композиционным соображениям Лермонтов принял именно такой порядок повестей. Но работа над «Княжной Мери» была начата значительно раньше, а задумана повесть, может быть, еще в Пятигорске летом 1837 года (см.: Воспоминания Н. М. Сатина. — «Почин», кн. I, 1895, стр. 239).

Впервые «Княжна Мери» напечатана в первом отдельном издании «Героя нашего времени» в 1840 году, затем во всех последующих изданиях романа. В рукописном тексте, по сравнению с печатным, есть заслуживающие внимания варианты (см. VI, стр. 574—607). Некоторые из них учтены в нашем комментарии.

«Княжна Мери» — основная часть записок Печорина. В отличие от «Тамани» и «Фаталиста» это «журнал», дневная запись в точном смысле этого слова. Отсюда — кажущаяся небрежность, случайность записей Печорина. На самом деле и в этой повести, в первой ее части, написанной в форме дневника, и во второй части, охватывающей события дуэли и после дуэли, — удивительная соразмерность частей и, точнее, чувство целого. За мнимым автором записок — Печориным — стоит настоящий их создатель — Лермонтов.

В композиции «Героя нашего времени» повесть «Княжна Мери» занимает центральное место. До сих пор Печорин показывался или извне, или в действии («Тамань»). Теперь откровенные дневниковые записи раскрывают перед читателем внутренний, полный противоречий мир этого сложного человека. И вместе с тем именно в «Княжне Мери» наиболее широко показаны время, эпоха, жизнь современного Печорину дворянского общества, быт и нравы посетителей Кавказских минеральных вод. По удачному определению Е. Н. Михайловой, «не только герой, но и общество в его отношении к герою выступает здесь как важнейший элемент идейно-художественного целого. Оно фигурирует здесь и как конкретный фон действия («водяное общество»), и в лице отдельных своих представителей, сталкивающихся с Печориным, и, наконец, как

социальное целое, как историческая среда, к понятию которой обращается мысль героя для уяснения своих судеб» (Е. Н. Михайлова, Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 290—291).

По жизненному материалу «Княжна Мери» ближе всего к так называемой «светской повести» 30-х годов с ее балами, дуэлями и пр. Но у Лермонтова все приобретает другой смысл и характер, поскольку в основу положена другая задача: раскрыть картину душевной жизни современного человека, героя времени. Здесь Лермонтов завершает те опыты, которые он начал в романе «Княгиня Лыцковская» и драме «Два брата». Автохарактеристика Печорина: «Да! такова была моя участь с самого детства» (VI, стр. 297) — перенесена из драмы «Два брата» (V, стр. 415—416).

Тотчас же после появления в свет первого издания «Героя нашего времени» Белинский писал о «Княжне Мери»: «Эта повесть разнообразнее и богаче всех других своим содержанием, но зато далеко уступает им в художественности формы. Характеры ее или очерки, или силуэты, и только разве один — портрет. Но что составляет ее недостаток, то же самое есть и ее достоинство, и наоборот» («Отечественные записки», 1840, т. XI, кн. 7, отд. 5, стр. 3; ср.: Белинский, IV, стр. 227).

Б. М. Эйхенбаум в ряде изданий сочинений Лермонтова, вышедших под его редакцией, в повести «Княжна Мери», начиная с записи от 22 мая, восстановил по рукописи датировки, поскольку в печатный текст вкрались явные ошибки. Так, в записи от 21 мая говорится: «Завтра бал по подписке в зале ресторации»; следующая запись, рассказывающая о событиях на балу и сделанная, очевидно, непосредственно после него, датирована в автографе правильно — 22 мая, а в печати ошибочно — 29 мая. Это вносит явную бессмыслицу, усугубляемую тем, что в следующей записи, датированной в автографе 23 мая, а в печати — 30 мая, Грушницкий благодарит Печорина за то, что Печорин *вчера* (т. е. 22 мая, как и должно было быть) защитил Мери. Далее в печатных датировках появляется еще одна бессмыслица, — явный результат недосмотра: после даты «6-го июня» следует дата «13 июня» (в автографе в первом случае «22 мая», во втором — «30 июня»), а затем «12-го июня». Надо полагать, что основная ошибка, превратившая дату «22 мая» в дату

«29 мая», повлекла за собою дальнейшие изменения и ошибки (см.: Лермонтов, VI, стр. 655—656).

«Вчера я приехал в Пятигорск...»

Первое русское поселение у подножия Машука относится к 1770 году. Первоначально оно носило главным образом военный характер, но с начала 1820-х годов А. П. Ермолов обратил внимание на лечебное значение минеральных источников и в 1822 году сделал «представление» о «необходимости устройств на Кавказских водах». На это «представление» последовало «высочайшее повеление» составить проект. Поселение называлось тогда Горячеводском; в 1830 году оно переименовано в Пятигорск (уездный город) (см.: Кавказский календарь на 1850 год, отд. III. Тифлис, 1849, стр. 73).

Список современной Лермонтову литературы о Кавказских минеральных водах см.: В. Мануйлов. Семья и детские годы Лермонтова. — «Звезда», 1939, кн. 9, стр. 122. О Лермонтове в Пятигорске см.: Н. К. Епиков. Лермонтов на Кавказе. Тбилиси, «Заря Востока», 1940; Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939; По лермонтовским местам, Путеводители Государственного литературного музея, № 1. М., 1940, стр. 112—146.

По словам А. Е. Розена, жившего в Пятигорске в 1838 году, «город построен на левом берегу Подкумка, на покатоности Машука, имеет одну главную улицу с бульваром, который ведет в гору, на коей рассажена виноградная аллея близ Елизаветинского источника, где устроена крытая галерея. В различных местах горы, в недалеком расстоянии, бьют серные ключи различной температуры, от 21° до 37° теплоты... При тихой погоде летом, при тумане зимою, по всему городу распространяется сильный серный запах» (А. Е. Розен. Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 247).

«...нанял квартиру на краю города...»

Деталь автобиографическая. Так выбирал Лермонтов в Пятигорске жилье для самого себя. 31 мая 1837 года он писал М. А. Лопухиной: «У меня здесь очень славная квартира; из моего окна я вижу каждое утро всю цепь снеговых гор и Эльбрус. И, сейчас, покуда пишу это письмо, я иногда останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих

великанов, так они прекрасны и величественны» (перевод с французского, VI, стр. 438 и 730).

С этим описанием любопытно сравнить отрывок из «Писем с Кавказа», которые печатались в 1830 году в «Московском телеграфе»: «Домик, в котором живем мы, стоит на высоте, господствующей над всем местечком. Сзади, над самую голову нашу возвышается Машуха, покрытая лесом и кустарником; внизу перед нами, как в панораме, поставлен Горячеводск, так что все крыши домов пересчитать можно... Прямо через них взор упирается в скалу, на которой построены Александровские и Ермоловские ванны. Немного правее видна мутная Подкумка; за нею необозримая степь, на коей местами возвышаются горы, похожие видом на курганы или насыпи. Далее, в ясную погоду виден Эльбрус, со всею цепью гор Кавказских, которые, как шатры, белеются на небосклоне и блестящими льдыстыми верхами подпирают свод неба» («Московский телеграф», 1830, май, № 10, стр. 182—183; ср.: К. И. Зеленецкий. Кавказские минеральные воды в 1852 году. — «Москвитянин», 1853, № 6, стр. 41—70).

Последнюю квартиру летом 1841 года Лермонтов снова снял на краю города, у подножия Машука в доме В. И. Чилаева. Здесь теперь музей «Домик Лермонтова» (Лермонтовская ул., 18).

«На запад пятиглавый Бешту...»

Бешту — Беш-тау (тюркск.) — пять гор. Так называется самая высокая из всех гор Минераловодского района, состоящая из пяти вершин (высшая поднимается на 1400 м над уровнем моря); по ней и вся окружающая местность прозвана Пятигорьем; в семи верстах от Бештау находится город Пятигорск. В стихах Лермонтова Бештау упоминается не раз: «задумчивый» («Аул Бастунджи, III, стр. 247), «крутой», «суровый» («Измаил-Бей», III, стр. 156 и 158). Еще раньше Бештау воспет Пушкиным: в посвящении к «Кавказскому пленнику» и в «Отрывках из путешествия Онегина» (Пушкин, IV, стр. 105 и V, стр. 201).

«...Последняя туча рассеянной бури...» — стих из «Тучи» А. С. Пушкина (1835, т. III, стр. 333). «Туча» впервые была напечатана в «Московском наблюдателе», 1835,

ч. II, кн. 2, май, стр. 175, а затем в III томе посмертного издания сочинений Пушкина в 1838 году.

«... на север поднимается Машук...»

Машук. Иначе Машуха, гора высотой в 993 м, под южным склоном которой расположен город Пятигорск; из одной, похожей на нарост, части Машука, называемой Горячей горою, вытекают лечебные источники. О Машуке Лермонтов упомянул в поэме «Аул Бастунджи» (1831) — Селим говорит о своей молодости, которая «кипит как жаркий ключ в скалах Машука» (ч. 1, строфа XXVII; III, стр. 252).

«...цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом...»

Самая высокая часть главного Кавказского хребта между Эльбрусом (5633 м) и Казбеком (5047 м). В этой цепи более 15 пиков выше Монблана, высочайшей вершины Европы. Хребет на протяжении 750 км покрыт вечными снегами и ледниками. Высота снеговой линии на Кавказском хребте не везде одинакова в зависимости от климатических условий. Наиболее значительные вершины главного Кавказского хребта, видимые в ясную погоду из Пятигорска: Ужба (4786 м), Дых-тау (5198 м), Каштан-тау (5145 м), Тетнульд (4862 м), Шхара (5184 м) и Адай-хох (4646 м).

«Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка».

Отзвук юношеского (1830) обращения Лермонтова к Кавказу: «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», где есть:

Воздух там чист, как молитва ребенка (II, стр. 26).

Эта фраза приводит на память следующие строки из письма Лермонтова к С. А. Раевскому: «...право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь» (VI, стр. 441).

Фраза «Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка» близка характеристике дочери Яфара из «Абидосской невесты» Байрона: «чиста, как у детей молитва на устах» (перевод И. И. Козлова).

«Солнце ярко, небо синё, — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания сожаления?» — одно из частых у Лермонтова противопоставлений покоя и безмятежности природы — беспокойному, мятежному человеку. Ср.: в стихотворном послании к В. А. Лопухиной «Валерик» (1840):

Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом моста много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем? (II, стр. 172)

«...Все водяное общество...»

Свидетельства мемуаристов подтверждают точность лермонтовской характеристики «водяного общества». «В то время съезды на кавказские воды были многочисленны, со всех концов России. Кого, бывало, не встретишь на водах?.. Со всех концов России собираются больные к источникам, в надежде, и большею частью справедливой, исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься — поиграть в картишки. С восходом солнца толпы стоят у целительных источников со своими стаканами. Дамы с грациозным движением опускают на беленьком снурочке свой стакан в колодезь; казак, с ногойкой через плечо, обыкновенною его принадлежностью, бросает свой стакан в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию морщится и не может удержаться, чтобы громко не сказать: «чорт возьми, какая гадость!» Легко больные не строго исполняют предписания своих докторов держать диету, и я слышал, как один из таких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, что получил из колонии двух славных поросят и велел их изжарить к обеду» (Н. И. Лорер. Из записок. — «Русский архив», 1874, кн. 2, стр. 681—682; ср.: Н. И. Лорер. Записки. М., Соцэкгиз, 1931, стр. 256).

Корреспондент «Московского телеграфа» в 1830 году сообщал: «После обеда почти все посетители в одно время собираются для питья воды к кислородному [следовало бы

сказать: кислосерному] колодцу. Место этого сборища составляет площадка, образующаяся, так сказать, на первой ступени горы Машуки... Люди, которые сходятся к кислосерному колодцу, составляют картину пеструю, живую, разнообразную. Там вы увидите и франта, одетого по последней моде, и красавицу в щегольском наряде, и черкеса в лохматой шапке, и казака, и грузинку, и грека, и армянина, и калмыка с косою и с огромным блюдом на голове... Глядя на все это, невольно скажешь:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!»

(Имеются в виду стихи из «Братьев разбойников». Пушкин, IV, стр. 167).

«Спустясь в`середину города...»

«Все здешние источники, — писал в июне 1836 г. из Пятигорска Н. В. Станкевич, — бьют на горе Машук... От центра города до первого источника, Елизаветинского не более полуверсты» (Н. В. Станкевич. Переписка. М., 1914, стр. 359).

«Я пошел бульваром...»

«Посредине большой улицы бульвар, весьма приятный пешеходам», — описывает Пятигорск в 1833 году Я. Сабуров (Кавказ. — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 3, июль, кн. 2, стр. 201).

Елена Ган в рассказе «Медальон» описала Пятигорский бульвар: «Здесь не найдете вы ни фонтанов, ни статуй; это просто аллея стриженных липок, перерезывающая город во всю длину до самых источников минеральных вод. Зато с одной стороны вместо штукатуренных стен вы увидите дикие утесы с высеченными ступенями, ведущими к выстроенным на высоте ваннам, с другой — над городом, фантастическую громаду скал, разбросанных в самом живописном беспорядке... Бледные, изуренные, нередко изувеченные физиономии странно бросаются в глаза посреди цветущих лиц и лепета порхающей молодежи» (Елена Ган. Медальон. — «Библиотека для чтения», 1839, т. XXXIV, май — июнь, стр. 23—24).

«Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе

встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум».

Солдаты носили номера своих войсковых частей на пуговицах и фуражках; офицеры — на эполетах.

Лермонтов намекает в этой фразе на то, что при Александре I и Николае I на Кавказе легко можно было встретить офицеров, переведенных в виде наказания из гвардии в армейские полки (как Печорин и сам Лермонтов) или разжалованных в солдаты (как некоторые декабристы). Таких офицеров-армейцев и разжалованных в рядовые было так много, что «образованный ум под белой фуражкой» сделался привычным явлением на Кавказе. «Пылкое сердце под нумерованной пуговицей» обличает людей столичной военной среды, платившихся за независимость характера и суждений кавказскою ссылкой. Так, например, товарищ Лермонтова по службе на Кавказе, Руфин Дорохов, был три раза разжалован из офицеров в солдаты, по официальному определению, «за шалости», т. е. за независимость своего поведения (см.: Д. Ракович. Тенгинский полк на Кавказе 1819—1896 гг. Тифлис, 1900, стр. 247).

По выражению одного из кавказских офицеров, Карла Ламберта, в ту пору «существовали только две дороги в России: первая, доступная единственно для весьма немногих привилегированных лиц, шла из Петербурга в Париж; вторая, открытая для всех остальных смертных, вела на Кавказ. И укатили же эту дорожку до такой степени, что весьма часто случалось офицерам, едущим по казенной надобности, сидеть по трое суток на станции в ожидании лошадей» (см.: Н. С. Мартынов. Экспедиция действующего Кавказского отряда за Кубанью в 1837 году под начальством генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова. — «Русский архив», 1893, кн. 8, стр. 592; А. Н. Нарцов. Материалы для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства, т. 1. Тамбов, 1904, стр. 101—140).

Любопытно отметить, что почти в тот же день фразу Печорина о «нумерованной пуговице» и «белой фуражке» с незначительными изменениями повторяет Грушницкий: «...какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью» (VI, стр. 265; ср.: VI, стр. 277).

Услышав от Грушницкого «свои» слова, Печорин, столь дорожащий своей индивидуальностью, должен был

быть этим поражен довольно неприятно. За эту неприятность Печорин вознаградил себя несколько дней спустя (запись в дневнике от 16 мая). Потешаясь над Грушницким и «приняв серьезный вид», Печорин говорит ему с притворным сочувствием об его «толстой, серой шинели», под которую «бьется сердце страстное и благородное...» (VI, стр. 277).

Елизаветинский источник — углекислый, слегка насыщенный сероводородом источник в конце верхнего бульвара; при Лермонтове там была деревянная галерея, впоследствии замененная каменной, после революции совершенно перестроенная и получившая название «Академической». Здесь открывается один из самых широких и красивых видов Пятигорска и его окрестностей на далекое расстояние, а в хорошую погоду и всего хребта Главного Кавказа от Эльбруса до Казбека.

«Между чающими движения воды».

Образ, заимствованный из Евангелия от Иоанна (гл. 5, стихи 3, 4).

«Они пьют — однако не воду».

Этих посетителей Пятигорска описал бывший там в 1833 году Я. Сабуров, называющий их «будто больными», которые здесь «составляют особый класс». Они «лазают по горам, ездят на борзых черкесских лошадях, задают пикники, вечеринки. Воду пьют какую, как и когда угодно, купаются где попросторней. Снабжены обильно рецептами, термометрами, литературными новостями, модными галстухами, вином и картами; платят щедро докторам и пляшут до упаду, будто завтра умереть! Их хотя немного, но почти одних только и видно: встречаются везде, и на всех водах, и на гуляньях, и на горах, и в аулах, почему они, составляя род водяной аристократии, называют себя исключительно обществом» (Я. Сабуров. Кавказ. — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 3, июль, кн. 2, стр. 203—204).

«Академические позы».

Предписанные школьными образцами, опошленные и всем давно наскучившие, картинные позы.

Брыжжи — белые воротнички сорочки, которые при военной форме запрещалось выпускать из-за воротника

мундира; на водах правила ношения формы плохо соблюдались.

«Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные».

«Военные экспедиции на Кавказе», по словам декабриста А. Е. Розена, «кончались в июне». Пятигорск переполнялся военными. «Гвардейские офицеры, после экспедиции, нахлынули в Пятигорск, — вспоминал Н. И. Лорер о лете 1838 года, — и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодежи; вод не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после трудной экспедиции. Они бывают также у источников, но без стаканов; их заменяют лорнетты, хлыстики... Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами» (Н. И. Лорер. Из записок. — «Русский архив», 1874, кн. 2, стр. 681—682; ср.: Н. И. Лорер. Записки. М., Соцэкгиз, 1934, стр. 256).

Лермонтов обращает внимание на группу тяжело больных, измученных войной офицеров. Но дальше речь пойдет и о веселящейся военной молодежи на кавказских минеральных водах. Из цензурных соображений Лермонтов не мог в «Герое нашего времени» вывести декабристов — офицеров и солдат, сосланных на Кавказ (Н. И. Лорера, кн. В. М. Голицына, кн. А. И. Одоевского, бар. А. Е. Розена и др.), которые именно в эти годы лечились в Пятигорске и Кисловодске. Отсутствуют у Лермонтова и разжалованные офицеры, вроде известного бреттера Р. И. Дорохова.

«Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод».

В черновике было сначала «большими шагами». Лермонтов заменил эпитет «большими» более точным «скорыми». Дамы, конечно, ускоряли шаги, но не делали их большими.

«Под виноградными аллеями...»

«Пятигорск порядочно отстроился за короткое время, — писал оттуда в мае 1836 года Н. В. Станкевич. — Славное шоссе ведет на гору, вместилище источников... Тут начинаются виноградные аллеи (не воображай чудес: бедный виноград вьется по плетушкам и не делает ника-

кого вида!) Они выются, пересекаются, ведут к разным источникам» (Н. В. Станкевич. Переписка. М., 1914, стр. 355).

«На крутой скале... торчали любители видов...»

Н. В. Станкевич в июне 1836 года писал совсем не в печоринском настроении духа, восхищаясь этим самым видом: «Пригорок над гротом — любимое место мое. Мне вздумалось подняться выше — какая картина! С одной стороны, вблизи, Машук, который, кажется, уперся в тучи и полукружием обогнул центр города, в стороне — трехголовый Бештау, подернутый туманом, внизу — куча народа, дамы, черкесы, музыка, все полно жизни и гражданственности» (Н. В. Станкевич. Переписка. М., 1914, стр. 356).

«Эолова арфа».

Так назывался павильон на одном из отрогов Машука, несколько выше Елизаветинской (впоследствии Академической) галереи, над гротом. И в наше время на этом месте стоит беседка, за которою сохранилось старое название. В павильоне «Эолова арфа» в середине XIX века была поставлена арфа, которая звучала под порывами ветра. Н. В. Станкевич, описывая Пятигорск в мае 1836 года, сообщал: «...на одной из гор беседка, в которой, говорят, будет эолова арфа, — это было бы чудесно!» (Переписка. М., 1914, стр. 355). Вскоре эолова арфа была устроена, но Станкевича не удовлетворила: «...мы ее зовем арба — татарская повозка с двумя немазанными колесами, которые скрипят ужасно» (там же, стр. 359). Впрочем не все отзывались о ней так строго. А. Е. Розен в 1838 году нашел ее лишь «немного расстроенной» (А. Е. Розен. Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 249). Э. А. Шан-Гирей, много лет жившая в Пятигорске, вспоминала: «...звуки ее далеко разносились в воздухе, а когда была настроена, то и довольно гармоничные» («Нива», 1885, № 27, стр. 643). Стоял этот романтический инструмент на «жертвеннике» (Елена Ган. Медальон. — Библиотека для чтения», 1839, т. XXXIV, май — июнь, стр. 50). Я. Сабуров писал о «странных, унылых звуках эоловой арфы» (Я. Сабуров. Поездка в Саратов, Астрахань и на Кавказ. — «Московский наблюдатель», 1835, ч. II, май, кн. 2, стр. 221).

«Грушницкий — юнкер».

Юнкерами в то время назывались вольноопределяющиеся, молодые люди дворянского происхождения, вступавшие в военную службу нижними чинами, но на особых правах, выделявших их из общей солдатской массы, и производившиеся в офицеры по получении практической подготовки или за боевые заслуги. Одевались они по-солдатски и по экипировке вообще ничем не отличались от солдат.

По верному определению Дурылина, «юнкер Грушницкий — вторая контрастная фигура, поставленная Лермонтовым подле Печорина: как Максим Максимыч контрастирует с ним в «Бэле» и «Максиме Максимыче», так Грушницкий составляет контраст Печорину в «Княжне Мери». Контрастирование Максима Максимыча основано на противоположности его Печорину по возрасту, характеру, социальному положению, образованию, — и эта контрастность прекрасно осознается и Печориным, и Максимом Максимычем, — но не мешает им обоим питать друг к другу чувства уважения и дружественности. Контрастность между Печориным и Грушницким, на первый взгляд, кажется гораздо менее значительной: Грушницкий всего на пять лет моложе Печорина, он живет, по-видимому, в кругу тех же умственных и моральных интересов, в каких живет Печорин, он ощущает себя человеком того же поколения и той же культурной среды, к которым принадлежит сам Печорин. На деле — контрастность между Грушницким и Печориным, не будучи столь прямой и определенной, как между ним и Максимом Максимычем, является более резкой: кажущаяся близость их культурных и социальных позиций есть близость мнимая: между ними скоро обнаруживается настоящая — психологическая, культурная, социальная пропасть, ставящая их, как явных противников, друг против друга с оружием в руках.

Эта противоположность Печорина и Грушницкого, раскрытая Лермонтовым со всей полнотой психологической и исторической правды, доведена им до такой обобщающей показательности, что дает право в контрасте между Печориным и Грушницким видеть противоположность *личности и личины, индивидуальности и подражательности, свободной мысли и следования трафаретам* (Дурылин, стр. 119—120).

Лермонтов нигде в своей повести не называет имени А. А. Бестужева-Марлинского (1797—1837), но, несомненно, образ Грушницкого связан с традициями творчества Марлинского и в какой-то степени является пародией на его героев (Стрелинского, Правина, героя из «Страшного гадания» и др.). Эту связь Грушницкого с персонажами Марлинского хорошо чувствовали современники Лермонтова, и об этом, характеризуя Грушницкого, писал Белинский: «Грушницкий — *идеальный молодой человек*, который щеголяет своею идеальностью, как записные франты щеголяют своим модным платьем, а «львы» — ослиною глупостью... производить эффект — его страсть. Он говорит вычурными фразами». По определению Белинского, Грушницкий принадлежит к числу тех молодых людей, которые «страх как любят сочинения Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах сколько-нибудь не житейских, стараются говорить фразами из его повестей» (IV, стр. 228).

Б. В. Нейман, а вслед за ним Д. Д. Благой, указывали на сходство отношений Печорина и Грушницкого с отношениями Онегина и Ленского, которое, вместе с тем, как всегда у Лермонтова, подчеркивает разницу между Пушкиным и Лермонтовым в трактовке сходных положений или тем (Б. В. Нейман. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914, стр. 116; Д. Д. Благой. Лермонтов и Пушкин (проблема историко-литературной преемственности). — В кн.: Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сб. 1. Исследования и материалы. М., Гослитиздат, 1941, стр. 402—405).

Делались попытки установить прототип Грушницкого. Однако до сих пор этот вопрос остается открытым. Э. А. Шан-Гирей заявляла: «...известно хорошо, что Лермонтов списал Грушницкого с Колюбакина, прозванного «немирным» («Нива», 1885, № 27, стр. 646). В недавно обнаруженных А. Н. Михайловой воспоминаниях И. П. Забеллы, встречавшегося в начале 60-х годов прошлого столетия с Н. П. Колюбакиным на Кавказе, сообщается: «В «Герое нашего времени» Лермонтов в лице Грушницкого вывел Колюбакина, который это знал и, от души смеясь, простил ему эту злую на себя карикатуру» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., «Художественная литература», 1964, стр. 285).

На сближение Николая Петровича Колюбакина (1812—1868) с Грушницким современники натолкнули, вероятно, некоторые черты внешнего сходства. Колюбакин служил в одном из кавказских батальонов, был ранен в ногу, награжден солдатским георгиевским крестом, произведен в прапорщики. Затем лечился в Пятигорске, где тогда же в 1837 году находился Лермонтов. «Они не сошлись по эксцентричности своих натур», — сообщал биограф Колюбакина (А. К. Бороздин. Закавказские воспоминания. Спб., 1885, стр. 112). А. К. Бороздин утверждал также, что Колюбакин знал, что в нем видят прототип Грушницкого, но относился к этому добродушно.

Известно, что Н. П. Колюбакин славился своей вспыльчивостью, неоднократно дрался на дуэлях и, будучи приятелем А. А. Бестужева-Марлинского, вел себя «несколько в духе его героев» (В. Потто. История 44 драгунского полка, т. IV. Спб., 1894, стр. 59—60; ср.: «Исторический вестник», 1894, № 11, стр. 381—407 и «Русский архив», 1874, столб. 955).

Известный кавказовед Е. Г. Вейденбаум, которому также «случалось читать и слышать, будто Грушницкий списан с Н. П. Колюбакина, известного впоследствии кавказского деятеля», решительно отверг эту версию. В молодые годы Н. П. Колюбакина можно было упрекнуть в резкости и заносчивости, которые ему обошлись очень дорого. Но он был всегда человеком выдающимся и благородным. По убеждению Е. Г. Вейденбаума, из Грушницкого, каким его изобразил Лермонтов, никогда не вышел бы такой «государственный деятель», каким выказал себя Н. П. Колюбакин «и как боевой офицер и как администратор» (Е. Г. Вейденбаум. Кавказские этюды. Тифлис, 1901, стр. 317; ср.: А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 57—59. О Н. П. Колюбакине см. также в воспоминаниях А. И. Дельвига: А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. 1. М., 1912, стр. 316—318; ср.: Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820—1870. М. — Л., «Academia», 1930, стр. 341—344).

Неоднократно назывался другой прототип Грушницкого — Николай Соломонович Мартынов (1815—1875), убийца поэта. Н. С. Мартынов был выпущен из Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров

в корнеты Кавалергардского полка на год позже Лермонтова. В середине марта 1837 года Лермонтов встретился с Мартыновым в Москве по пути на Кавказ. Почти целый месяц они сходились чуть ли не каждый день, часто завтракали в ресторане «у Яра», Лермонтов бывал в доме Мартыновых и ухаживал за сестрой Николая Наталией Соломоновной. Затем Лермонтов и Мартынов служили на Кавказе и осенью того же года встретились там еще раз. Таким образом, до возвращения в Петербург в начале 1838 года Лермонтов хорошо знал Мартынова и вполне мог что-то почерпнуть от встреч с ним для создания, по всей вероятности, собирательного образа Грушницкого.

Один из современников так описал наружность Мартынова: «В молодости Мартынов был очень красив, он был высокого роста, прекрасно сложен. Волосы на голове темно-русые, всегда носил коротко остриженными; большие усы, спускавшиеся по углам рта, придавали физиономии внушительный вид» (Еще о дуэли Лермонтова. Письмо доктора Пирожкова из Ярославля. — «Нива», 1885, № 20, стр. 474). Эта характеристика близка к описанию Грушницкого: «Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 24 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костюм» (VI, стр. 262—263). Сходство несомненное, но оно еще ничего не доказывает: доктор Пирожков в 80-е годы, конечно, отлично знал «Героя нашего времени» и мог сознательно или бессознательно охарактеризовать Мартынова под прямым воздействием портрета Грушницкого. Точно так же слишком позднего происхождения отзыв о Мартынове в воспоминаниях И. Арсеньева: Мартынов «был человек щепетильно-самолюбивый и обидчивый, не отличаясь большим развитием... Мартынов был довольно бесхарактерен и всегда находился под чьим-либо влиянием» (И. Арсеньев. Из моей памятной книжки. — «Нива», 1885, № 27, стр. 647).

Белинский подчеркнул, что самолюбие — главная слабость в характере Грушницкого: «Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и любви княжны к нему; самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печорина; самолюбие не допустило его послушаться голоса своей совести и увлечься своим добрым началом,

чтобы признаться в заговоре; самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека: то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание. Этот человек — апофеоз мелочного самолюбия и слабости характера...» (Белинский, IV, стр. 257).

Мартынов мог себя узнать в Грушницком. Немецкий поэт и переводчик Фридрих Боденштедт, встречавшийся с Лермонтовым, писал о его гибели: «Противник его принял на свой счет некоторые намеки в романе «Герой нашего времени» и оскорбился ими, как касавшимися притом и его семейства. В этом последнем смысле слышал я эту историю от секунданта Лермонтова Г[лебова], который и закрыл глаза своему убитому другу» («Современник», 1861, № 2, стр. 323; ср.: Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова. М., «Советский писатель», 1964, стр. 401—426).

Доктор Н. П. Раевский, свидетель не особенно точный, оригиналом Грушницкого называл юнкера К. Бенкендорфа («Нива», 1885, № 7, стр. 168).

Н. О. Лернер, а в последние годы А. А. Ленорин высказали предположение, что прототипом Грушницкого следует признать известного в конце 30-х и в 40-х годах прошлого века беллетриста Павла Павловича Каменского (1810—1875), подражателя Марлинского, автора романа «Искатель сильных ощущений». Вот что о нем рассказывает в «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаев: это был «интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями à la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над г. Краевским, издававшим «Литературные прибавления» [к «Русскому инвалиду»], который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей (ассигнациями) за его первую повесть; другую над дочерью [графа] Ф. П. Толстого [вице-президента Академии художеств]» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950, стр. 51; ср.: там же, стр. 99—100).

Это свидетельство И. И. Панаева дополняют воспоминания жены Каменского Марии Федоровны, впоследствии мемуаристки и писательницы. Она сообщает, что Каменский, 19-ти лет от роду, в 1831 году из Петербургского университета добровольно отправился служить юнкером на Кавказ, получил там Георгиевский солдатский крест и

сделался закадычным другом Марлинского. Влияние Марлинского отразилось вскоре на «кудрявом» слого Каменского, из-за чего Мария Федоровна постоянно спорила с мужем («Исторический вестник», 1894, № 10, стр. 55—56).

Каменский вернулся с Кавказа и появился у Ф. П. Толстого весной 1837 года. Тогда же в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» А. А. Краевского была напечатана его повесть «Келиш-бей», а затем «Майко». Как известно, в начале 1838 года, возвратившись из Тифлиса в Петербург, Лермонтов выписал наскоро, карандашом, для памяти, на обороте листа со стихотворением «Спеша на север из далека» имя этой красавицы-грузинки — Майко Орбелиани (о ней см.: Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 306—310).

Повести П. П. Каменского, включая «Келиш-бей» и «Майко», вышли отдельным изданием в 1838 году, а в следующем году вышел роман «Искатель сильных ощущений» (1839).

Белинский резко отрицательно отозвался о произведениях Каменского. По мнению Белинского, Каменский был напыщенным «марлинистом», который «совершенно доканал славу своего образца, показав, как легко упражняться в этом ложном роде литературы, даже и не имея таланта, и особенно как смешон этот род» (Белинский, IX, стр. 254).

Лермонтов, вероятно, читал произведения Каменского и мог быть с ним знаком лично. Каменский и его герои во многом близки типу Грушницкого, но вряд ли П. П. Каменский был единственным прототипом Грушницкого. Скорее всего, Грушницкий, как сказано выше, образ собирательный.

Через несколько лет после выхода в свет «Героя нашего времени» появился обличительный роман Хамар-Дабанова [Е. Лачиновой] «Проделки на Кавказе». В этом романе читатели встретились с адъютантом Грушницким. Автор сознательно подчеркнул, что это тот самый Грушницкий, который был показан у Лермонтова.

Один из персонажей романа «Проделки на Кавказе» спрашивает у Грушницкого, как это он вновь появился, после того как был убит Печориным на дуэли, ведь все читали записки Печорина. На это Грушницкий отвечает:

«И обрадовались моему концу!.. Потом, немного погодя, перекидывая эксапбант с одной пуговицы на другую и не спуская глаз с зеркала, он промолвил со вздохом: — Вот, однако же, каковы люди! Желая моей смерти, они затмились до того, что не поняли всей тонкости Печорина. Как герой нашего времени, он должен быть лгун и хвастун, поэтому-то он и поместил в своих записках поединок, которого не было. Что я за дурак, перед хромым лекарем, глухим комендантом и самим Печориним хвастать удалством! Кто бы прославлял мое молодечество?.. А без этих условий глупо жертвовать собою... Мы просто с Печориним поссорились, должны были стреляться; комендант узнал и нас обоих выслал к своим полкам» (Е. Хамар-Дабанов. Проделки на Кавказе, ч. II. Спб., 1844, стр. 72—74; ср.: А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 60—61).

«Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим».

Превращение возвышенного романтика в помещика-обывателя — «обыкновенный удел», «обыкновенная история» в крепостнической России середины XIX века. О подобном жизненном пути думал Пушкин, пытаясь предугадать дальнейшую возможную судьбу Ленского:

А может быть и то: поэт
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юности лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей

(Пушкин, V, стр. 135).

Для Ленского такой конец был, по мнению Пушкина, возможен; для Грушницкого, по мнению Печорина, неиз-

бежен. Во всяком случае обоих спасла от него ранняя смерть.

Дальнейшая возможная общность судеб Ленского и Грушницкого вместе с тем не дает оснований для их безоговорочного сближения. При всем ироническом отношении к восторженному романтизму Ленского, к его поэтическим опытам, Пушкин отмечал образованность Ленского, воспитанника Геттингенского университета, широкий круг его интеллектуальных интересов, горячие споры на философские темы с Онегиным. Наконец, моральный облик Ленского не идет ни в какое сравнение с мелкой и пошлой натурой Грушницкого.

«...Это что-то не русская храбрость».

Печорин этими словами выражает взгляд многих тогдашних кавказских офицеров, между прочим, несомненно, и самого Лермонтова. В те времена на Северном Кавказе часто наблюдалось соперничество между офицерами русского происхождения и офицерами из немцев. Эти офицеры-немцы группировались преимущественно около выдвинувшегося в 1830-х годах генерала Г. Х. Засса, который командовал Кубанской линией, а в 1840 году был назначен начальником всего правого фланга Кавказской линии. Это был талантливый кавалерийский генерал, но карьерист и стяжатель, не чуждавшийся самых неблагоприятных способов обогащения.

В романе Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кавказе» (1844), о котором сам военный министр сказал, что в нем «что строчка, то правда», большое место отведено проделкам Засса (т. I, стр. 122—123 и 163). О «генерале грабителе» Зассе см. также в воспоминаниях А. И. Дельвига: А. И. Дельвиг. Мои воспоминания. М., 1912, т. 1, стр. 301; ср.: Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820—1870. М.—Л., «Academia», 1930, стр. 307—310).

Антагонизм в офицерской среде на Кавказе между немцами и русскими держался долго. Его застал Лев Толстой, воспринявший антипатию к офицерам-немцам. В рассказе «Набег» Толстой иронизирует над поручиком из Саксонии Каспаром Лаврентьевичем, который неизвестно чего не поделил с кавказскими горцами и «немецкий голос» которого сразу поражает «оскорбительным диссонансом среди тихой и торжественной гармонии»... Пору-

чик Розенкранц напоминает Грушницкого, когда в стычке с горцами, не переставая, сам стреляет из винтовки, мечется по всей цепи и хрипло кричит на солдат. Толстой, как известно, списал своего Розенкранца с подлинного немца, некоего Пистолькорса (см.: А. Зиссерман, 25 лет на Кавказе, т. II, стр. 327); в «Хаджи-Мурате» Толстой снова показал этот тип в лице Бутлера, которого списал с гвардейца Кутлера (см. вступительную статью Н. О. Лернера к «Хаджи-Мурату». Спб., изд. Голике и Вильборг, 1916, стр. XXV).

В презрительных словах Печорина о поведении Грушницкого в бою и в определении его «нерусской» храбрости прямо предвосхищены страницы «Набега», где Л. Н. Толстой ставит и решает вопрос о храбрости: «храбрый тот, который ведет себя как следует».

Мемуарная литература подтверждает критическое отношение Лермонтова и Льва Толстого к «нерусской храбрости». См., напр., сообщения о штабс-капитане фон Неймане (Записки Э. С. Андриевского. Одесса, 1913, т. I, стр. 36—37), о графе Оскаре Менгдене (В. Потто. История 44 драгунского полка. Спб., 1894, т. VI, стр. 17) и др.

«Он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке...»

Эту ироническую трактовку Грушницкого предвосхитил Пушкин, который задолго до Лермонтова посмеялся над «марлинизированными молодыми людьми». Герой «Барышни-крестьянки», юный Алексей Берестов, пленял уездных барышень тем же манером, имея перед Грушницким то преимущество, что «первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума» (Пушкин, VI, стр. 148). Но Печорин и Лермонтов относились к подражателю Марлинского без пушкинского добродушия.

«Закрытое платье gris de perles» — серо-жемчужного цвета.

«Богинки couleur rose» — буквально «блошиного цвета», т. е. красного цвета самого темного оттенка, приближающегося к черному.

«Вот княгиня Лиговская... и с нею дочь ее Мери...»

Как справедливо заметил Дурылин, «княжне Мери посвящена Лермонтовым самая обширная из повестей, образующих его роман, но в жизни героя этого романа Мери занимает место несравненно меньше, чем Бэла, которой посвящена небольшая повесть, и чем Вера, которая лишь мелькает в нескольких записях [Печорина]. В то время, как Бэле была отдана вспышка настоящей страсти Печорина, а чувство свое к Вере он осознал, в конце концов, как любовь к единственной женщине, которую он мог взять себе в спутницы целой жизни, встреча Печорина с Мери и искание им ее любви были скорее главным приемом его борьбы с Грушницким, чем проявлением варождаящегося, еще неосознанного чувства любви к ней. Встретившись в эту же пору с Верой, Печорин отдается... своей истинной старой любви к ней, и тем яснее он отдает себе отчет в действительной природе своих чувств к Мери; когда Печорин, в конце концов, говорит ей: «Я не люблю вас», он говорит правду.

С Мери связана у Печорина не любовь, как с Верой, и не страстное увлечение, как с Бэлой, — с Мери связан у него один из тех опасных опытов освоения женского сердца, которых было в жизни у него так много и которые, в конце концов, так ему прискучили. Встретив со стороны Мери серьезное чувство, Печорин прервал этот опыт, — как прервал бы такой опыт со всякой другой девушкой, в которой нашел бы такой же серьезный отклик, как в Мери.

Рисуя Веру, Лермонтов оставляет в тени все, что касается ее психологических или культурных связей с ее средой и обществом: она вся раскрывается перед нами только со стороны своего чувства к Печорину. Наоборот, рисуя Мери, Лермонтов чрезвычайно отчетливо рисует ее как человека своего времени, социального положения и своей культурной среды...

Лиговские не принадлежат к петербургской новой знати, «жадной толпой стоящей у трона»: это один из тех старых «игроку счастья обиженных родов», к которым принадлежали А. С. Пушкин и сам Лермонтов. Лиговские — как видно из дальнейшего заявления княгини: «Я богата» — еще сохранили прочную поместную базу, но уже потеряли всякое значение в правящих и придворных кругах. Лермонтов подчеркивает, что они связаны

не с правящим и влиятельным Петербургом, а с Москвой, где, постепенно разоряясь в хлебосольстве, проживало дворянство в отставке» (Дурылин, стр. 150—152).

Н. М. Сатин, сообщая о том, что Лермонтов зорко наблюдал за встречавшимися ему летом 1837 года в Пятигорске различными типами «водяного общества» и уже задумывал своего «героя нашего времени», среди персонажей романа, как бы списанных с натуры, назвал и княжну Мери: «...те, кто были в Пятигорске в 1837 году, вероятно, давно узнали и княжну Мери и Грушницкого» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., «Художественная литература», 1964, стр. 208). Эти слова Сатина вызвали немало безрезультатных попыток установить прототип княжны Мери. Однако, по-видимому, княжна Мери, в еще большей степени, чем Грушницкий, образ собирательный, обобщающий впечатления поэта, полученные им в разное время от разных лиц.

Упорно и настойчиво называли в качестве прототипа княжны Мери Наталью Соломоновну Мартынову, сестру убийцы Лермонтова. С семейством Мартыновых Лермонтов познакомился весной 1837 года в Москве, а затем встречался с ними летом того же года в Пятигорске. По словам Д. Д. Оболенского, «вернувшись с Кавказа, Наталья Соломоновна бредила Лермонтовым и рассказывала, что она изображена в «Герое нашего времени» («Русский архив», 1893, кн. 8, стр. 613). В 1841 году известный историк Т. Н. Грановский сообщал сестрам, что Лермонтов «убит на дуэли г. Мартыновым, братом молодой особы, выведенной в его романе под именем княжны Мери» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897, т. II, стр. 128). Андрей Елагин, сообщая отцу о гибели Лермонтова, добавлял: «Мартынов, который вызвал его на дуэль, имел на то полное право, ибо княжна Мери сестра его». Мефодий Катков, извещая брата Михаила о гибели Лермонтова, добавлял: «Мартынов, брат мнимой княжны Мери, описанной в «Герое нашего времени», вызвал его на дуэль» (Эмма Герштейн. Отклики современников на смерть Лермонтова. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. М., Соцэкгиз, 1939, стр. 66—67; ср.: Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова. М., «Советский писатель», 1964, стр. 409—426). Однако, как доказала Э. Г. Герштейн, утверждение, что Мартынов защищал на

дуэли с Лермонтовым честь своей сестры Натальи Соломоновны, исходило из кругов, близких к семье Мартыновых, и возникло только после трагической дуэли, чтобы как-то объяснить эту дуэль и умалить вину Мартынова. Теперь установлено, что Лермонтов встречался, и вполне дружелюбно, с семейством Мартыновых в мае 1840 года, когда «Герой нашего времени» уже вышел в свет. Такие добрые встречи были бы просто невозможны, если бы Наталья Соломоновна узнала себя в образе княжны Мери и если бы это изображение показалось ей или ее брату оскорбительным.

Не менее настойчиво называли прототипом княжны Мери Эмилию Александровну Клингенберг, впоследствии вышедшую замуж за А. П. Шан-Гирея. Но сама Эмилия Александровна решительно опровергала эту фантастическую версию, сообщая, что она познакомилась с Лермонтовым только летом 1841 года, когда роман был уже издан и широко известен («Русский архив», 1889, т. II, № 6, стр. 315). По той же причине отпадают предположения относительно Надежды Петровны Верзилиной, Екатерины Григорьевны Быховец, Нины Александровны Ребровой и других современниц поэта. П. А. Висковатый в числе возможных прототипов княгини и княжны Лиговских называл помещицу Киньякову из Симбирска, Иванову из Елизаветграда и некую госпожу В., ходившую в 1881 году по Пятигорскому бульвару и у источников. Эту даму, со следами былой красоты, многие называли «княжной Мери», и она с видимым удовольствием принимала это название (П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 351—358).

Заслуживает внимания соображение П. А. Висковатого о том, что в образе княжны Мери отразились какие-то черты юной В. А. Лопухиной, которая в еще большей степени напоминает образ Веры, что «характер Вареньки Лопухиной раздвоен и представлен в двух типах» (там же, стр. 288; ср.: А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 64—66).

«И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?..»

См. выше, стр. 164

«толстая трость: точно у Робинзона Крузо!»

Робинзон Крузо — главное и почти единственное действующее лицо романа английского писателя Даниэля Дефо (1659—1731) «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (первое издание вышло в свет в 1719 году). Робинзон был выброшен кораблекрушением на остров и жил там несколько лет, отрезанный от цивилизованного мира. Даниэль Дефо во многом предвосхитил идеи Ж.-Ж. Руссо о естественном человеке и благотворном влиянии природы на человека.

«...прическа à la toujik».

Прическа «под мужика», «вроде мужика», заимствована штатскими из Франции — это довольно длинные волосы, которые сзади подстригались полукругом, «в скобку», и часто воспринимались как признак некоторого вольномыслия. В царствование Николая I борода и длинные волосы были одной из форм внешнего выражения оппозиционного образа мыслей и поведения (см.: Н. И. Лорер. Записки. М., Соцэкгиз, 1931, стр. 218).

Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.

В переводе с французского: «Мой милый, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом».

— *Mon cher, je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.*

В переводе с французского: «Мой милый, я презираю женщин для того, чтобы их не любить, ибо иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамой».

«Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести...»

Прямое человеческое движение княжны — помочь больному Грушницкому поднять стакан — сейчас же корректируется и осуждается ею же самой с точки зрения обиходной классовой морали и закона «приличий»; великосветской девушке не подобает снисходить до нужд незнакомого армейского юнкера. Еще С. П. Шевырев отмечал здесь художническую зоркость Лермонтова: «Мы любим в ней [в Мери] то сердечное человеческое движение,

которое заставило ее поднять стакан бедному Грушницкому, когда он, опираясь на свой костыль, тщетно хотел к нему наклониться; мы понимаем и то, что она в это время покраснела; — но нам досадно на нее, когда она оглядывается на галерею, боясь, чтобы мать не заметила ее прекрасного поступка. Мы отдаем всю справедливость наблюдательности [автора], которая искусно схватила черту предрассудка, не приносящего чести обществу, именуящему себя христианским» («Москвитянин», 1841, кн. 2, стр. 525—526; ср.: Дурыйлин, стр. 154).

«Я лгал. Но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку».

«Напрасное обвинение! — замечает по этому поводу Белинский. — Такое чувство противоречия понятно во всяком человеке с глубокою душою. Детская, а тем более фальшивая идеальность оскорбляет чувство до того, что приятно уверить себя на ту минуту, что совсем не имеешь чувства. В самом деле, лучше быть совсем без чувства, нежели с таким чувством. Напротив, совершенное отсутствие жизни в человеке возбуждает в нас невольное желание увериться в собственных глазах, что мы не похожи на него, что в нас много жизни, и сообщает нам какую-то восторженность. Указываем на эту черту ложного самообвинения в характере Печорина, как на доказательство его противоречия с самим собою вследствие непонимания самого себя...» (IV, стр. 229).

Д. Н. Овсяннико-Куликовский по этому поводу писал:

«Человек, душа которого исполнена внутренних противоречий и, так сказать, привыкла к их ритму, невольно при встрече с другим человеком настраивается противоречиво, антагонистически. Это доставляет ему своеобразное наслаждение...» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский. М. Ю. Лермонтов. Слб., 1914, стр. 77).

Эту черту, как отметил Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Печорину передал Лермонтов от себя. Именно из-за этого свойства Белинский в 1837 году не понял Лермонтова и лишь впоследствии почувствовал в нем «глубокий и могучий дух» (о встрече и столкновении Лермонтова с Белинским в Пяти-орске летом 1837 года см.: Н. М. Сатин. Орывки из воспоминаний. — В кн.: М. Ю. Лермонтов

в воспоминаниях современников. М., «Художественная литература», 1964, стр. 207—210).

Декабрист М. А. Назимов, встречавшийся с Лермонтовым на Кавказе, удивлялся «сбивчивости и неясности» его воззрений: «Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделялся шуткой и сарказмом» (П. А. Висковатый. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 303—304; ср.: А. В. Мещерский. Воспоминания. Спб., 1901, стр. 89).

«...вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого... не был бы этим поражен неприятно».

В «сниженном» тоне это чувство изображено Лермонтовым в поэме «Монго» (IV, стр. 316).

«...его имя Вернер, но он русский».

Доктор Вернер — единственный персонаж в повести «Княжна Мери», для которого может быть указан определенный и бесспорный прототип. Многие современники Лермонтова утверждают, что «доктор Вернер списан с Николая Васильевича Майера» (1806—1846), служившего при штабе генерала А. А. Вельяминова. Н. М. Сатин, А. М. Миклашевский, Н. П. Огарев, Ф. Ф. Торнау, А. Е. Розен, Н. И. Лорер единодушно отмечают высокое портретное мастерство, с которым Лермонтов воспроизвел в «Герое нашего времени» черты и характер Н. В. Майера в образе доктора Вернера.

Г. И. Филиппсон писал о Н. В. Майере: «Отец его был крайних либеральных убеждений; он был масон и деятельный член некоторых тайных политических обществ, которых было множество в Европе между 1809 и 1825 годами. Как ученый секретарь академии, он получал из-за границы книги и журналы без цензуры. Это давало ему возможность следить за политическими событиями и за движением умов в Европе. В начале 20-х годов он полу-

чил из-за границы несколько гравированных портретов итальянских карбонари, между которыми у него были друзья. Его поразило сходство одного из них, только что расстрелянного австрийцами, с его младшим сыном Николаем. Позвав к себе мальчика, он поворачивал его во все стороны, осматривал и ощупывал его угловатую, большую голову и, наконец, шлепнув его ласково по затылку, сказал по-немецки: «Однако же из этого парня будет прок!». С этого времени он полюбил своего Николааса, охотно с ним говорил и читал и кончил тем, что привил сыну свои политические убеждения». Окончив медико-хирургическую академию, Н. В. Майер поступил на службу врачом в ведение генерала Инзова, управляющего колониями в южной России, а оттуда был переведен в Ставрополь в распоряжение начальника Кавказской области, генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова... «Зимой он жил в Ставрополе, а летом на минеральных водах... Ум и огромная начитанность вместе с каким-то аристократизмом образа мыслей и манеры невольно привлекали к нему. Он прекрасно владел русским, французским и немецким языками и, когда был в духе, говорил остроумно, с живостью и душевную теплотой» («Русский архив», 1883, № 5, стр. 178—179).

Заслуживает внимания сообщение Г. И. Филипсона о том, что в 1837 году Майер рекомендовал ему для чтения «Историю французской революции» Минье, «Историю английской революции» Гизо, «Историю контрреволюции в Англии» Карреля и «О демократии в Америке» Токвиля («Русский архив», 1883, № 6, стр. 249). Этот список позволяет предположить, насколько широк был круг политических, социальных и исторических вопросов, которые обсуждались Н. В. Майером при встречах с Лермонтовым и сосланными на Кавказ декабристами.

Н. П. Огарев познакомился с Майером через год после Лермонтова и также встречался с ним в Пятигорске. Впоследствии он писал: «Майер был медиком, помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями. Жизнь Майера, естественно, примкнула к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кав-

каз в солдаты — кто без выслуги, кто с повышением. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили как брата» (Н. П. Огарев. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1956, т. II, стр. 381. Подробнее о Н. В. Майере см.: М. О. Гершензон. Образы прошлого, М., 1912, стр. 310—320; Н. И. Бронштейн. Доктор Майер. — «Литературное наследство», 1948, т. 45-46, стр. 473—493).

«...его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, — больные взбеленились! — почти все ему отказали».

Е. Хамар-Дабанов в сатирическом романе «Проделки на Кавказе» отмечает, что «пятигорские медики живут между собою как кошки с собаками» и «все между собою враги» (Спб., 1844, ч. II, стр. 108 и 114). Сохранилась злая стихотворная сатира, написанная на минераловодских врачей в 1836 году каким-то раздраженным пациентом («Щукинский сборник». М., 1910, кн. IX, стр. 182—183). В программе пушкинского «Романа на Кавказских водах» упоминаются «два лекаря (враги по ремеслу, кто скорей рекомендуется)» (Пушкин, VI, стр. 793).

В числе обвинений против Майера, когда возбуждено было в 1834 году дело «О подозрительном поведении прикосновенных к происшествию 14 декабря 1825 года поручика Палицына, врача Майера и других», большое место занимало хранение «пасквильных рисунков». При разборе бумаг поручика Палицына был обнаружен рисунок Майера, «набросанный пером и представляющий женскую фигуру с поднятою секирою в одной руке и отсеченною коронованной головой в другой; поодаль коронованный же череп». (Об этом подробнее см.: Н. Бронштейн. Доктор Майер. — «Литературное наследство», 1948, т. 45-46, стр. 482—485; ср.: А. В. Попов. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 55—56).

«...женщины влюблялись в таких людей до безумия...»

По словам Г. И. Филипсона, Майер внушал некоторым замечательным женщинам «сильное и глубокое чувство» к себе («Русский архив», 1883, № 6, стр. 179; ср.: Воспоминания Григория Ивановича Филипсона. М., 1885,

стр. 106—107). Н. М. Сатин был «свидетелем и поверенным любви», которую Майер «своим умом и страстностью возбудил в одной из самых красивейших женщин» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., «Художественная литература», 1964, стр. 210).

«Эндимионы».

Эндимион, по древнегреческому сказанию, был молодой красавец, в которого влюбилась богиня Луны — Селена (иначе Диана). По ночам, усыпив его, она сходила с неба, чтобы целовать и ласкать юношу. Она испросила Эндимиону бессмертие и вечную молодость. Миф об Эндимионе не раз вдохновлял художников. Лермонтову, несомненно, была знакома по воспроизведениям картина Жироде и статуя Кановы, изображавшие спящего Эндимиона, жеманно-слащавого, женообразного юношу.

«Вернер был мал ростом и худ и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна...»

Портрет Вернера, нарисованный в повести «Княжна Мери», близок к характеристике Майера, вышедшей из-под пера Н. П. Огарева: «Его некрасивое лицо было невыразимо привлекательно. Волосы, стриженные под гребенку, голова широкая, так что лоб составлял тупой угол, небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, толстые губы, мундирный сюртук на дурно сложенном теле, одна нога короче другой, что заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать... кажется, все это очень некрасиво, а между тем нельзя было не любить этого лица. Толстые губы дышали добротой, глубокие карие глаза смотрели живо и умно; но в них скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку; широкий лоб склонялся задумчиво; хромя походка придавала всему человеку особенность, с которой глаз не только свыкался, но дружил» (Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., Госполитиздат, 1952, стр. 403).

Правнук Н. В. Майера, профессор Горьковского государственного университета А. Г. Майер предоставил И. Л. Андроникову фотографию с автопортрета его прадеда. По мнению И. Л. Андроникова, «кроме глаз Вернера,

которым Лермонтов сообщил черный цвет, в остальных деталях его наружность совершенно совпадает с автопортретом Майера и впечатлениями очевидцев. Но за этими внешними чертами под пером Лермонтова возникает характеристика еще более тонкая и глубокая, чем у Огарева, и уже обобщенная, позволяющая Лермонтову говорить не об одном человеке, но о «людях, подобных Вернеру» (Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 343).

Отмечая замечательный ум и образованность доктора Майера, Н. М. Сатин досадовал на то, что «тем не менее он тоже не раскусил Лермонтова. Лермонтов снял с него портрет поразительно верный; но умный Майер обиделся, и, когда «Княжна Мери» была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: «Pauvre sire, pauvre talent!» («Ничтожный человек, ничтожный талант!»). (Н. М. Сатин. Орывки из воспоминаний. — В кн.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., «Художественная литература», 1964, стр. 208).

Н. В. Майер умер 7 февраля 1846 года в Керчи в возрасте 40 лет, где и погребен на городском кладбище. Среди его бумаг, по преданию, были письма Лермонтова, но архив Майера погиб во время Крымской войны 1853—1854 гг. (см.: Архив Раевских, т. II. 1909, стр. 401—402).

«...неровности его черепа... поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей».

Френолог — исследователь, пытающийся распознать склонности и способности человека по строению черепа и расположению и форме бугров. На рубеже XVIII и XIX веков френология имела большой успех, но не выдержала строгой научной проверки, хотя косвенно способствовала установлению некоторых интересных фактов в области анатомии и физиологии мозга.

Лермонтов интересовался сочинениями основателя френологии Франца-Жозефа Галля и физиономиста Иоганна-Каспара Лафатера. Как известно из письма поэта к А. И. Бибикову, писанному во второй половине февраля 1841 года из Петербурга, среди множества других книг, приобретенных «для общего обихода», были куплены сочинения Лафатера и Галля (VI, стр. 458). Речь о книгах: Jean-Gaspard Lavater. L'art de con-

naître les hommes par la physionomie... Paris, 1820 (10 томов, подробное описание см.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина.— В кн.: Пушкин и его современники, IX—X, 1910, стр. 269) и Franz-Joseph Gall. Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier, Paris, 1810—1818.

Упоминание о Лафатере см. в «Княгине Лиговской» (VI, стр. 124).

Мефистофель. Имя злого духа, заимствованное из средневековых германских легенд И.-В. Гёте (1749—1832), который в своей гениальной драме «Фауст» (1770—1831) вывел Мефистофеля и дал ему новую жизнь и мировое значение, сообщив этой фигуре глубокий символический смысл.

«...Я к дружбе неспособен...»

Это признание Печорина стоит сравнить с заявлением Печорина в Предисловии к его журналу (по поводу «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо и с другим его признанием в беседе с Вернером на пути к месту поединка с Грушницким (VI, стр. 324).

«Из двух друзей всегда один раб другого...»

У Льва Толстого в «Отрочестве» (гл. XXVII) Иртеньев говорит: «Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя; одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо...» Возможно, что у Печорина здесь прямо цитата (хотя и глухая) из Альфонса Карра (1808—1890), писателя, которого Лермонтов знал не только по двухтомному роману «*Sous les tilleuls*» («Под липами»), но и по его лирике. Под непосредственным влиянием Альфонса Карра написано одно из последних стихотворений Лермонтова «Любовь мертвеца» (1841, II, стр. 180 и 355; ср.: Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 446—450; ср.: Лермонтов, VI, стр. 452 и 747).

«Я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление...»

Речь идет о Ставрополе, где в 1837 году Лермонтов познакомился с Н. В. Майером, другом сосланных декабристов и передовой молодежи, служившей тогда на

Кавказе. В этом «шумном кругу молодежи» были: кн. В. М. Голицын С. В. Кривцов, В. Н. Лихарев, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, кн. А. И. Одоевский и барон А. Е. Розен. Н. В. Майер пользовался большим уважением за свой независимый характер и передовые политические убеждения (см.: Д у р ы л и н, стр. 132).

«Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером».

Цицерон в книге «De divinatione» («Об угадывании», кн. 2, гл. 24, 351) и в «De natura deorum» («О природе богов») ссылается на Катона старшего: «Очень хорошо известны слова Катона, который говорил, что он удивляется, почему не смеется гаруспик, когда видит другого гаруспика». Катон имел в виду не авгура, гадателя по полету и крику птиц, а гаруспика, гадателя по внутренностям жертвенных животных.

Жрецы-гадатели (авгуры, гаруспики и др.) составляли в Древнем Риме влиятельную коллегию, их гаданиям и истолкованиям придавалось большое значение и ни одно из важных государственных дел не решалось без выяснения предзнаменований (ауспиций). Если ауспиции были неблагоприятны, поход, народное собрание и т. д. отменялись. Сами же гадатели в более поздние времена уже не верили в свои предсказания и втайне относились к своему ремеслу иронически, отлично понимая друг друга. Так понимали друг друга и скептически относились к собственным философствованиям Печорин и Вернер.

Любопытно, что это место в повести «Княжна Мери» очень близко к отрывку из «Путешествия Онегина»:

Святая дружба! — глас природы — !!
Взглянув друг на друга потом
Как Цицероновы Авгуры
Мы рассмеялись тишком ———

Далее в рукописи следуют многочисленные тире (см.: Пушкин, V, стр. 564).

На это совпадение обратил внимание А. О. Гербстман. Лермонтов не мог знать этого отрывка из «Евгения Онегина», так как эти стихи были выброшены Пушкиным из текста путешествия Онегина и были впервые опубликованы уже после смерти Лермонтова. Показательно, что

первоначально в рукописи у Лермонтова отсутствовало имя Цицерона; рукописный вариант: «По словам Виргилия» (VI, стр. 578). Если бы Лермонтов знал пушкинский текст, он не допустил бы такой ошибки. Вложив в уста Печорина широко распространенное сравнение с авгурами, Лермонтов заставил себя проверить текст и уточнить указание, кому из древних принадлежит это сравнение. Совпадение упоминания об авгурах у Пушкина и у Лермонтова объясняется общностью античного источника.

«Печальное нам смешно, смешное грустно».

Ср. в стихотворении Лермонтова «А. О. Смирновой» (1840):

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно

(II, стр. 163).

«Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль».

Княжна Мери склонна воспринимать Грушницкого в романтическом ореоле и идеализирует его. Если бы она знала, что Грушницкий не разжалован и не сослан, что никакой дуэльной истории у него не было, — интерес ее к нему и «его толстой солдатской шинели» резко уменьшился бы.

Дуэль — поединок между двумя противниками для восстановления оскорбленной чести одного из них. Как заранее установленный бой — дуэль предполагает вызов и принятие вызова, переговоры секундантов об условиях поединка (выбор оружия и т. д.) и самый бой. Дуэль возникла во Франции в XV век. К концу XVIII — началу XIX века уже был выработан дуэльный кодекс, предусматривающий решение спорных вопросов дуэли и определяющий условия, при которых дуэль считается правильной. Как и правительства других европейских стран, русское правительство пыталось бороться с этим феодальным средневековым способом защиты сословной чести: Петр I присуждал обоих дуэлянтов к смертной казни; Екатерина II — к лишению прав и ссылке в Сибирь и т. д. Однако дуэль оставалась в дворянском, главным образом военном, кругу прочно укоренившимся обычаем, и наказание за дуэль чаще всего ограничивалось разжалованием в солдаты или переводом из гвардии в армейские

полки. Лермонтов, видимо, несколько раз дрался на дуэли, но документально устанавливается две дуэли Лермонтова: 18 февраля 1840 года с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом в окрестностях Петербурга и 15 (27) июля 1841 года с Н. С. Мартыновым у подножия Машука в окрестностях Пятигорска.

О дуэли Лермонтова с де Барантом см.: Э. Г. Герштейн. Судьба Лермонтова. М., «Советский писатель», 1964, стр. 11—52; о дуэли с Н. С. Мартыновым: там же, стр. 380—456; Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 497—524; А. В. Попов. Дуэль и смерть Лермонтова. Ставропольское книжное издательство, 1959, 48 стр. и С. Б. Латышев и В. А. Мануйлов. Как погиб Лермонтов. — «Русская литература», 1966, № 2, стр. 105—128.

Литературу о дуэлях Лермонтова см.: В. А. Мануйлов, М. И. Гиллельсон и В. Э. Вацуро. М. Ю. Лермонтов. Семинарий. Л., Учпедгиз, 1960, стр. 277—279 и 281—283.

«Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой».

Это знает и Печорин, почему он говорит Вернеру: «дальше, доктор...», не желая обсуждать вопрос об отношении своему к Грушницкому. Ср. выше слова Печорина о Грушницком: «Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать» (VI, стр. 263).

«Кажется, ваша история там наделала много шума! Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противу-речил...»

О какой-то петербургской истории, послужившей причиной отъезда Печорина на Кавказ, может быть, о дуэли, Печорин не рассказывает в своих записках, заинтриговывая этим читателя. Для Лермонтова предыстория Печорина не имела сюжетного значения, он сосредоточил все внимание на раскрытии уже сформировавшегося героя времени. Этот разговор Печорина с Вернером в значи-

тельной мере повторяет недавний их разговор о Грушницком. И о прошлом Грушницкого доктор Вернер оставил Лиговских «в приятном заблуждении» (VI, стр. 271).

«Вы мне должны описать маменьку с дочкой...»

Ответ Вернера на эту просьбу носит явно шутливо-пародийный характер. Вернер подчеркивает свой профессиональный медицинский подход. Любопытно, что этот ответ Вернера вызвал горячее и наивное возражение одного из первых критиков романа — С. П. Шевырева, который увидел в характеристике княгини Лиговской нападки и клевету на Москву и ее нравы («Москвитянин», 1841, № 2, стр. 222—223).

«...Купаться два раза в неделю в разводной ванне...»

Разводная ванна назначалась пожилым людям, чтобы ослабить сильное действие минеральной воды. Она разводилась наполовину или начетверть обыкновенной пресной водой.

«А вы были в Москве, доктор?»

Вопрос этот — очень тонкая шпилька, подпущенная Печориным. Во-первых, Печорин своим вопросом выразил удивление: он не ожидал, что провинциальный врач Вернер мог быть в одной из столиц, во-вторых, он причислил своим вопросом Вернера к «сорокалетним острякам», что в данном контексте для Вернера не совсем лестно. Доктор, вероятно, почувствовал это, но со всем тактом умного и воспитанного человека сделал вид, что ничего не заметил. Следует отметить, что доктору Майеру, оригиналу Вернера, ко времени появления романа было уже под сорок. Ср.: «Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками» (VI, стр. 272).

«Я глупо создан: ничего не забываю...»

Как отметил Дурылин, «признание это сближает Печорина со многими героями лермонтовской поэзии. Они все не знают и не хотят знать забвенья; все они наделены неумиряющей памятью» (Дурылин, стр. 220). См. стихотворения «Расстались мы...» (т. II, стр. 94); «Любовь мертвеца» (II, стр. 180). Эта черта точнее всего выражена в формулировке:

Забуть? — забвенья не дал бог,
Да он и не взял бы забвения!..

(«Демон», IV, стр. 189)

Измаил-Бей сожалеет, что

Все в мире есть, — забвенья только нет (IV, стр. 196).

По мнению В. Д. Спасовича, в Лермонтове «от природы преобладала эмоциональная деятельность над рефлексной. Он обладал такою же страшною «памятью сердца», как Байрон» (В. Д. Спасович. Байронизм у Лермонтова. — В кн.: В. Д. Спасович. Сочинения. Спб., 1889, т. II, стр. 308).

«...остановил двух знакомых Д... офицеров».

Вероятно, драгунских офицеров, может быть, офицеров Нижегородского драгунского полка, в котором летом и осенью 1837 года служил Лермонтов (см.: В. Потто. История 44 драгунского полка, т. IV, 1894, стр. 85—86).

Магазин Челахова был тогдашним пятигорским «универмагом», где можно было достать даже столичные журналы (см. письмо Н. В. Станкевича к В. Г. Белинскому 30 мая 1836 г. — В кн.: Н. В. Станкевич. Переписка. М., 1914, стр. 412).

С. И. Недумов обнаружил любопытную докладную записку Нахичеванского 3-й гильдии купца Никиты Челахова, поданную им 27 июля 1838 года на имя начальника Кавказской области генерала П. Х. Граббе. Из этой записки явствует, что у Челахова был магазин не только в Пятигорске, но и в Тифлисе, что он торговал «галантерейными и прочими товарами в Кавказской области... без малого тринадцать лет» и что он «неоднократно публиковал в газетах, что в магазине... в гор. Пятигорске... можно купить, нисколько не дороже противу существующих цен в Москве, разные товары российского и иностранного произведения» (Ставропольский госархив, фонд № 79 начальника Кавказской области, дело № 2439, 1838 год). Описание «Депо разных галантерейных, косметических и азиатских товаров» Н. Челахова см.: «Северная пчела», 1836. № 89.

«Рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар».

Сравнением с архимедовым рычагом Лермонтов собирався воспользоваться раньше в «Княгине Лиговской» (гл. VIII), где говорится об Архимеде, который «обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку упора»

(VI, стр. 180). Архимеду, великому греческому математику, жившему в III веке до нашей эры, предание приписывает слова (известные в нескольких редакциях), что можно было бы повернуть землю, земную ось, если бы дано было «где стать» (т. е. вне земли), если вне земли можно было бы найти точку опоры.

«Господин, у которого такой неприятный, тяжелый взгляд».

Мери подтверждает впечатление, которое произвел взгляд Печорина на рассказчика («Максим Максимыч», VI, стр. 244). Автор придал своему герою свою собственную черту. До нас дошло много воспоминаний о Лермонтове, в которых единогласно отмечается, что взгляд Лермонтова был весьма пронзителен и тяжел, и привыкнуть к нему было нелегко. Этот «тяжелый взор» произвел неизгладимое впечатление на И. С. Тургенева: «...в наружности Лермонтова было что-то злое и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижных темных глаз» (И. С. Тургенев. Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1956, стр. 330—331).

«Под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное».

См. выше *«Под нумерованной пуговицей...»* (стр. 164).

«Она десять раз публично для тебя пренебрежет мною и назовет это жертвой».

В рукописи сначала было «для тебя скомпрометируется» (VI, стр. 587). Лермонтов сознательно избегал иностранных слов и особое внимание уделял тому, чтобы психологические понятия были выражены русскими словами. Вслед за Пушкиным Лермонтов много сделал для создания русской «метафизической прозы». Например, такие поправки Лермонтова, как: «Я всегда готов [рисковать] подвергать себя смерти» (ср.: VI, стр. 598). «Впрочем очень натурально, что ей стало тебя жалко» — «очень понятно» (ср.: VI, стр. 576).

«Прихожу к колодезю... Подошел к самому гроту...»

«Колодец» — Елизаветинский источник, близ него, несколько выше — грот. Этот грот находится на внутреннем

отроге Машука, напротив Елизаветинского источника. Первоначально это была естественная пещера. В 1828 году пятигорские архитекторы братья Бернардацци отделали пещеру, высекли в скале скамьи, провели к гроту аллею. Прохладная пещера стала излюбленным местом отдыха в знойные летние дни. В 1837 году летом здесь часто отдыхал Лермонтов. Впоследствии это место получило наименование Лермонтовского грота. В 1858 году грот облицован тесаным камнем и закрыт железной решеткой. В 1870 году тамбовский помещик Алексеев установил здесь мраморную доску с высеченными на ней стихами, посвященными Лермонтову. В 1922 году доска снята (хранится в музее «Домик Лермонтова»). Ныне над гротом доска с надписью: «Грот Лермонтова» (см.: Е. И. Яковкина. По лермонтовским местам. Пятигорск, 1938, стр. 92—94).

«Обещая грозу...»

Лермонтов, много раз заявлявший о своем родстве с бурей, избегает описывать грозу. В поэме «Мцыри» он ограничивается общими эпитетами при описании грозы: «И в час ночной, ужасный час...» и т. д. Вместо образов грозы — только передача впечатления, которое она произвела на монахов и на Мцыри. И в «Герое нашего времени» Лермонтов избежал изображения грозы, описав только предгрозье и упомянув, что гроза прошла, пока Печорин и Вера были в гроте (см.: В. М. Фишер. Поэтика Лермонтова. — В сб.: Венок Лермонтову. М., 1914, стр. 207).

— *Вера!* — *вскрикнул я невольно.*

Из всех женщин, выведенных в романе, самой сложной, разнообразной и интересной натурой является Вера. Именно ее душевным богатством и сложностью натуры объясняются разноречивые суждения о ней в критике (Белинский, IV, стр. 268; С. П. Шевырев. — «Москвитянин», 1841, № 2, стр. 515—538; М. В. Авдеев. Наше общество (1820—1870) в героях и в героинях литературы. Спб., 1874, стр. 202—204; К. И. Иванов. Писемский. Спб., 1898, стр. 177; E. Duchesne M. J. Lermontov. Sa vie et ses oeuvres. Paris, 1910, pp. 174—175, 322; С. В. Шувалов. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., ГИЗ, 1925, стр. 140 и др.).

И. И. Замотин видел в Вере «жертву страстной любви, отнимающей у ней и волю, и разум... Нельзя, однако, сказать, что она любит слепо, рабски, бессознательно. Нет, она умеет отличить Печорина среди других светских, внешне культурных мужчин; она умеет понять и оценить его тонкую, артистическую натуру, своеобразное обаяние его сильного демонического характера, его разочарование и очарование... Лермонтов в образе Веры не столько обличил светскую пустоту и пошлость, сколько изобразил природу любви светской женщины, любви страстной, изысканной, болезненной, утонченной, но в то же время лишенной того серьезного нравственного содержания, которое разом дает высший смысл жизни и любящему, и любимому. Сам Лермонтов, по-видимому, всю жизнь искал такой серьезной любви, основанной на родстве духовных организаций, и не находил, потому что обычно встречал ту или иную разновидность страстного, но пассивного, бесодержательного чувства, воплощением которого является Вера» (И. И. Замотин. Мотивы идеального строительства жизни. Варшава, 1914, стр. 139—140).

В дореволюционной критике наиболее обстоятельно анализировал образ Веры Н. И. Стороженко: «Вера представляет собой оригинальный тип женщины, которую с полным правом можно назвать мученицей своего чувства. Эмоциональность развита в ней в высшей степени, но эта эмоциональность односторонняя. Любовь охватывает ее сердце с такой роковой силой, что все остальные чувства являются у ней как бы атрофированными... Нельзя сказать, чтобы женщины этого типа в своих любовных увлечениях руководствовались исключительно чувственной страстью или жаждой наслаждения. Напротив, в большинстве случаев любовь дает им очень мало радостей и очень много горя и упреков совести. Такова многострадальная героиня Лермонтова».

Возражая Белинскому, который назвал Веру «сатирой на женщину», Н. И. Стороженко заступается за нее: «...хотя Вера принадлежит к числу тех женщин, у которых чувство сильнее долга и собственного достоинства, но ее нельзя назвать типом отрицательным. У ней есть то, что составляет основу всякой истинной женственности, — способность любить, жертвовать собой и прощать. Поставленная в другие условия, эта женщина, при ее готовности приносить в жертву все для любимого человека, могла

бы составить счастье любого мужчины... Характеристика Веры у Лермонтова — это блистательный психологический этюд, одинаково совершенный как в общем замысле, так и в отделке деталей» (Н. И. Стороженко. Женские типы, созданные Лермонтовым. — В кн.: Из области литературы. М., 1902, стр. 368—370; ср. «Русские ведомости», 1891, № 113).

Много нового и верного в понимание образа Веры и его значения в романе внесла советская исследовательница Е. Н. Михайлова: «Образ Веры не имеет бытовой «освещенности», определенности. Внешность ее передана самыми общими чертами, в безличном «паспортном» ее описании Вернером нельзя уловить ничего отчетливо индивидуализированного, кроме разве чахоточного цвета лица, и самая характерная деталь — черная родинка на правой щеке, столь памятная Лермонтову биографически, ничего не определяет в личности Веры. От всего ее внешнего облика остаются лишь одна-две черты, отмеченные самим Печориным, но и они не столько показывают Веру, сколько передают психологическое впечатление: «милый голос», «глубокие и спокойные глаза»... В изображении ее внутреннего мира есть только три краски: любовь, ревность, страдание, и, собственно, две последних — только оттенки всепоглощающей первой. Ситуации, в которых она показана, — это только свидания с Печориным или безмолвное присутствие в гостиной Лиговских, когда он бывает там. Мы не знаем ничего ни о ее образе жизни, ни об отношениях с людьми (кроме Мери, к которой она ревнует), ни о ее умственном кругозоре, мы не слышим ее разговоров ни с кем, кроме Печорина. Действительно, кажется, что она существует вне среды, почти вне быта; быт — только легкая декорация для ее встреч с Печориным. Но это все — не недостаток внимания автора, не слабость Лермонтова, но строго оправданная замыслом художественная целесообразность. Вера такую и должна быть, ибо она — образ самой любви, беззаветной, самозабвенной, не знающей границ, переступившей через запреты среды, ничего не теряющей от сознания недостатков и пороков возлюбленного. Только такая любовь и может раскрыть ожесточенное и жаждущее сердце Печорина, отвращающегося от женщин «с характером». Лермонтов почти совершенно изгоняет из облика Веры какую-либо определенность светского колорита, и это понятно: свет-

скость и искренность чувства — начала враждебные, взаимоисключающие, а Вера — само чувство, не знающее ни противоречий, ни сопротивления.

Линия отношений Печорина и Веры отведена на второй план романа, — критика героя, оценка его общественной функции занимает главное внимание Лермонтова; это же — маленький потаенный уголок жизни, где Печорин хоть отчасти раскрывает те стороны своей натуры, не доступные для постороннего глаза, в которых он приближается к искаженному средой «природному» естественному своему облику. Фигура Веры прячется в тени, пока на очереди стоят большие, мучительные проблемы — о деятельности, о цели, об обществе. Неслышно возникает она рядом с Печориным, когда одиночество, ожесточенность, бессмыслица жизни в обществе толкают его жаждущую душу к «душе родной», и снова она отступает в тень, как только неутомимая потребность действовать бросает Печорина в столкновение с людьми.

В отношениях с Верой Печорин вовсе не избавлен от той уродующей печати, которую общество наложило на его природные черты. Любовь его к Вере эгоцентрична.

И дальше: «...любовь к Вере не может заполнить целиком и подчинить себе личность Печорина. Она не приведет Печорина и к примирению с людьми и добром: Печорин не ищет в ней возрождения, как Демон в любви Тамары. Роман Печорина и Веры необходим в обрисовке образа «героя нашего времени» потому, что здесь Лермонтов позволяет видеть под обликом холодного эгоиста глубину и силу чувств Печорина» (Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 323—325).

Жизненность и убедительность образа Веры в значительной степени объясняется тем, что Вера во многом отразила дорогие Лермонтову черты Варвары Александровны Лопухиной-Бахметевой (1815—1851).

Дурылин повторил ошибку, допущенную им в отношении к Печорину, и предысторию Веры построил на основании романа «Княгиня Лиговская» и драмы «Два брата» (Дурылин, стр. 143—150).

Лермонтов, по свидетельству А. П. Шан-Гирея, будучи студентом, «был страстно влюблен в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь

помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15—16 мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко и мы всегда приставали к ней, повторяя «у Вареньки родинка, Варенька уродинка», но она, добрейшее создание; никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование; напротив, в начале своем оно возбуждало взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе временно заглушено было новою обстановкою и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины...» («Русское обозрение», 1890, кн. 8, стр. 729).

25 мая 1835 года Варвара Александровна вышла замуж за Николая Федоровича Бахметева (1798—1884), очень богатого человека. Это случилось вскоре после того, как она узнала, что Лермонтов расстроил брак ее брата Алексея с Е. А. Сушковой. Варвара Александровна не сразу поняла, что это было не вероломство по отношению к другу и не измена ей, а искреннее желание спасти Алексея от неудачного выбора. История с Сушковой внесла в ее доверчивую душу смятение, ей показалось, что ее привязанность к Лермонтову, ее вера в него навсегда разрушены.

А. П. Шан-Гирей рассказывал о том, как принял Лермонтов известие о замужестве Вареньки: «...я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «вот новость — прочти», и вышел из комнаты» («Русское обозрение», 1890, кн. 8, стр. 738 — 739).

Николай Федорович Бахметев был старше жены на семнадцать лет. Он оказался черствым и мелочным человеком. По его требованию Варваре Александровне пришлось уничтожить письма Лермонтова, адресованные к ней. Чтобы спасти кое-что из его рукописей и рисунков, их взяла к себе Александра Михайловна Верещагина.

Лермонтов встретился с Варварой Александровной только в конце 1835 года, когда был в Москве проездом в Тарханы. Состоялся очень трудный для обоих разговор. Все недоразумения разъяснились. Но возврата к прошлому быть не могло. Все было кончено.

Последняя встреча Лермонтова с Варварой Александровной состоялась в 1838 году, когда Бахметевы ехали через Петербург за границу. Эту встречу А. П. Шан-Гирей описал так: «Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно ждалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только ее глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде» («Русское обозрение», 1890, кн. 8, стр. 745).

Наружность Веры в романе Лермонтова очень напоминает внешность Варвары Александровны. Доктор Вернер говорит о Вере: «...очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своей выразительностью» (VI, стр. 273).

Недавно из Западной Германии от профессора Мартина Винклера в Государственный литературный музей поступил акварельный портрет Варвары Александровны Лопухиной в образе испанской монахини, долгое время хранившийся у А. М. Верецагиной (см.: Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 198—201, 228—229; портрет воспроизведен за № 11 в альбоме, приложенном к книге). Ср. публикацию Н. П. Пахомова «Подруга юных дней... По поводу портрета В. Лопухиной, рисованного Лермонтовым». — «Огонек», 1961, № 31, стр. 9 и вкладка на той же странице).

Известны еще две другие акварели Лермонтова, которые П. А. Висковатый также признавал за портреты Лопухиной (Музей Пушкинского дома Академии наук СССР, № 57944 и № 3195. См.: Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома, вып. II., М. Ю. Лермонтов. М. — Л., Изд. АН СССР, 1953, стр. 121 и 123).

Теперь, когда в Советский Союз возвратились материалы из архива А. М. Верецагиной-Гюгель и среди них переписка Верецагиной с матерью и М. А. Лопухиной,

мы узнали много интересных и значительных подробностей о жизни Варвары Александровны, о том, как она не нашла счастья в браке, всю жизнь оставалась верна своему глубокому чувству к поэту. Об этом см. в публикациях: И. Л. Андроников. Рукописи из Фельдафинга. — «Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина». М., 1963, вып. 26, стр. 5—33 и И. А. Гладыш, Т. Г. Динесман. Архив А. М. Верещагиной. Там же, стр. 34—62.

В. А. Лопухина-Бахметева вдохновила Лермонтова на создание образа Веры Дмитриевны в неоконченном романе «Княгиня Лиговская» и Веры в драме «Два брата». В том и другом произведении в образе мужа Веры угадывается Н. Ф. Бахметев, так же как и в образе Семена Васильевича Г...ва, дальнего родственника княгини и княжны Лиговских в повести «Княжна Мери» (VI, стр. 279). Не удивительно, что Н. Ф. Бахметев был крайне раздражен, когда появился в свет роман «Герой нашего времени»; ему казалось, что все знакомые узнают его и его жену в образе Веры и Семена Васильевича. П. А. Висковатый сообщал: «...нам известен случай, когда Бахметев на запрос, был ли он с женою на кавказских водах, пришел в негодование и воскликнул: «Никогда я не был на Кавказе с женою! — это все изобрели глупые мальчишки. Я был с нею, больною, на водах за границей, я никогда не был в Пятигорске или там в дурацком Кисловодске» (П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. М., 1891, стр. 288—289).

У Варвары Александровны Лопухиной-Бахметевой была дочь, к которой относится стихотворение Лермонтова «Ребенку» («О грезах юности томим воспоминаньем», II, стр. 161, см.: Е. А. Бобров. Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий. — Известия ОРЯС, кн. I. 1909, т. XIV, стр. 91—93).

Бесспорная близость внешнего облика и психологического портрета Веры и В. А. Лопухиной-Бахметевой, конечно, не дает никаких оснований отождествлять судьбу Веры, все детали ее биографии с жизнью Варвары Александровны. Отношения Варвары Александровны с Лермонтовым всю жизнь оставались платоническими и ничего похожего на ночное посещение Веры Печориным не могло быть. Исследователь, который попытался бы перенести историю отношений Печорина и Веры на отноше-

ния Лермонтова и Варвары Александровны впал бы в такую же грубую ошибку, как и ревнивый Бахметев, не сумевший понять разницы между жизненной и художественной правдой.

«Один из тех разговоров...»

Здесь мы видим прозаическое выражение мысли, которая с такою силою выражена Лермонтовым в стихах:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья... (1840, II, стр. 144)

«Да, я уже прошел тот период жизни душевной...»

Подобную перемену испытал и сам Лермонтов. О своем освобождении от юношеского романтизма он писал в стихотворении «В альбом С. Н. Карамзиной» (II, стр. 188). Об этом подробнее см. во вступительной статье, стр. 23.

«Один только раз я любил женщину с твердою волей...»

Товарищ Лермонтова по кавалерийской школе А. Меринский рассказывает, что это «раз случилось с самим поэтом в его ранней юности, как он мне сам о том рассказывал, и о чем, кажется, намекает в одном месте записок Печорина» («Атеней», 1858, ч. VI, стр. 300).

«Fievre lente» — медленная, изнурительная лихорадка.

«Уж не молодость ли с своими благотворными бурями...»

Может быть, это отражение стихов из «Евгения Онегина»:

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям...

(Пушкин, V, стр. 178)

*«...Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь;
я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве,
против пустынного ветра...»*

Страстный любитель верховой езды и отменный наездник, Лермонтов много ездил в окрестностях Пятигорска. Однажды ему пришлось кинжалом отбиваться от трех горцев, преследовавших его около озера между Пятигорском и Георгиевским укреплением. Конь Лермонтова оказался выносливым и Лермонтов ушел от преследователя (см.: П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 342—343).

П. К. Мартьянов со слов В. И. Чилаева и Н. И. Равевского записал, что летом 1841 года в Пятигорске «иногда по утрам Лермонтов уезжал на своем лихом «Черкесе» за город, уезжал рано и большей частью вдрут, не предупредив заблаговременно никого: встанет, велит оседлать лошадь и умчится один. Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необозримой степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни. Но при этом им руководила не одна только любительская страсть к езде, он хотел выработать из себя лихого наездника-джигита, в чем неоспоримо и преуспел, так как все товарищи его, кавалеристы, знатоки верховой езды, признавали и высоко ценили в нем столь необходимые, по тогдашнему времени, качества бесстрашного, лихого и неутомимого ездока-джигита» (П. К. Мартьянов. Дела и люди века. Спб., 1893, т. II, стр. 45).

В творчестве Лермонтова часто повторяется мотив стремительной скачки, радостного ощущения вольного полета, быстрого, захватывающего дух движения; см., например, стихотворение «Люблю я цепи синих гор» (1832, I, стр. 7—8). Так же скачет Измаил-Бей («Измаил-Бей», ч. 1, строфа XVI, т. III, стр. 163); ср. стихотворение «Узник» (1832, II, стр. 89) и поэму «Сашка» (строфы CXLV—CXLVI, т. IV, стр. 96).

«Какая бы горесть ни лежала на сердце...»

С. П. Шевырев в своей статье о романе Лермонтова отказывался допустить, чтобы в Печорине «могла сохраниться любовь к природе, которую приписывает ему автор; мы не верим, чтобы он мог забываться в ее картинах. В этом случае автор портит цельность характера и

едва ли своему герою не приписывает собственного чувства». И наивно доверяясь высказываниям Печорина о себе самом, Шевырев спрашивает читателя: «...человек, который любит музыку только для пищеварения, может ли любить природу?» («Москвитянин», 1841, ч. I, № 2, стр. 529).

С. В. Шувалов объяснил происхождение этих ощущений Печорина: «Отталкиваясь от блестящего, но внутренне-пустого и искусственного светского общества. Печорин и подобные ему дворянские интеллигенты устремлялись по контрасту ко всему социально-примитивному, естественному, к простым, непосредственно-стихийным людям и к дикой, девственной природе. Эта идеализация простого, первобытного, эта тяга от культуры к природе (начальная стадия дворянского опрощения) часто связывались в то время с Кавказом, привлекательным своей экзотичностью, далекостью от русского пейзажа и быта...» Близок к природе и рассказчик первых двух повестей. «Рассказчику, как и Печорину, свойственна характерная для их социальной среды тяга к природе, вера в ее очищающее значение для «испорченного культурой» человека...» (С. В. Шувалов. «Герой нашего времени» в школьной проработке. — «Русский язык в советской школе», 1929, № 4, стр. 53—54, 57, 64).

Об отношении Лермонтова к природе см. на стр. 241.

«...Казачи на своих вышках...»

С начала XIX века вся Кавказская линия почти столетия, вплоть до распространения электрического телеграфа, от Черного до Каспийского моря была окаймлена цепью казачьих постов, охранявших границу. На каждом посту была сторожевая вышка, служившая для наблюдения и сигнализации. До нас дошло множество описаний таких постов и вышек. Вот, например, описание поста близ Пятигорска как раз в эпоху «Героя нашего времени». «Соломенный шалашик, где два-три казака едва могут укрыться от непогоды, и то сторбившись, или спать вповалку; лошади привязаны к колу или, стреноженные и оседланные, пущены недалеко; род клетки на четырех высоких шестах служит караульной сторожевому казаку, который с этого возвышения обозревает окрестность и бьет тревогу в случае опасности; внизу оставшиеся казаки садятся тотчас на лошадей и скачут

с вестью к соседним постам... Таким образом в одно мгновение вся линия на ногах, и помощь спешит куда нужно» (Я. Сабуров. Кавказ. — «Московский наблюдатель», 1835, ч. IV, стр. 36). Товарищ Лермонтова М. И. Цейдлер описывает: «...на высоких столбах сторожки, открытые со всех сторон, с небольшими камышовыми или соломенными крышами в защиту сторожевому казаку от солнца или дождя. Тут же сделан маяк; это высокий шест, обвитый осмоленной соломой... С возвышения сторожевому казаку видна вся местность на далекое расстояние, а внизу, у поста, два или три казака держат в поводу коней, и по первому выстрелу зажигается маяк и сигнал тревоги передается быстро на далекое расстояние. Верховой казак в то же время летит к ближайшему посту, сообщая, в чем дело: замечена ли переправившаяся партия черкесов, или угнан у станичников скот» (М. И. Цейдлер. На Кавказе в 30-х годах. — «Русский вестник», 1888, кн. 9, стр. 131; ср.: Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов, ч. II. М., 1865, стр. 7; А. Е. Розен. Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 253). Изображение казачьей вышки см.: «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, 1961, стр. 237.

«Верно по одежде приняли меня за черкеса...»

А. П. Беляев изображает кавказского денди, передавая свои впечатления 1840 года: «...нет ничего живописнее казака или горца (так как отличить одного от другого незнающему трудно) на своем лпхом коне. Костюм его — белая или желтая черкеска из верблюжьего сукна, род широкого, свободного полукафтання, без воротника, открытый на груди; из-под черкески виднеется щегольской бешмет из канауса или какой-нибудь шелковой материи, по краям обшитый галунами, с низким стоячим воротничком. На груди по обе стороны черкесские сафьянные патроны, также обшитые галунами; кожаный, довольно высокий пояс, всегда с серебряной насечкой, стягивает стан тонкий и эластичный. Нога обута в щегольской сафьянный чувяк, также обшитый галуном. Поверх чувяк на панталоны надеты суконные ноговицы, идущие снизу несколько выше колен, расшитые узорчато галунами. На голове папаха, круглая, обшитая мехом шапка. За спиной винтовка в чехле из войлока. За поясом огромный кинжал, большею частью с серебряной насечкой.

В кобуре с правой стороны большой азиатский пистолет, а за поясом другой. Тонкая нагайка надета на кисть правой руки... Мчится он обыкновенно пригнувшись к шее лошади, на которой сидит так же свободно и покойно, как бы сидел на мягком диване» (А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. СПб., 1882, стр. 374—375).

Это описание несколько дополняет и объясняет подробности черкесского костюма Печорина и рисует образец, к которому стремился этот «совершенный денди». Мнение Печорина о кабардинском щегольстве подтверждается показаниями знатоков Кавказа. «Кабардинцы, — говорит, например, А. Л. Зиссерман, — были в некотором роде кавказскими французами; отсюда распространялась мода на платье, на вооружение, на седловку, на манеру джигитовки» (Двадцать пять лет на Кавказе, 1842—1867, ч. II. СПб., 1879, стр. 382). «Костюм черкесов, — рассказывает, описывая северный Кавказ в 1830-х годах, Г. И. Филипсон, — был в большой моде у всех русских. Большая часть офицеров, особенно приезжих, носили этот костюм... Черкесское оружие носили всегда и все офицеры... Оружие имело условную цену, иногда до нелепости высокую; наружный вид и отделка оружия были своеобразны и очень красивы. Русские переняли от черкесов старательное сбережение оружия» («Русский архив», 1883, т. III, стр. 164—165).

Другой современник Лермонтова Ф. Ф. Торнау считает кабардинцев и других черкесов самой лучшей кавказской конницей. (Воспоминания кавказского офицера. М., 1864, ч. II, стр. 32.) «Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до ноговиц, равно как и вооружение, приспособлены как нельзя лучше к конной драке». Молодецким видом кабардинцев восхищается и лермонтовский «кавказец» (VI, стр. 350).

Сам Лермонтов во время военных экспедиций гарцевал «на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы» (П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. М., 1891, стр. 344).

«Я совершенный денди: ни одного галуна лишнего...»

Английское слово, обозначающее франта, щеголя. У нас ему дал право гражданства «Евгений Онегин»

Пушкина (гл. I, строфа IV). Печорин подчеркивает, что носит черкесскую одежду — бешмет, черкеску, ноговицы — с такой же аристократической изысканной простотой, как носил в свое время гвардейский мундир. По определению Лермонтова, «...хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего...» («Княгиня Лиговская», VI, стр. 131).

Черевики — так на Украине называются сапожки, по преимуществу женские. Лермонтов говорил по-украински и в данном случае допускал неточность: необходимая обувь кабардинца не черевикн, а чувяки, плотно облегающие ступню, с самой легкой и мягкой подошвой; черкесские щеголи на чувяки обращали особое внимание.

Впрочем, Н. О. Лернер отмечал, что в книге «Неправдоподобные рассказы чичероне дель К...о. П. Федор Петрович Каталкин» (Спб., 1837) армейский офицер в казачьей станице франтит в разноцветных ноговках и в красных черевиках (стр. 184). В части третьей, «Несчастливец», кабардинский князек танцует лезгинку в сафьянных цветных черевиках (стр. 209).

«Немецкая колония» Каррас (по имени стоявшего когда-то здесь аула), или Шотландская колония, в просторечии Шотландка, так как ее населяли колонисты-шотландцы (ныне Иноземцево), отстояла от Пятигорска в 7 верстах. Впоследствии из-за частых нападений черкесов многие колонисты покинули Шотландку. На смену шотландцам в еще большем числе приехали немцы (выходцы из Вюртемберга). Во времена Лермонтова колония была немецкой. Она славилась садами и была любимым местом для прогулок пятигорских «курсовых» (т. е. тех, кто приезжал в Пятигорск пройти курс лечения водами), которых особенно привлекала «ресторация».

Н. И. Лорер сообщал: «По дороге из Пятигорска к Железноводску красиво разбросалась и существует давно уже колония шотландцев, отчего называется Шотландкою; чистые на немецкий манер домики имеют сады и огороды, и вся постройка тонет в зелени садов. Зажиточные колонисты часто отдают свои домики под пикники, устраиваемые наезжающими семействами из Пятигорска. Подобных роз-центифолий, какие я рвал в Шотландке, мне не случалось видеть нигде. Жители живут

в довольстве и покое, но лет десять тому назад [т. е. до начала 20-х годов] подвергались набегам горцев» (см.: Н. И. Лорер. Из записок. — «Русский архив», 1874, ч. II, столб. 689—690; Я. Сабуров. Кавказ. — «Московский наблюдатель», 1835, ч. IV, стр. 34—36; А. Е. Розен. Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 249, 252—254; Н. В. Станкевич. Переписка. М., 1914, стр. 357, 612).

Лермонтов обедал в Каррасе, где останавливался по пути из Железноводска к месту своего рокового поединка (см.: «Русская старина», 1892, кн. 3, стр. 767—768). Дом колониста Рошке, где бывал Лермонтов, сохранился до наших дней (см.: В. Я. Симанская. Шотландка — селение Каррас. (Лермонтовские места в Пятигорье.) — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Сборник статей и материалов. Ставрополь, 1960, стр. 200—211).

«*En piquenique*». Слово «*piquenique*» обозначает загородную пирушку, устраиваемую в складчину. Во времена Лермонтова оно еще не обрусело. Впоследствии «пикник» по праву вошел в «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля. *Piquenique* — слово французское, но происхождения иноземного (возможно, немецкого или английского), что точно не удалось выяснить французским ученым.

Змеиная, Железная, Лысая гора. Змеиная — одна из гор в степи, в окрестностях Пятигорска; своей подошвою соединяется с Железною горою. Змеиная гора скалиста, имеет крутые скаты и издали походит на группу змей (в тюркских языках — Жлантау, по-черкесски Блеопги). Железная гора состоит из известкового и глинистого сланца; в середине XIX века была покрыта густым лесом, со склонов этой горы бьют железистые источники; Лысая гора к северо-востоку от Пятигорска, на правом берегу реки Подкумок, состоит из известняка, лишена растительности (см.: Географическо-статистический словарь Российской Империи. Составил Н. Семенов, т. I. Спб., 1865, стр. 224, 292; т. II Спб., 1867, стр. 111).

Из этих вершин Пятигорья, расположенных в нескольких верстах от Пятигорска, первые две упоминаются в «Измаил-Бее»:

Между Железной и Змеиной,
Где чуть приметный путь лежал,
Цветущей, узкою долиной
Тихонько всадник проезжал... (III, стр. 159)

«Балки на здешнем наречии...»

Под «здесьним» наречием Лермонтов разумеет южно-русский диалект, в который слово «балка» вошло еще в незапамятные времена из татарского языка. В «Бэле» автор дал объяснение этого слова — «овраг» (VI, стр. 230).

«Кавалькада» (франц.) — от итальянского слова *carro* — конь, группа, вереница всадников.

«Амазонка» — так называется длинное дамское платье, внизу широкое, вверху плотно облегающее тело, надеваемое для верховой езды.

«Смесь черкесского с нижегородским» — переделка вошедшего в поговорку выражения Чацкого, который издевается над «смешением языков французского с нижегородским» (Грибоедов. Горе от ума, д. I, явл. 7-е).

— *Mon Dieu, un Circassien!*. (франц.) — Боже мой, черкес!..

— *Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier* (франц.). — Не бойтесь, сударыня, — я не опаснее вашего кавалера.

«Поздно вечером, то есть часов в 11, я пошел гулять по липовой аллее бульвара...»

По замечанию Дурылина, «описание ночи в Пятигорске может служить образцом письма Лермонтова последних лет. Несколько строк — и перед нами полная, всеобъемлющая картина ночи. Словам в ней тесно, но живописи и музыке просторно. Первая половина описания построена на зрительных впечатлениях вечера: «...в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы». На смену зрительным выступают слуховые впечатления: шум ключей, топот коня, скрип арбы, припев песни. С проникновенным реализмом и вместе с тончайшим лиризмом подмечает Лермонтов эту смену впечатлений и из нее создает картину и вместе симфонию ночи, опираясь на прекрасную ясность малейшей черты, на мелодичную точность любого звука. Это проза поэта, умеющего кристаллизовать чувство, мысль, образ в емкое, прозрачное, как

кристалл, слово, звучащее как мелодия; но это и проза глубокого реалиста, тонкого психолога, безошибочного наблюдателя людей и вещей. Этот отрывок, взятый отдельно, есть проникновенное изображение теплой южной ночи, но он же в ряду страниц психологического романа дает тонкую зарисовку субъективных переживаний Печорина, без которых был бы не полон его образ» (Дурыйлин, стр. 225—226).

«...Оклик часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь».

На возвышенностях, окружающих Пятигорск, еще в 30-е годы XIX века были расставлены пикеты. По ночам часовые перекликались, чтобы проверить друг друга. Вода из горячих источников спускалась ночью к подножию Машука в долину Поджумка и заболачивала местность. Этот водоем, образованный спущенными горячими ключами, изобразил десятилетний Лермонтов на акварельном рисунке, датированном 13 июня [1825 года] (см.: VI, стр. 392, вклейка)..

«Нагайская арба». На[о]гайцы — народность тюркской ветви, жили в бассейне р. Кумы (во времена Лермонтова в Ставропольской губернии и Терской области).

«Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре».

У таких эгоцентрических натур, как Печорин, «тяготение к людям, к обществу не является выражением симпатий и общественных стремлений и уживается с мизантропией, — объясняет Д. Н. Овсяннико-Куликовский. — Их, так сказать, «тянет» к людям, большинство которых они не любят и презирают, и в этом сказывается потребность отвлечься от вечных помыслов о себе и освежить новыми впечатлениями свою душу, отягченную прошлым опытом жизни» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Сочинения, т. VII. Спб., 1910, стр. 100).

«Самый приятный дом для меня теперь мой».

Эта фраза Печорина напоминает слова Лермонтова из письма к М. А. Лопухиной (по-французски) от 1832 года: «Назвать вам всех, у кого я бываю? У самого себя: вот у кого я бываю с наибольшим удовольствием» (VI, стр. 413 и перевод на стр. 703).

«...Завтра бал по подписке в зале ресторации...»

Я. Сабуров, описывая пятигорскую «ресторацию», общал: «В обширной ее зале, довольно бедно убранной, бывают балы, на которых, большие могут танцевать до упаду» (Я. Сабуров. Кавказ. — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 3, июль, кн. 2, стр. 201).

«Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания».

В «Московском телеграфѣ» 1830 года находим следующее описание пятигорской ресторации: «Здесьняя ресторация служит очень приятным местом общего сборища. В ней можно хорошо и недорого пообедать; а охотники до виста или бостона всегда найдут там себе партию. Комнаты ресторации убраны очень хорошо, зала ее обширна и очень удобна для танцев, которые в ней иногда и бывают. Словом: больные, выдержавшие карантин на горячих водах в Кисловодске, начинают оживать и опять знакомиться понемногу с удовольствиями света.

Однако ж на бале, который здесь был при мне, как-то все еще плохо клеилось, и в танцы пускались очень немногие. Зато игорные столы все были заняты.

Видно, что господа выздоравливающие не совсем еще освободились от лени, которую нагоняют теплые ванны и серные пары, или может быть иные из них выдумали позаботиться также и о поправлении здоровья кошелеков своих, которое от долгого пребывания на Кавказе весьма легко может «расстроиться» («Московский телеграф», 1830, № 10, стр. 314—315).

Благородное собрание в дореволюционной России существовало в каждом губернском городе. Вход в благородное собрание разрешался только дворянам.

Описываемый в дневнике Печорина дворянский бал по подписке, то есть в складчину, обходился до двух тысяч рублей. С. Н. Дурылин в своей книге воспроизводит подписной лист на бал в Кисловодске в 1838 году и отчет в израсходованной на бал сумме из альбома князя Н. С. Вяземского, сослуживца Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку (Дурылин, стр. 227—229).

«Пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты».

С. Н. Дурылин отметил иронический и даже сатирический тон записей Печорина о пятигорском «водяном обществе», в то время как зарисовки людей столичного круга сделаны более сдержанно (Дурылин, стр. 229).

Фишжами (искаженное немецкое слово *Fischbein*) называлась в XVIII веке широкая юбка на обручах из китового уса.

Мушками в ту же эпоху назывались маленькие кусочки черной тафты, которые дамы наклеивали на лицо для украшения, а иногда для замаскирования прыщиков или родимых пятен; ими пользовались также для любовных объяснений (существовал условный «мушиный язык», в котором количество и расположение мушек на том или ином месте лица имело свое значение).

«*Фермуар*» — французское слово. Так называется собственно застежка или пряжка, замыкающая ожерелье, а чаще само ожерелье.

Драгунский капитан.

«Драгунский капитан бесподобен, хотя и является в тени, как лицо меньшей важности», — писал Белинский (Белинский, IV, стр. 268). Это один из самых ярких типов известной части офицерства тех времен; таким типам суждено было еще много лет процветать в военной среде. Б. В. Нейману он напомнил секунданта Ленского — Зарецкого, каким был тот в юности:

...некогда буйн,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный...

(V, стр. 120—121)

(Б. В. Нейман. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914, стр. 117). Есть известие, что Лермонтов «списал» драгунского капитана с какого-то армейского гусара Сланина (П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 365).

«*C'est impyable*» (франц.). — Это уморительно.

«*Merci, monsieur*» (франц.). — Благодарю вас.

«*Пермите*» — *permettez* (франц.) — *позвольте*. Это слово дано в русской транскрипции, чтобы дать понятие об акценте господина во ффраке.

«*Ангажировать роиг тазиге*». Это приглашение до известной степени характеризует краснорожего усача, который пытался пригласить княжну на мазурку. По-французски польское слово мазурка так и произносится «*ma-zourka*» (так писал его и сам Лермонтов — VI, стр. 454), а «*musige*» значит дрянной, полуразвалившийся домишко.

«*О, я удивительно понимаю этот разговор, немой, но выразительный...*»

Сравн. в «Тамбовской казначейше (строфа XXIII):

Но эта маленькая ссора
Имела участь нежных ссор:
Меж них завелся очень скоро
Немой, но внятнй разговор.
Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный,
Кому, кто раз хоть был любим,
Не стал ты языком родным?
В минуту страстного волненья
Кому хоть раз ты не помог
Близ милых уст, у милых ног?
Кого под игом принужденья,
В толпе завистливой и злой
Не спас ты, чудный и живой? (IV, стр. 128—129)

«*Charmant! délicieux!*» — «Очаровательно! восхитительно!»

«*Ты можешь все, что хочешь*».

Вскоре Вера пишет Печорину, что в его голосе «есть власть непобедимая» (VI, стр. 332). Максим Максимыч говорил о Печорине: «...есть люди, с которыми непременно должно соглашаться» (VI, стр. 219). Все эти признания и замечания лиц, окружающих Печорина, создают у читателя представление о герое романа, как о сильном, волевом человеке..

«*А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души!*»

В самопризнании Печорина главное место занимает признание в «жажде власти» («подчинять моей воле все, что меня окружает»; VI, стр. 294) — первое и главное на-

слаждение Печорина. (Об этом подробнее см.: Дурыйн, стр. 70—109.)

Сопоставляя Онегина с Печориным, Белинский утверждал, что они близнецы по социальному происхождению, по общественному положению, но резко различны между собою, как герои двух разных десятилетий, что Онегин — не деятель, а Печорин — весь порыв к действию. «Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду...» (IV, стр. 266). Трагедия Печорина в том, что его погоня за жизнью в тесных пределах его времени и среды оказывается безрезультатной.

«..Как цветок, которого лучший аромат...»

«Аналогичное сравнение, — говорит С. Родзевич, — мы находим в «Исповеди сына века» Мюссе, и, хотя мы не можем утверждать, что Лермонтов заимствовал именно отсюда свое красочное сравнение, но, в виду и других точек соприкосновения между обоими романами, можем это предполагать. Вот как говорит Октав, наблюдая за нарядными женщинами из уголка гостиной: «ах, что за сад, что за цветы! как приятно было бы сорвать их и понюхать!» Сравнение Лермонтова оригинально лишь по своему внутреннему смыслу. В то время, как Октав говорит лишь об «удовольствии», Печорин вносит в это удовольствие элемент не то какого-то демонизма, не то деланного цинизма» (С. Родзевич. Предшественники Печорина во французской литературе. Киев, 1913, стр. 43—44).

Сравнение прекрасной женщины с цветком настолько распространено, что вряд ли целесообразно искать в данном случае какой-то определенный источник и тем более видеть в этом сравнении следы литературного влияния. Тем не менее Л. П. Семенов, не соглашаясь с С. И. Родзевичем, настаивал на другом источнике. Он указал на роман Чарльза Роберта Мэйчурина, или, как у нас его называли, Матюрина, Матюрена (1782—1824), «Мельмот Скиталец», вышедший в 1820 году. Этим романом в 20-х и 30-х годах XIX века зачитывалась вся Европа, его высоко оценил в «Евгении Онегине» Пушкин. Лермонтов знал «Мельмота Скитальца» и упомянул его в связи с Печориным в черновике Предисловия к «Герою нашего времени»: «Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность

Печорица?» (VI, стр. 563). Мельмот говорит: «Мне поручено попирать ногами и топтать всякий цветок в естественном и нравственном мире — гиацинты, сердца и подобные безделки, какие встретятся мне». «Красота, — читаем мы далее о Мельмоте, — была цветком, на который он смотрел лишь для того, чтобы издеваться над ним, и прикасался к нему только с целью его погубить». (см.: Л. П. Семенов. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, стр. 395).

«Я смотрю на страдания и радости других...»

Далее Печорин говорит, что мысль о том, что Мери «проведет ночь без сна и будет плакать», доставляет ему «несбытное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю Вампира!..» (VI, стр. 310—311).

По мнению Д. Н. Овсянико-Куликовского, эти признания Печорина отнюдь не означают, что Печорин натура эгоистическая и хищная, что он враждебен окружающим его людям. Другие люди с их страданиями и радостями просто необходимы ему, он не может жить без них, без общества, хотя с этим обществом он находится в глубоком и неразрешимом конфликте. Печорин — «человек с ярко выраженным и очень активным социальным инстинктом» (Д. Н. Овсянико-Куликовский. Лермонтов, Спб., 1914, стр. 78—79).

«Возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти».

О связи любви и власти Лермонтов говорил еще подробнее в «Вадиме» (см.: «Вадим», гл. X, т. VI, стр. 38). На это указал Н. К. Михайловский (Н. К. Михайловский. Герой безвременья. Сочинения, т. V, изд. 4-е. Спб., 1908, стр. 331).

«Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности; идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение уже дает им форму, и эта форма есть действие...»

«Слово «идея» в данном случае, — замечает Д. Н. Овсянико-Куликовский, — род галлицизма: французы сло-

вом идее обозначают не только то, что мы разумеем под термином идея, но и то, что у нас выражается словами: представление и понятие» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Лермонтов, Спб., 1914, стр. 84).

Н. К. Михайловский по поводу мысли Лермонтова о связи идеи с действием говорил: «Действовать, бороться, покорять сердца, так или иначе оперировать над душами ближних и дальних, любимых и ненавидимых, — таково призвание или коренное требование природы всех выдающихся лиц произведений Лермонтова, да и его самого» (Н. К. Михайловский. Герой безвременья. Сочинения, т. V, изд. 4-е. Спб., 1908, стр. 342).

Как заметил Н. О. Лернер, «эту тоску по активности много веков тому назад выразил тот перс, слова которого передает Геродот (IX, 16): «...самая тяжкая мука из тех, какими страдают люди, — многое понимать и быть не в состоянии что-либо сделать». Печорин ее испытывает лишь по отношению к злу».

В «Думе» Лермонтов порицал современное поколение, которому суждено «под бременем познания», т. е. тех же «идей», состариться «в бездействии». Еще в юности он говорил о себе:

Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат непрерывно эту грудь...
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то!..

(1831 года, июня 11 дня); т. I, стр. 183)

«Страсти не что иное, как идеи...»

«Под страстями, — писал Д. Н. Овсяннико-Куликовский, — здесь, очевидно, следует понимать «страстное отношение» и к идеям, эмоциональность мысли, а под «идеями» — все вообще представления и понятия, но преимущественно те, которые относятся к субъективным переживаниям. Лермонтов хочет сказать, что в юношеском возрасте человек относится к «идеям», возникающим в его сознании страстно, эмоционально, с годами же эта эмоциональность обычно проходит. Но это далеко не всегда означает, что человек охладел и стал равнодушен ко всему на свете, в том числе и к своим душевным переживаниям. Нередко это свидетельствует, напротив, о «глубине и полноте» этих переживаний. Таков Печорин» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Лермонтов, Спб., 1914, стр. 34—35).

«Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры... «...солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного...»

Сосланный и разжалованный в рядовые декабрист В. Н. Лихарев вспоминал, что после того, как он был снова произведен в офицеры, он сшил себе в Керчи сюртук Тенгинского пехотного полка «и когда посмотрелся в зеркало, то нашел себя очень смешным. Солдатская шинель мне как-то была более к лицу» («Русский архив», 1874, кн. 2, столб. 668). Грушницкий радовался праву носить офицерский мундир и эполеты (наплечные знаки у офицеров старой русской армии) потому, что они давали ему право появляться в дворянской среде, в частности открывали доступ в «благородное собрание», где устраивались балы и где он мог встречаться с княжной Мери, не будучи даже приглашенным к ней в дом.

«Провал на отлогости Машука...»

Эта геологическая достопримечательность Пятигорска (находится почти в 2 км от города) представляет собою расселину с отвесными стенами высотой около 30 м, на дне которой бассейн глубиною в 13 м, наполненный теплой мутно-голубой водою, пропитанной сероводородом. С угасшим кратером (над пятигорскими учеными Лермонтов явно смеется) провал ничего не имеет общего; о провале есть обширная специальная литература (см.: Ф. А. Б а т а л и н. Большой провал в Пятигорске. — «Отечественные записки», 1857, т. 113, № 7, стр. 191—215). В лермонтовские времена провал был доступен лишь сверху (впоследствии к нему пробрили штольню в 43 м), и смельчаки спускались вниз, к бассейну на веревках. Иногда молодежь устраивала над провалом балы; отверстие закрывалось досками и на этом помосте танцевали (Э. А. Ш а н - Г и р е й. — «Нива», 1885, № 27, стр. 643; ср.: «Русский архив», 1887, т. II, стр. 370).

«Да, такова была моя участь с самого детства...»

Значительную часть этой тирады Лермонтов внес в роман из своей ранней драмы «Два брата», где подобный монолог произносит Александр Радин, один из ближайших предшественников Печорина. «От души ли говорил это Печорин или притворялся? — спрашивает Бе-

линский. — Трудно решить определительно: кажется, что тут было и то и другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним миром и с самими собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма их бытия, и что бы ни попало им на глаза, все служит им содержанием для этой формы...» (Белинский, IV, стр. 240—241; ср.: Д. Н. Овсянко-Куликовский. Лермонтов. Спб., 1914, стр. 74—76).

Печорину, как и Александру Радину в драме «Два брата», Лермонтов дал так много своих черт, что все трое, и автор, и его герои, поясняют друг друга. Ср. также признание поэта в стихотворном романе «Сашка»:

Я для добра был прежде гибнуть рад,
Но за добро платили мне презреньем;
Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщен был горьким наслажденьем...
Тогда я хладно посмотрел назад:
Как с свежего рисунка, сгладил краску
С картины прошлых дней, вздохнул и маску
Надел, и буйным смехом заглушил
Слова глупцов, и дерзко их казнил,
И, грубо пробуждая их беспечность,
Насмешливо указывал на вечность (IV, стр. 94).

«Другие дети веселы и болтливы».

И. М. Болдаков замечает, что «после «болтливый» несомненно пропущен третий член сложного предложения, составляющий вывод из противоположения двух первых, так что за словом «болтливый» должно бы, собственно, поставить двоеточие, — на это указывают остальные, окружающие это предложение антитезы. Этот пропуск остался невосполненным, вероятно, оттого, что роман печатался не под наблюдением самого автора» (Сочинения Лермонтова, изд. Е. Гербец, 1891, т. I, стр. 436). Как указал Н. О. Лернер, пропуск здесь лишь кажущийся. Здесь перед нами четыре антитезы: «я был скромн...» «я глубоко чувствовал...» «я был угрюм...» «я был готов любить...» Если бы Лермонтов ощущал пропуск, то он мог бы его восстановить при печатании второго издания романа. Что никакого пропуска нет, это видно из того, что так же, почти дословно, читается это место в драме «Два брата» (V стр. 415—416).

«Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил...»
Ср. в «Думе»:

Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей (II, стр. 113).

«Я сделался нравственным калекой...»

Печорин чувствует себя «нравственным калекой» потому, что человек, живущий в обществе, лишенном глубоких, разумных целей деятельности, и обреченный на бездействие, неизбежно деградирует. Как заметила Е. Н. Михайлова, «человек, лишенный возможности действовать, либо заменяет реальную жизнь фиктивной, воображаемой, предаваясь мечте, как это бывает в юности, либо рефлектирует по поводу мимо идущей жизни, анализируя, взвешивая, оценивая все происходящее и больше всего свои собственные переживания и поступки. Но мечта, опережающая жизнь, оставляет после себя горький осадок и опустошенность, как только человек соприкасается с реальной действительностью. «В первой молодости моей я был мечтателем, — говорит Печорин в «Фаталисте». — Но что от этого мне осталось? — одна усталость, как после ночной битвы с привидением... В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги» (343). Непомерно же развитая рефлексия расщепляет человеческое существо надвое, отделяя мыслящего от действующего и давая перевес первому. Печорин признается Вернеру: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» (324).

Усиленно рефлектирующее сознание делает внутреннюю жизнь интересной и богатой; так, диапазон печоринской рефлексии чрезвычайно широк, от наиболее общих вопросов о смысле жизни и назначении человека до мельчайших движений собственного сердца и перипетий всяческих взаимоотношений с окружающими людьми. Но это не только не компенсирует отсутствия деятельности, а обостряет внутреннюю дисгармонию, раздвоенность личности, ведущую к параличу или атрофии определенных ее сторон, — сердца, воли...

Результатом безысходности лучших стремлений и порывов к деятельности является глубокое разочарование в жизни — «холодное, бессильное отчаяние» (Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 308; ср.: Д. Н. Овсянко-Куликовский. Лермонтов, Спб., 1914, стр. 81).

«Я вам прочел ее эпитафию...»

Серьезное отношение Печорина к эпитафиям — черта самого Лермонтова. В 1830 году он писал в стихотворении «Кладбище»:

Вчера до самой ночи просидел
Я на кладбище, все смотрел, смотрел
Вокруг себя; — полстертые слова
Я разбирал. Невольно голова
Наполнилась мечтами; — вновь очей
Я не был в силах оторвать с камней...

(I, стр. 126)

Около того же времени написаны — «Эпитафия» («Простосердечный сын свободы»), по-видимому, самому себе и другая не менее личная «Эпитафия» («Прости! увидимся ль мы снова?») (II, стр. 31) и «Эпитафия Наполеона» (I, стр. 104).

«Я все это уж знаю наизусть, вот что скучно!»

Ср. слова Арбенина в драме «Маскарад»:

Романа не начав, я знал уже развязку,
И для других сердец твердил
Слова любви, как няня сказку.
И тяжело стало мне, и скучно жить!

(V, стр. 303)

«Мы будем жить в большом доме близ источника...»

Источник — Нарзан. Старожилы указывали, что Лермонтов имел в виду один из самых больших по тем временам домов Кисловодска — дом Реброва в балке, за которой так и упрочилось имя Ребровой балки; в нем сдавались отдельные квартиры, была и гостиница (в «Воспоминаниях А. Л. Зиссермана». — «Русский Архив», 1885, т. 1, стр. 298). Сохранились зарисовки дома, сделанные А. И. Арнольди («Русский Художественный Листок», 1862, № 7) и М. А. Зичи (альбом иллюстраций к «Княжне Мери», изд. А. А. Гусевой). Оба дома Реброва сохранились, но перестроены до неузнаваемости (ул. Коминтерпа, дом № 3).

«Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, — разумеется, прикрыв все это вымышленными именами».

Аналогичный эпизод имеется в неоконченном романе Лермонтова «Княгиня Лиговская» (VI, стр. 165) и в его драме «Два брата» (V, стр. 412—413).

«Где нам, дуракам, чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным».

Имеется в виду Петр Павлович Каверин (1794—1855), не только повеса, но и вольнодумец, близкий к кругам декабристов. В 1810—1811 гг. Каверин слушал лекции в Геттингенском университете, в 1812 году вступил в ополчение, а с 1816 по 1823 год служил в лейб-гвардии Гусарском полку, где впоследствии в 1834—1837 гг. служил Лермонтов. Вероятно, поэт с Кавериним не встречался, но много слышал о нем. Пушкин в 1816—1820 гг. дружил с Кавериним и посвятил ему ряд стихотворений, в том числе «К П. П. Каверину» 1817 года. В первой главе «Евгения Онегина» упоминается Каверин:

К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин .

(Пушкин, V, стр. 15)

Остроты и меткие слова Каверина долго повторялись в петербургских гвардейских полках. Биограф П. П. Каверина Ю. Н. Щербачев передает более распространенную редакцию каверинской поговорки: «Где нам, дуракам, чай пить, да еще со сливками!» (Ю. Н. Щербачев. *Приятели Пушкина* М. А. Щербинин и П. П. Каверин. М., 1913, стр. 45, 199 и 201).

В глухом намеке на П. П. Каверина Лермонтов дает понять читателю, что молодой Печорин общался в Петербурге с людьми поколения Пушкина и декабристов, был связан с традициями оппозиционного дворянства 20-х годов. Вместе с тем в этой сцене Грушницкому, изображенному с нескрываемой иронией, противопоставлен «ловкий повеса», истинный денди недавнего прошлого П. П. Каверин.

«Неужели, — думал я, — мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды?..»

В драме В. Гюго «Эрнани» (1830), оказавшей влияние на юношескую драму Лермонтова «Испанцы», главный герой говорит о себе любимой женщине: «...может быть, ты принимаешь меня за такого человека как все, за разумное существо, стремящееся прямо к намеченной им цели? Разуверься! Я проходящая мимо сила, слепое и глухое орудие мрачных тайн, несчастная душа, созданная из мрака! Куда я иду? Не знаю. Но я чувствую, что меня толкает могучее веяние, бессмысленная судьба... Вокруг моего бешеного бега все разрушается, все умирает. Горе тому, кто соприкасается со мною!» Не менее романтический Дидье (в драме В. Гюго «Марлон Делорм», 1828), такой же гордый, желчный мизантроп, как Печорин, называет себя «мрачным и проклятым существом» и жалуется, что «приносит горе всем, кому приходится иметь с ним дело.

Накануне дуэли Печорин возвращается к обычному для него кругу мыслей. «Я причиною несчастья других», — с горечью говорит он о себе и Максиму Максимычу («Бэла», VI, стр. 231).

Ср. в «Вадиме»: «...есть люди, заражающие своим дыханьем счастье других; все, что их любит и ненавидит, обречено гибели...» (VI, стр. 13).

«Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов, — или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения?»»

Печорин делает ироническое предположение: не приведет ли его судьба стать литературным ремесленником, автором распространенных в 30-е годы мещанских драм и романов, в которых изображалась благонамеренная семья, покой которой обычно нарушался вторжением злодея из аристократической среды. Еще более печальна была бы роль безвестного сотрудника, «поставщика повестей». Предприимчивый издатель «Отечественных записок» в первой половине 1830-х годов П. П. Свиньин (1788—1839), редактор «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковский (1800—1858), известный под псевдонимом Барон Брамбеус, и другие журналисты-предприниматели широко пользовались помощью бедных начинающих литераторов, платили им гроши и бесцеремонно переделывали на свой лад приобретенные у них рукописи.

«Библиотека для чтения, журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод» издавался в Петербурге с 1834 по 1848 год А. Ф. Смирдиным и О. И. Сенковским. Это первый русский «толстый» журнал, связанный с «промышленным направлением» русской журналистики начала 30-х годов XIX века.

В «Библиотеку для чтения» без ведома Лермонтова была передана его дальним родственником и приятелем Н. Д. Юрьевым поэма «Хаджи Абрек» и к его неудовольствию напечатана в книге XI за 1835 год. По лживому заявлению журнала, сделанному после смерти Лермонтова, поэма «Хаджи Абрек» будто бы была напечатана только потому, что он сам просил об этом и даже «не отставал» от издателя. Это заявление редакции не заслуживает никакого доверия.

В 1836 году Лермонтов написал на О. И. Сенковского эпиграмму «Под фирмой иностранной иноземец» (II, стр. 178), которая могла дойти до Сенковского и, конечно, не способствовала установлению между ним и поэтом добрых отношений, хотя вообще они были лично знакомы и даже оба в качестве шаферов присутствовали в октябре 1838 года на свадьбе А. В. Хвостова и Е. А. Сушковой (см.: Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 220).

Вскоре после выхода в свет «Героя нашего времени» в «Библиотеке для чтения» был напечатан сочувственный отзыв о романе. Лермонтов был назван «умным наблюдателем с положительным взглядом на предметы и с поэтическим воображением; рассказ его превосходен, язык легок, прост и весьма приятен...» («Библиотека для чтения», 1840, т. XXXIX, отд. VI, стр. 17). Видимо, Сенковский и его сотрудники не обратили внимания на пренебрежительный отзыв о «Библиотеке для чтения» в повести «Княжна Мери». Зато после смерти Лермонтова в журнале Сенковского появилась не только лживая версия о настойчивом требовании Лермонтова напечатать поэму «Хаджи Абрек», но и резко отрицательный отзыв о «Герое нашего времени»; в рецензии на третье издание романа Лермонтова он был назван «неудавшимся опытом юного писателя», «ученическим эскизом» («Библиотека для чтения», 1844, т. LXIII, отд. VI, стр. 11—12).

«Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..»

Великий греческий полководец Александр Македонский, или Александр Великий (356—323 до н. э.), в древности и поэт лорд Дж.-Г. Байрон (1788—1824) в новое время — два образца великих людей — противопоставлены в этой записи Печорина роковому чину титулярного советника — уделу тысяч бедных чиновников, не имевших образования или не выдержавших специального экзамена «ча чин» асессора. В романе «Княгиня Лиговская» (гл. VIII) Печорин, насмехаясь в гостиную княгини над Красинским, замечает, что он «непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титулярным советником», и при этом обещает справиться, «есть ли у него университетский аттестат» (VI, стр. 179). Читатель во времена Лермонтова понимал скрытую в этих словах насмешку, к стати, несправедливую, потому что у Красинского университетское образование было. Не случайно у Гоголя Поприщин и Акакий Акакиевич Башмачкин — титулярные советники.

Контраст между великими замыслами и малыми свершениями страшил и юного Лермонтова. В письме к С. А. Бахметевой он писал в августе 1832 года: «Тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит» (VI, стр. 411).

Несколько в ином плане о стремлении молодежи к великим делам писал в «Евгении Онегине» Пушкин:

Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...

(Пушкин, V, стр. 42)

«...я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на стороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью!»

«Ошибочное название!» — восклицаете вы, — и мы согласны с вами, — говорит Белинский, — но сила всегда

останется сплюю и всегда будет полна поэзии, всегда будет восхищать и удивлять вас, хотя бы она действовала и деревянным мечом, вместо булатного... Есть люди, в руках которых и простая палка опаснее, чем у иных шпага: Печорин из таких людей...» (Белинский, IV, стр. 244)¹.

«Зачем она не хочет дать мне случай видется с нею наедине?..»

Запись Печорина 6 июня [в ошибочной печатной датировке 14 июня] многое объясняет в поведении его по отношению к Мери. Вера медлит назначить встречу с Печориным, и он надеется, что ее ревность к Мери поможет ему в конце концов сломить сопротивление Веры (ср. запись 11 июня, VI, стр. 307). И в этот день Печорин ловит себя на том, что он едва ли не влюблен в Мери. В Кисловодске его влечение к Мери становится еще сильнее, он целует ее при переезде через Подкумок и доводит ее до признания в любви. Но как только ему удается добиться желанного свидания с Верой, он охладевает к Мери, признается ей, что не любит ее, а Вера становится ему «дороже жизни, чести, счастья» (VI, стр. 334).

«Вот уж три дня как я в Кисловодске».

Кисловодск во времена Лермонтова — укрепление и казачья станица, в 35 верстах от Пятигорска.

В середине XIX века было принято начинать курс лечения горячими серными водами в Пятигорске, а затем продолжать его в Кисловодске, где пили нарзан и брали нарзанные ванны.

Судя по замечаниям Печорина, что «слободка за крепостью населилась», а «в ресторации начинают мелькать вечером огни», можно заключить, что он в Кисловодске уже не в первый раз. Лермонтов тоже был частым посетителем Кисловодска. Собирался он туда и в июле 1841 года. Н. С. Мартынов в своих показаниях о дуэли сообщает, что товарищи, пытавшиеся уговорить его взять вызов назад, напоминали ему о прежних отношениях с Лермонтовым и «говорили о веселой жизни, которая с ним ожидает нас в Кисловодске» («Русский Архив», 1893, т. II, стр. 599).

В параллель лермонтовскому описанию Кисловодска приведем несколько строк из другого описания Кисловодска той же поры: «...красивые домики, церковь, линия

мазанок, осыпавшийся вал крепости, дощатые палатки ванн, внизу кипучий Нарзан... Деревья и растения не обыкновенной силы и свежести, трава ярко-изумрудного цвета; воздух, напитанный газом, жив, прохладен, крепителен и удивительно приятен... Надобно стать на базарной площади лицом к крепости: по обеим сторонам Ельшанка и Березовка обтекают мыс и сливаются позади вас в один поток... перед глазами крепость; направо солдатская слобода; налево, внизу долина и сад Нарзана, где виднеются Реброва дома и зала собрания... Следуя по течению Ельшанки, я вошел в сад: липы, каштаны, белая акация, бузина красиво по холмам разбросаны; во все стороны извилистые дорожки; дома на уступах горы; в горе грот; там площадка с двумя палатками, посредине Нарзан» (Я. Сабуров. Кавказ. — «Московский наблюдатель», 1835, ч. IV, сентябрь, кн. I, стр. 51—55).

А. Е. Розен восторженно описывает Кисловодск 1838 года и упоминает между прочим и Слободку, которая тянется в одну линию в стороне от ущелья, и ресторацию «на берегу ручья [Ольховки] на холме» (А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 255; см. также стихотворение Д. П. Ознобишина «Кавказское утро». — «Отечественные записки», 1840, т. IX, стр. 151—152).

«Нарзан называется богатырским ключом».

«Нарт-санна» — *нарт* — у всех народов Северного Кавказа *богатырь*. *Санна* — хмельной напиток партов (по-кабардински).

«Ущелья, полные мглою и молчанием».

Ср. в начале «Бэлы»: «...из черного, полного мглою ущелья...» (VI, стр. 204).

Тихие долины

Полны свежей мглой...

(«Из Гёте», II, стр. 160)

Тифлис объят молчанием,

В ущелье мгла и дым...

(«Свиданье», II, стр. 204)

«Студеные ручьи, которые... кидаются в Подкумок».

Это горные речки Ольховка (прежде Элкоша, Ельшанка) и Березовка (Козада), которые протекают через Кисловодск, сливаются у его северной стороны, образуя речку Эль-Куму, и в четырех верстах у станции Кисловодской впадают общим руслом в Подкумок (правый приток р. Кумы, текущей к Каспийскому морю).

*«Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа».*

Лермонтов не совсем точно приводит слова Чацкого (Грибоедов. Горе от ума, д. III, явл. 3):

Когда в делах, я от веселий прячусь;
Когда дурачиться — дурачусь;
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников; я не из их числа.

Два последних стиха Печорин принимает к смешению вина с минеральной водой. «Охотники, — рассказывает А. Е. Розен, — пили ее с кахетинским или донским вином вместо лимонада» (Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 255).

Нерон, Клавдий Цезарь, римский император в 54—68 гг. новой эры, жестокий и развращенный властью тиран, требовавший от поэтов, художников и артистов безудержной лести и поклонения, без всяких на то оснований; воображавший себя певцом, музыкантом и актером.

*«Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет...»*

Стихи Пушкина из посвящения П. А. Плетневу, которое появилось сначала в 1828 году при издании IV и V глав «Евгения Онегина», а потом в 1837 году при третьем (втором полном) издании романа.

«Освобожденный Иерусалим». Эпическая поэма великого итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1594), классическое произведение итальянской литературы, давно переведенное на все европейские языки. На русский язык «Освобожденный Иерусалим» был переведен в 1828 году С. Е. Раичем (1792—1855) и А. Ф. Мерзляковым (1778—1830). Раич и Мерзляков преподавали в Московском университетском пансионе, когда там учился Лермонтов, и не раз читали воспитанникам свои переводы из латинских и итальянских авторов.

Герой «Освобожденного Иерусалима» рыцарь Танкред вступает в очарованный лес, описание которого находим в XIII песне (Т. Тассо. Освобожденный Иерусалим, ч. II. Перевод А. Мерзлякова. М., 1828, стр. 100—101).

Кольцо-гора — не в трех верстах от Кисловодска, а вдвое дальше, представляет собою одну из невысоких гор Бургустанского отрога Пастбищного хребта; на ней вследствие выветривания образовалось большое кольцеобразное отверстие. Сюда часто ездят из Кисловодска полюбоваться далеким видом на вершины Пятигорья, степи, Джинальские и Бургустанские горы и Эльбрус. В наше время Кольцо-гору в профиль можно видеть из окна железнодорожного вагона по пути в Кисловодск, после переезда через мост над рекой Подкумок.

«Есть минуты, когда я понимаю Вампира!..»

Вампир, или упырь, — сказочный оборотень, мертвец, который по ночам выходит из могилы, чтобы высосать кровь из живых людей. Вера в вампиров была распространена в народной демонологии, в частности в пределах Германии и Югославии.

Но Лермонтов (Печорин) имеет в виду героя одноименной анонимной повести, впервые появившейся в 1819 году в журнале «New Montly Magazine» (№ 4). В основе повести лежала история, рассказанная Дж.-Г. Байроном, но обработанная и изданная его врачом Джоном Полидори (Polidori, 1795—1821). Эта повесть имела громадный успех и большая часть читателей считала ее произведением Байрона. «Вампир» был переведен на многие языки, и в том числе в 1828 году П. В. Киреевским на русский язык: Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном... (с английского). П. К[иреевский]. М., 1828. В 1828 году в журнале «Атеней» была заметка «О вампиризме». «Атеней», 1828, ч. VI, № 24, стр. 380—381. За этим журналом Лермонтов регулярно следил.

Вампир — это некий лорд Рутвен, английский аристократ, фигура таинственная и загадочная. Рассказ о нем ведется от имени его секретаря. Во время их совместного путешествия лорд Рутвен был смертельно ранен разбойниками; перед смертью Рутвен взял со своего секретаря клятву в течение года скрывать известие о его смерти. Через несколько месяцев лорд снова появляется в Лондоне и сватается к сестре рассказчика, почти обезумевшего от ужаса и тревоги и тщетно пытающегося под разными предлогами помешать браку. Срок клятвы кончается на утро после брачной ночи; но в это время молодая жена уже мертва, а супруг исчез.

Псевдобайроновский «Вампир» оказал большое влияние на европейскую романтическую литературу и привил в ней тему «вампиризма», которая поддерживалась также и интересом европейских писателей к славянскому фольклору (например, П. Мерпме, Ш. Нодье, А. С. Пушкин).

Вампир — это сильный и аморальный герой, для которого зло — условие существования. В этом своем качестве он появляется и у Лермонтова. Сначала в «Вадиме»: Вадим, говоря о подготавливаемой им ужасной мести врагу, «дикое захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою. так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновение на вампира, глядящего на издыхающую жертву» (VI, стр. 30).

В записи 3 июня Печорин признавался: «...я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы» (VI, стр. 294). Это тот же вампиризм в нравственном смысле. В черновом Предисловии к «Герою нашего времени» Лермонтов упомянул Вампира в связи с Печориным: «...если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?» (VI, стр. 563).

Лугин в неоконченной повести «Штосс» («У графа В.») «часто делал зло именно тем, которых любил... дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им...» (VI, стр. 362).

Анализируя сцену переезда через Подкумок и разговора Печорина с Мери после поцелуя, Белинский задавал себе вопрос: «Что такое вся эта сцена?» и отвечал: «Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства; но последней черты ее мы решительно не понимаем... Она кажется нам преувеличением, умысленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою; словом, нам кажется, что здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного... И, если мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно: состояние противоречия с самим собою необходимо обуславливает большую или меньшую изысканность и натянутость в положениях...» (Белинский, IV, стр. 246).

«А еще слышу добрым малым...»

Для Печорина «добрый малый» — одна из его масок. Выражение «добрый малый», по замечанию Н. О. Лернера, осмысливалось тогда как-то свежее, оригинальнее, чем в наше время. В драме Лермонтова «Два брата» (д. 1) князь Лиговской рекомендует: «...я, как говорят военные, в полном смысле добрый малый» (V, стр. 406).

«Господа! — сказал он, — это ни на что не похоже; Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил на свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги».

Слова драгунского капитана, сочувственно встреченные остальной компанией, изобличают глубокую неприязнь кавказского офицерства к привилегированным гвардейцам, попадавшим на Кавказ, чтобы принять участие в экспедициях, отличиться, получить награду и вернуться в столицу» (Ср.: А. М. Ливенцов. Воспоминания о службе на Кавказе... — «Русское обозрение», 1894, кн. 8, стр. 698; ср.: там же, 1894, кн. 4, стр. 751—752).

Слёток — молодая птица, вылетевшая из гнезда, в данном случае молодой человек, только что прибывший из столицы.

«Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне...»

На поведение Печорина проливает некоторый свет личное признание самого Лермонтова в письме к М. А. Лопухиной (1834): «Я ухаживаю и вслед за объяснением в любви я говорю дерзости; это еще меня немного забавляет... Вы подумаете, что за это меня попросту выпроваживают... ну нет, совсем наоборот... женщины так созданы; я начинаю держать себя с ними самоувереннее; ничто меня не смущает — ни гнев, ни нежность: я всегда пастойчив и горяч, а мое сердце довольно холодно; оно бьется только в исключительных случаях...» (перевод с французского, VI, стр. 717).

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

В автографе было более резко: «Вы подлец, — сказала она едва внятно. — Оставьте меня» (VI, стр. 595).

По справедливому замечанию Н. О. Лернера, это надо считать композиционным изменением. Если бы оставить

«Вы подлец», то этим все было бы уже кончено между Мери и Печориным и тогда было бы невысказано и ненужно их объяснение в доме Лиговских перед отъездом Печорина в крепость.

«Son coeur et sa fortune» (франц.).

«Свое сердце и свое достояние» — формула официального брачного предложения, которое в великосветском кругу должно быть сделано непременно по-французски, над чем мимоходом иронизирует Печорин.

«Но свободы моей не продам...»

Ср. в письме Евгения Онегина к Татьяне:

Случайно вас когда-то встреть,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
*Свою постылую свободу
Я потерять не захотел*

(Пушкин, V, стр. 180).

Н. А. Добролюбов писал об отказе Печорина от любви Мери: «Каждый из обломовцев встречал женщину выше себя (потому что Круциферская [из романа Герцена «Кто виноват?】 выше Бельтова и даже княжна Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бежал от ее любви или добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не давлением на них гнусной обломовщины?» (Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в 9-ти томах, т. IV, М. — Л., Гослитиздат, 1962, стр. 330).

«Одна старуха гадала про меня...»

Задолго до работы над «Героем нашего времени» Лермонтов записал автобиографическое признание: «Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе предсказала то же самое старуха моей Бабушке. Дай бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон» (VI, стр. 387).

«Вчера приехал сюда фокусник Анфельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышенаименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет.

иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в 8 часов вечера, в зале благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с половиной. Все собираются идти смотреть удивительного фокусника...»

Как установил в свое время Н. О. Лернер, а затем уточнил Л. И. Прокопенко, фокусник Апфельбаум — реальная личность. О нем немало упоминаний в периодической печати, а также незаслуженно пренебрежительный отзыв М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Сатирах в прозе. Невинных рассказах» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах. т. III. М., «Художественная литература», 1965, стр. 269).

Сравнивая Апфельбаума с прославленным во всем мире, и особенно в России, где он и умер, иллюзионистом конца XVIII и начала XIX века Жаном Жозефом Пинетти (1750—1802), газеты отмечали, что последний едва ли не отдал бы своему ученику и сопернику (т. е. Апфельбауму) «преимущества перед собою в проворстве», то есть в ловкости и в мастерстве.

Директор музея цирка в Ленинграде А. З. Левин обратил внимание на «уведомление», помещенное в «Санкт-Петербургских ведомостях» 30 декабря 1841 года: «Прибывший сюда известный физик и механик Апфельбаум... имеет честь известить почтеннейшую публику, что он в посту будет представлять свои очаровательные штуки на театре...» В это уведомление вставлено описание нескольких фокусов. Вот один из них: «...магик предлагает одному из зрителей задумать карту, а другого зрителя просит взойти на сцену, и говорит первому: «Вы задумали трефового короля». — «Точно так». Другому: «Трефовый король у вас за пазухой», — и сам обнаженной рукой вынул у него пятнадцать колод трефового короля из карманов, из галстуха, отовсюду, и трефовые короли еще вылетали из платья этого зрителя, когда он сходил со сцены и даже когда выходил по окончании представления из театра».

О другом фокусе рассказано: «Потом магик выпросил у четырех кавалерийских офицеров по темляк¹, зарядил ими большую пушку, скомандовал: «Пли!» Выстрел

¹ Темляк — петля из ремня или ленты с кистью, прикрепляется к эфесу холодного оружия; предназначается для надевания на руку, чтобы оружие, выбитое из нее, не упало на землю.

раздался, и победоносный магик воскликнул: «Господа офицеры! темляки ваши на своем месте». Офицеры подняли сабли и увидели на них свои темляки».

Третий фокус: «...магик берет трое часов, кладет их в дамскую шляпку и накрывает ее картоном; после этого просит некоторых зрителей написать, где желают они, чтобы нашлись часы. Собрав записки, положил в стакан и поднес к зрителям для выбора одной из них. Вытянутая записка гласила: «На фонаре подле [памятника] Минаина и Пожарского [в Москве]». «Там они и будут, — гордо сказал магик; выстрелил из пистолета в кабалистическую с числами доску, висевшую высоко посреди театра, и на ней повисла шляпка, но без часов, за которыми тотчас поехали многие зрители и привезли часы, найденные ими на означенном месте». («Санкт-Петербургские ведомости», 1841, 30 декабря, № 293).

Любопытно, что в молодые годы Апфельбаум жил в Москве и принимал приглашения в частные дома. «Дамский журнал» в 1828 году сообщал адрес Апфельбаума: «За Москворецким мостом на Москворецком подворье, в Дворянском коридоре, под № 6». Таким образом, Лермонтов, пансионер и студент Московского университета, мог видеть Апфельбаума еще в конце 20-х годов в Москве.

В первой половине 30-х годов Апфельбаум совершил большое турне по Европе и Азии, а в 1836 году снова появился в Москве (см.: «Московские ведомости», 1836, № 16). Как раз летом 1837 года, когда Лермонтов был в Пятигорске и Кисловодске, Апфельбаум гастролировал на курортах Кавказских минеральных вод. (Пребывание Апфельбаума на Кавказских водах удостоверяется рекомендательным письмом некоего Ивана Чернова от 29 августа 1837 года. (Письмо обнаружено Л. И. Прокопенко.)

Любопытные сведения об Апфельбауме имеются в книге М. И. Пыляева «Замечательные чудачки и оригиналы». Здесь сообщается, что в конце 40-х годов Апфельбаум был известной и весьма колоритной фигурой на улицах и рынках Петербурга. «Апфельбаум был очень приличен, ходил во фраке с большим жабо. В руках у него всегда была палочка из слоновой кости, которая и помогала при манипуляциях. Он ловко вынимал у извозчиков из носа картофель; ломал у пирожника пироги, в которых находили червонцы, сковывал всячим замком рот какого-нибудь ротозея, выпускал из рукава голубей, морских сви-

нок и т. д. Апфельбаум все это проделывал даром» (М. И. Пыляев. Замечательные чудачки и оригиналы. Спб., 1898, стр. 403—404; ср. «Советская эстрада и цирк»; 1966, № 3, стр. 29). Годы рождения и смерти Апфельбаума пока не установлены.

«Мери сидела на своей постели... большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики...»

Пунцовые платки (шали) были в конце 30-х годов в моде. Так, героиня повести Н. Ф. Павлова «Миллион» княжна Софья носит пунцовый платок (Н. Ф. Павлов. Новые повести. Спб., 1839, стр. 257, 279).

«...перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробежали одну и ту же страницу, тогда как мысли были далеко».

В черновой рукописи первоначально было: «...но глаза ее, томные и неподвижные, казалось», затем было написано: «...но взор ее, томный и неподвижный, казалось».

Между печатными строками
Читал [духовными глазами].

Тут Лермонтов, несомненно, вспомнил стихи из восьмой главы «Евгения Онегина»:

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки (Пушкин, V, стр. 183—184).

Заслуживает внимания любопытное совпадение с текстом романа Стендаля «Красное и черное». Жюльен «лихорадочно раскрыл «Мемуары», продиктованные Наполеоном на острове св. Елены, и в течение добрых двух часов заставлял себя читать их; правда, читали только его глаза, но все равно он заставлял себя читать» (Стендаль. Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 1. М., Библиотека «Огонька», «Правда», 1959, «Красное и черное», ч. II, гл. 31, стр. 528).

Роман Стендаля вышел первым изданием в Париже в ноябре 1830 года. Работая над восьмой главой «Евгения Онегина», Пушкин не мог знать романа Стендаля. Но

Лермонтову в 1838—1839 годах хорошо были знакомы оба романа и не исключено, что в данном случае была перекличка и с романом Стендаля.

«...только и было толков о ночном нападении черкесов...»

Печорин смеется над перетрусившей кисловодской публикой, но во времена Лермонтова в районе Минеральных Вод еще случались иногда набеги горцев. «Черкесские абреки весьма часто проходили небольшими партиями через кордонную линию или прорывались через нее в большом числе открытою силой, проникая в глубину края, к Ставрополю, к Георгиевску и в окрестности Минеральных Вод» (Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов, ч. II. М., 1865, стр. 2). «Теперь, — говорил А. Е. Розен, описывая 1838 год, — редко случается в три или четыре года раз, что несколько отважных черкесов делают набег на Пятигорск, на Кисловодск и окрестности их» (А. Е. Розен. Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 253). В 1836 году Кисловодск, несмотря на то, что был хорошо охраняем артиллерией и регулярной пехотой, подвергся нападению горцев, причем не обошлось без человеческих жертв из местных жителей и из «курсовых» (Воспоминания Г. И. Филиппсона. — «Русский архив», 1883, т. III, стр. 173—175).

Лермонтов, приехавший в следующем году на Минеральные Воды, не мог, разумеется, не знать об этом памятном событии. В рассказе Марлинского «Вечер на Кавказских Водах в 1824 г.», где действие происходит в Кисловодске, один из собеседников, выходя ночью из залы гостиницы «забился в середину толпы, чтобы в случае нападения горцев быть в безопасности», и «дорогою успел рассказать о зверстве и дерзости чеченцев тьму ужасов...» В повести Елены Ган (Зинаиды Р-вой) «Медальон» есть хорошая жанровая картинка, изображающая тревогу кисловодских больных, среди которых разносится слух, что черкесы готовят нападение («Библиотека для чтения», 1839, т. XXXIV).

«Я подошел к нему и сказал медленно и внятно: — Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости...»

Вызов Печориным Грушницкого на поединок был неизбежен с точки зрения дворянских понятий о чести, так как Грушницкий, в присутствии нескольких лиц, честным словом заверил, что видел, как Печорин поздней ночью вышел из комнаты княжны («Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! после этого чему же можно верить?») (VI, стр. 318). Оставленное без ответа со стороны Печорина заявление Грушницкого лишало бы княжну Мери чести в глазах общества; ответом же Печорина, при отказе Грушницкого взять назад свои слова, мог быть только вызов на дуэль. Случайно присутствовавший при объяснении муж Веры, выражая взгляды своего общества, одобрил поступок Печорина: «Благородный молодой человек!» — сказал он со слезами на глазах» (VI, стр. 319), не подозревая, что на самом деле в эту ночь Печорин был у его жены (ср.: Дурыйлин, стр. 241).

«Он [Вернер] должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире».

Видимо, Печорин был выслан на Кавказ за дуэль. В черновиках «Княжны Мери» было на это два прямых указания: первая запись Печорина от 11 мая заканчивалась первоначально словами: «Но я теперь уверен, что при первом случае она спросит: кто я; и почему я здесь на Кавказе. Ей вероятно расскажут страшную историю дуэли, и особенно ее причину, которая здесь некоторым известна...» (VI, стр. 577); другое упоминание о дуэли в разговоре Вернера с Печориным; Вернер говорит Печорину: «Княгиня мне стала рассказывать о какой-то дуэле» (VI, стр. 578). Участие в новой дуэли грозило Печорину лишением дворянства и разжалованием в солдаты. Условия дуэли-мистификации, задуманной компанией Грушницкого для того, чтобы «проучить» Печорина, были оставлены и для дуэли в ответ на вызов, сделанный Печориным: на этих условиях настаивал Грушницкий, которому, как вызванному, принадлежало первое слово в вопросе об условиях дуэли. Условия эти очень тяжелы: даже смертельная дуэль Пушкина, как и дуэль Лермонтова с Мартыновым, происходила не на расстоянии шести шагов. При согласии Грушницкого на то, чтобы только

его пистолет был заряжен пулей, подобная дуэль превратилась в преднамеренное убийство Печорина.

«Я — как человек, зевающий на бале...»

Немного далее Печорин говорит: «Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал» (VI, стр. 322—323). Здесь «с балом ассоциируется даже мысль о смерти. Светская среда, в которой вырос Печорин, сказались здесь особенно ярко», — замечает С. Шувалов («Герой нашего времени» в школьной проработке. — «Русский язык в советской школе», 1929, № 4, стр. 64).

«Пробегаю в памяти все мое прошедшее...»

Мысли Печорина перед поединком отразились впоследствии у Льва Толстого в содержании и в тоне предсмертного письма героя «Записок маркера»: «Бог дал мне все, чего может желать человек: богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего... я убил свои чувства, свой ум, свою молодость». Готовящийся к смерти Печорин чувствует только скуку. Толстовский герой признается: «Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. Я ошибался» (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 3. ГИХЛ, 1932, стр. 115—116).

«Верно было мне назначение высокое...»

А. А. Потехня справедливо усматривает в этих словах Печорина позднее сознание своей связи с обществом и сравнивает его с Белинским, который тоже был «человек рефлексии, самонаблюдения и самоосуждения», настоящий герой своего времени, не менее, если не более чем Печорин», и страстно восклицал в одну из критических минут жизни: «Мне кажется, дай мне свободу действовать для общества хоть на десять лет... и я, может быть, в три года возвратил бы [т. е. вознаградил бы] свою потерянную молодость, полюбил бы труд, нашел бы силу воли» (А. А. Потехня. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905, стр. 152—153).

«...я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных...»

Как заметила Е. Н. Михайлова, «человеческая личность для Лермонтова не вмещается целиком в не зави-

сящие от нее, средою предоставленные формы действия. За человеком, реально действующим, у него стоит человек потенциальный, возможный в иных общественных условиях... И «необъятные силы», и «ненасытная жадность, поглощающая все, что встречается на пути», свидетельствующая о неисчерпаемой активности личности,— все это подлинные особенности Печорина, которым не дала выхода и формы осуществления окружающая действительность. Так, о потенциальной мощи натуры Печорина говорит и его неукротимое свободолюбие, внушающее непобедимое отвращение ко всяким узам, и его тоска о невозможности сейчас «великих жертв» ни для блага человечества, «ни даже для собственного нашего счастья». Натура и стремления Печорина не укладываются в рамки тех жизненных возможностей и того «жалкого» действия, какое способно предоставить ему современное общество, и больше всего, пожалуй, это доказывается невозможностью для Печорина найти удовлетворение на тех путях, которые открывает перед ним окружающая действительность» (Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 320—321).

«Как орудье казни, я упал на голову обреченных жертв...»

Эту мысль Печорин высказывает не раз. «Неужели мое единственное назначение на земле—разрушать чужие надежды?.. Я разыгрывал жалкую роль палача или предателя» (VI, стр. 301). «...если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив», — говорит он Максиму Максимычу (VI, стр. 231).

«...я ничем не жертвовал для тех, кого любил.»

Ср. в «Думе»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви..

(II, стр. 114)

«И не останется на земле ни одного существа...»

Давние, заветные, горделиво-горькие лермонтовские мысли, с которыми поэт не разлучался с отроческих лет:

Но лучше я, чем для людей кажусь,
Они в лице не могут чувств прочесть;
И что молва кричит о мне... боюсь!
Когда б я знал, не мог бы перенести

(«1830 г., июля 15-го», I, стр. 140).

Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим;
Тоска блуждает на моем челе.

Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
(«1831 г., июня 11 дня», I, стр. 179)

«Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту».

Дневник Печорина прерван его арестом, последовавшим после дуэли и смерти Грушницкого. Конец истории он записывает, уже находясь в ссылке в той глухой крепости, в которой мы встретили его в повести «Бэла». Видимо, до похищения Бэлы Печорин отлучался в станицу на левом фланге, где произошла история, описанная в «Фаталисте» (об этом подробнее см. во вступительной статье, стр. 38).

«...потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские Пуритане».

Шотландский романист, поэт, историк и критик Вальтер Скотт (1771—1832) оказал на развитие европейского романтизма в начале XIX столетия громадное влияние. В 1820-х и 1830-х годах вся Европа была захвачена его историческими романами. Лермонтов, овладевший английским языком в 14—15-летнем возрасте, читал творения Вальтера Скотта не только в многочисленных русских переводах, но и в подлиннике, а также во французских переводах. (О том, что Лермонтов читал Вальтера Скотта по-английски свидетельствовал А. П. Шан-Гирей, см.: «Русское обозрение», 1890, кн. 8, стр. 728.)

В юношеской драме Лермонтова «Menschen und Leidenschaften» Любовь Волина читает роман «Вудсток, или Всадник» Вальтера Скотта (явл. VI, т. V, стр. 151) по петербургскому изданию 1829 года в переводе де Шаплета. «Испанцы» Лермонтова во многом напоминают сюжетные схемы «Айвенго». Установлено воздействие Вальтера Скотта на юношеский исторический роман Лермонтова «Вадим», на поэму «Измаил-Бей» (1832) и на поэму «Беглец» (1839) (об этом подробнее см.: В. Д. Спасович. Сочинения, т. II, 1882, стр. 393 и Д. П. Якубо-

в и ч. Лермонтов и Вальтер Скотт. — «Известия АН СССР. Отделение общественных наук», 1935, № 3, стр. 243—272).

Восхищение Печорина романом Вальтера Скотта «Шотландские пуритане», по мнению С. В. Шувалова, говорит о том, что сам Лермонтов незадолго до работы над «Княжной Мери» зачитывался этим романом (С. В. Шувалов. Влияние на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии. — В сб.: Венок Лермонтову. М., 1914, стр. 314).

Как указал Д. П. Якубович, а затем Б. М. Эйхенбаум, в английском подлиннике этот роман называется «Old Mortality» («Старый смертный»); заглавие первого русского перевода — «Шотландские пуритане» (1824) ведет к французскому «Les puritains d'Écosse» (Б. М. Эйхенбаум. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. М., Изд. АН СССР, 1962 [в серии «Литературные памятники»], стр. 137).

Таким образом, возникает вопрос: на каком языке и в каком издании читал Печорин в ночь перед дуэлью роман Вальтера Скотта «Old Mortality». Похоже, что это было французское издание или русский перевод с французского.

Давно уже замечено, что Лермонтов первоначально предполагал положить на стол Печорину другой роман В. Скотта — «Приключения Нигеля» (вернее Найджеля), чрезвычайно популярный в России (русский перевод: «Приключения Нигеля сира Вальтера Скотта. Перевод с английского. В четырех частях». М., 1829). Д. П. Якубович полагал причиной замены то обстоятельство, что в характеристике Найджеля есть деталь, сходная с портретом Печорина: «...в его голосе звучала грусть, даже когда он рассказывал что-нибудь веселое, в его меланхолической улыбке был отпечаток несчастья» (Д. П. Якубович. Лермонтов и Вальтер Скотт. — «Известия АН СССР. Отделение общественных наук», 1935, № 3, стр. 269).

В четвертой части романа (гл. 28) герой романа Найджель говорит о себе: «Я несчастное, весьма несчастное существо! Все, что ко мне приближается, делается жертвою враждующего мне рока. Смерть и злоключения следуют по моим стопам, и несчастье уносит с собою все, что меня окружает». Эти и подобные им признания Найджеля напоминают высказывания Печорина.

Д. П. Якубович и Н. О. Лернер полагали, что Лермонтов заменил «Приключения Нигеля» «Шотландскими пуританами», чтобы не подчеркивать эту близость Печорина и Найджеля.

Когда «Герой нашего времени» только вышел в свет, в середине апреля 1840 года, Лермонтов при встрече с В. Г. Белинским в Ордонанс-Гаузе, находясь под арестом за дуэль с де Барантом, говорил: «Я не люблю В. Скотта. в нем мало поэзии, он сух». Зато о Купере он «говорил с жаром, указывал, что в Купере несравненно более поэзии, чем в В. Скотте» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., Гослитиздат, 1950, стр. 136—137; ср.: Белинский, XI, стр. 508). Тем не менее, по убеждению Е. Дюшена, Лермонтов «в школе В. Скотта учился искусству рассказывать, развивать действие» (E. Duchesne. M. J. Lermontov. Sa vie et ses oeuvres. Paris, 1910, p. 294).

«Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал».

Показательно, что Печорину присуще материалистическое понимание явлений душевной жизни: «После этого говорите, что душа не зависит от тела!» (VI, стр. 323).

В наши дни бассейн главного источника нарзана уже не производит впечатления kloкочущего ключа, потому что минеральная вода не так сильно насыщена газом. Я. В. Сабуров, видевший источник нарзана в 1833 году, так описывает его: «...бассейн, аршин трех в диаметре, наполнен холодной водою в 10°, которая бьет п кишит белым ключом, как на огне или как шампанское в круговой чаше. Его пьют с жадностью, ибо он весьма приятного вкуса, и употребляют в ваннах. Немногие с первого раза садятся в природную его температуру» («Московский наблюдатель», 1835, ч. 4, сент., кн. 1, стр. 55). Современная медицина не допускает купанья в нарзане естественной температуры, но во времена Лермонтова существовал бассейн, в котором купались в неподогретой углекислой воде.

А. Е. Розен, бывший в Кисловодске в 1838 году, рассказывает: «...ключ кипит в полном смысле слова, выбивает белую пену, клубится, подымает воду на полса-

жени глубиною; вода эта живит, подкрепляет... Кто пил Нарзан несколько недель сряду, тому трудно расставаться с ним» (Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 255).

В 1839 году Е. П. Ростопчина посвятила нарзану хвалебное стихотворение:

Кавказа честь, он превосходен
Стремленьем бешено-живым,
Огнем, разлитым в хладной влаге,
Целебным свойством, чистым дном
И дикой прихотью отваги,
И вечно зыблемым жерлом...

Архалук (или ахалук). Кавказский полукафтан, то же, что и бешмет. Оба слова тюркские.

Воспет А. И. Полежаевым в романтическом стихотворении «Ахалук» (1833 г.).

«Отчего вы так печальны, доктор?» — сказал я ему. — «Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть».

Ср. юношеское признание самого Лермонтова: «Умереть с свинцовой пулей в сердце стоит медленной агонии старца. Итак, если будет война, клянусь вам богом, буду везде впереди» (письмо к М. А. Лопухиной, 1832; перевод с французского, VI, стр. 707).

«Я не помню утра более голубого и свежего...»

Лермонтов оставляет Печорина верным до конца своей любви к природе. Ее власть над ним так же велика, как над черкесом Измаил-Беем:

Забыл он все, что испытал,
Друзей, врагов, тоску изгнанья;
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал! (III, стр. 165)

Карл Маркс «считал, что вряд ли кто из писателей превзошел Лермонтова в описании природы, во всяком случае редко кто достигал такого мастерства» (см.: Франциска Кугельман. Несколько штрихов к характеристике великого Маркса. — В кн.: Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., Госполитиздат, 1956, стр. 291).

Немецкий поэт и переводчик Боденштедт писал о Лермонтове и его исключительном чувстве природы: «Рисует ли он перед нами исполинские горы многовершинного Кавказа, где наш взор то теряется в снежных облаках, то

тонет в безднах; или горный поток, то клубящийся по скале, на которой страшно стоять дикой козе, то светло ниспадающий, «как согнутое стекло», в пропасть, где, сливаясь с новыми ручьями, снова возникает в мутном потоке; описывает ли он горные аулы и леса Дагестана или испещренные цветами долины Грузии; указывает ли на облака, бегущие по голубому, бесконечному небу; или на коня, несущегося по синей, бесконечной степи; воспекает ли он священную тишину лесов или дикий шум битвы, — он всегда и во всем остается верен природе до малейших подробностей. Все эти картины предстают нам в отчетливых красках и в то же время от них веет какой-то таинственной поэтической прелестью, как бы благоуханием и свежестью этих гор, цветов, лугов и лесов...

Два замечательнейших ученых новейшего времени Александр Гумбольдт и Христиан Эрстед, первый в своем «Космосе» (ч. II, стр. 1—103), второй в своем рассуждении об отношении естествознания к поэзии (в «Духе природы», ч. II, стр. 1—52) указывают, как на настоятельное требование нашего времени, на более обширное приращение в области изящного современных открытий и исследований природы...

Стоит прочесть целиком упомянутые сочинения, чтобы убедиться, что Лермонтов выполнил в своих стихотворениях большую часть того, что эти великие ученые признают потребностью нашего времени и чего так живо желают.

Пусть назовут мне хоть одно из множества толстых географических, исторических или других сочинений о Кавказе, из которого можно было бы живее и вернее познакомиться с характеристической природою этих гор и их жителей, нежели из какой-нибудь кавказской поэмы Лермонтова» (Фр. Боденштедт. Из послесловия к переводу стихотворений Лермонтова. — В сб.: Лермонтов в воспоминаниях современников. Составили М. Гиллельсон и В. Мануйлов. М., «Художественная литература», 1964, стр. 298—299).

Об отношении Лермонтова к природе см.: И. Ф. Анненский. Об эстетическом отношении Лермонтова к природе. — «Русская школа», 1891, № 12, стр. 73—83; В. Ф. Саводник. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева. М., 1911, 210 стр.; К. Н. Григорьян. Лермонтов и романтизм. Л., «Наука», 1964,

стр. 158—210 и В. М. Тамахин. Эстетическая функция пейзажа в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — В сб.: М. Ю. Лермонтов. Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставрополь, 1965, стр. 45—51.

«Друзья, которые завтра меня забудут...»

В Предисловии к своему журналу Печорин усомнился по поводу «Исповеди» Руссо в возможности быть совершенно искренним с друзьями. «Я к дружбе неспособен», — заявляет он дальше и признает для себя лишь «приятельские» отношения (VI, стр. 269). Сомнения в дружбе и упреки неверным друзьям вообще часто слышатся в творчестве Лермонтова.

«Я вынес несколько идей и ни одного чувства».

С противопоставлением идей чувству, головы сердцу, интеллекта инстинкту мы уже знакомы. В «Бэле» выражена надежда, что когда-нибудь отпадет от души «все приобретенное», прекратится внутреннее раздвоение человека. «...признание [перед поединком], — говорит Белинский, — обнаруживает всего Печорина. В нем нет фраз, и каждое слово искренно. Бессознательно, но верно выговорил Печорин всего себя. Этот человек не пылкий юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя отдает первому из них, пока оно не изгладится и душа не запросит нового. Нет, он вполне пережил юношеский возраст, этот период романического взгляда на жизнь: он уже не мечтает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя и завещая другу локов волос, не принимает слова за дело, порыв чувства, хотя бы самого возвышенного и благородного, за действительное состояние души человека. Он много перечувствовал, много любил и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности; он много думал о жизни, и по опыту знает, как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не тешит и не обманывает себя убеждениями, которым уже сам не верит... Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности: *действительность* — вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него; но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие

в действительность чувства и мысли, это охлаждение к жизни, в которой ему видится то оптический обман, то бессмысленное мелькание китайских теней. — Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и «хандрою», и «ипохондрнею», и «мнительностью», и «сомнением», и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке философском называется *рефлексиею* (Белинский, IV, стр. 252—253).

«Берегитесь! — закричал я ему, — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря».

В числе многих легендарных предзнаменований, будто бы остерегавших Гая Юлия Цезаря (100—44 гг. до н. э.) от присутствия на заседании сената, в котором он был убит заговорщиками, называют и то, что Цезарь оступился на пороге по пути в курию Помпея. Вероятно, с этими анекдотами в памяти Лермонтова сочетались известные, вошедшие в поговорку, слова «*Cave ne cadas*» («Смотри, не упади»), которые по римскому обычаю кричал триумфатору раб, шедший за его колесницей в торжественной процессии. Образ этот Лермонтов использовал за несколько лет до того в стихотворении «Опять, народные витии...» (II, стр. 224)

«Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы...»

Эта скала находится в 4 км от центра нынешнего Кисловодска, в ущелье реки Ольховки (см.: С. И. Недумов и П. Е. Селегей. По лермонтовским местам. Ставропольское книжное издательство, 1960, стр. 104—107).

«Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиной к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами».

Переводчик и знакомый Лермонтова, Фридрих Боденштедт, писал в своих воспоминаниях: «В конце этого романа описывается дуэль, в которой тот, кому первому предстоит подвергнуться выстрелу противника, должен

стать на краю обрыва, чтобы в случае раны немедленно упасть туда на верную смерть: по странному сближению, почти точно таким же образом умер впоследствии сам Лермонтов. Это поразительное сходство положений объясняется тем, что Лермонтов был по убеждению отъявленным врагом дуэли, но одинажды доведенный до нее, не мог уже сделать из нее детской шутки или рисковать подвергнуться одному увечью. Поэтому он и принял такие меры, чтобы один из двух неизбежно остался на месте» («Современник», 1861, № 2, стр. 234).

Поведение Лермонтова на дуэлях с Барантом и с Мартыновым было именно таково. Соблюдая все правила и соглашаясь на самые опасные условия, он не нападал на противника и оба раза стрелял в сторону.

В донесении полковому командиру о поединке с Барантом (1840) Лермонтов сообщал: «Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и pistols. Едва мы успели скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда мы взяли pistols. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал, он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись» (VI, стр. 451). На самом деле Лермонтов не «опоздал», а не хотел стрелять в противника.

Еще более убежденным противником дуэли Лермонтов показал себя в роковом поединке с Мартыновым. Когда была подана команда: «сходись!», «Лермонтов остался недвижим и, взведя курок, поднял pistol дулом вверх... Мартынов подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте» (А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о его дуэли с Н. С. Мартыновым. — «Русский архив», 1872, стлб. 212—213).

Печорин, в отличие от автора романа, убивает своего противника. Но это убийство психологически подготовлено, Лермонтов последовательно показывает, что перед лицом смертельной опасности Печорин ведет себя мужественно и благородно. Зная, что его pistol не заряжен, Печорин испытывает Грушницкого, полагая, что тот не решится на прямое убийство. Затем с незаряженным pistolом Печорин становится на край пропасти под

выстрел Грушницкого. Ему хочется увериться в порядочности Грушницкого, в том, что Грушницкий раскается. Печорин думает, что в таком положении Грушницкому остается только «выстрелить на воздух». Но ложное самолюбие и тут определило поведение Грушницкого. Он выстрелил и оцарапал Печорину колено. Комедия трогательного прощания с Грушницким, разыгранная драгунским капитаном, окончательно ожесточила Печорина. Он сам так определил свое состояние перед тем, как выстрелил в Грушницкого: «Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненый в ногу немного сильнее я бы непременно свалился с утеса» (VI, стр. 329).

При всем различии поведения на дуэли Лермонтова и его героя Печорина, в состоянии Печорина есть нечто, напоминающее состояние самого Лермонтова. Печорин говорит Вернеру, пытающемуся вмешаться в поединок и расстроить планы драгунского капитана и Грушницкого: «Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...» (VI, стр. 328). Е. Г. Быховец, видевшая Лермонтова за несколько часов до смерти, 5 августа 1841 года писала сестре из Пятигорска: «Лермонтову так жизнь надоела, что ему надо было первому стрелять, он не хотел, и тот изверг имел духа долго целиться, и пуля навывлет» («Русская старина», 1892, т. 73, кн. 3, стр. 768).

Ни Лермонтов, ни его герой Печорин не были разочарованы в жизни вообще, оба страстно любили жизнь, человека, природу, но оба не могли и не хотели примириться с окружавшей их действительностью, с русской жизнью николаевского царствования.

«Finita la comedia» (итал.) — «Кончена комедия». Возможно, это цитата из какой-нибудь итальянской *«comedia dell'arte»*. Печорин как будто пародирует известные слова римского императора Августа, который, умирая, спросил своих друзей о том, «не находят ли они, что он хорошо сыграл комедию жизни» (Светоний, 12 цезарей. Биография Октавиана Августа, гл. ХСІХ). Подобные

же слова легенда приписывает и умирающему Франсуа Раблэ: «Опустите занавес, комедия сыграна».

«Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели».

От ужаса совершившегося Печорин ищет спасения в одиноком блуждании среди природы. Примечательно, что в своем потрясении Печорин не замечает на этот раз и природы: обо всем своем долгом странствовании — дуэль началась рано утром, а в Кисловодск он вернулся, когда уже солнце садилось, — он может припомнить только: «...я ехал долго, наконец очутился в месте мне вовсе незнакомом» (Дурылин, стр. 245—246).

«В твоём голосе есть власть непобедимая».

Вера и раньше говорила Печорину: «...ты можешь все, что хочешь» (VI, стр. 290). Максим Максимыч находил, что с ним «непреренно должно соглашаться» (VI, стр. 219.)

«Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней?» — говорит Вера в своем последнем письме к Печорину. Первоначальная (в рукописи) редакция письма Веры была несколько иная, и самое значительное отличие в ней касалось Мери: «...если что-нибудь доброе проснется в душе твоей, женись на ней; она тебя любит...» Но в конце письма — приписка: «Одно меня пугает: что если ты в самом деле любишь Мери? — О, не правда ли, этого не может быть...» В этом варианте Вера исходила из жалости к девушке: «Мне стало жаль ее... Бедная!.. о, не погуби ее! одной довольно» (VI, стр. 603—604). В окончательной редакции Вера запрещает Печорину жениться на Мери.

Печорин остается до конца хозяином всех положений. Он отказывается от Мери потому, что не находит в себе любви к ней, а не потому, что этого хочет или не хочет Вера. Что же касается до испытанного Лермонтовым колебания, то его очень хорошо разъяснил Н. И. Стороженко. Вдумавшись в первоначальную редакцию письма, Лермонтов, которому «дороже всего художественная правда», «находивший неестественным, чтобы мужчина мог принести в жертву свое чувство для счастья любимой женщины, нашел еще более неестественным, чтобы женщина, одаренная таким страстным темпераментом и способная к такой исключительной, можно сказать фанатической привязанности, могла искренно пожелать любимому человеку быть счастливым с другой, и потому в исправленном

тексте он заменил великодушную просьбу Веры к Печорину просьбой совершенно противоположного характера... Посредством этой замены Вера, правда, проигрывает в нравственном отношении, но зато сильно выигрывает в смысле цельности своего психологического типа» (Н. И. Стороженко. Женские типы, созданные Лермонтовым. — В кн.: Из области литературы. М., 1902, стр. 369—370).

«...еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку...»

«При возможности потерять Веру, — говорит Белинский, — она стала для него дороже всего на свете — жизни, чести, счастья!» Натиск судьбы взволновал могучую натуру, изнемогавшую в спокойствии и мире, и возбудил ее дремавшее чувство... Здесь невольно приходят на ум эти стихи Пушкина:

О, люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет;
Вас беспрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не в рай

(Белинский, IV, стр. 258).

Ессентуки. Казачья станица, впоследствии курорт, — между Кисловодском и Пятигорском (18 верст от Кисловодска и 22 версты от Пятигорска); во времена Лермонтова ессентукскими источниками еще пользовались мало, и эта станица имела, главным образом, военное значение.

«...он грянулся о землю».

Н. О. Лернер отметил в своих материалах к «Герою нашего времени»: «Конь Печорина пал; конь Ашик-Кериба пал, — когда оба героя стремились к любимой женщине».

«И долго я лежал неподвижно и плакал горько...»

Так плакал Мцыри:

Тогда на землю я упал;
И в иступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горячею росой...
...тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес,
Да месяц, плывший средь небес!..

(IV, стр. 161—162)

«Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову, и мысли пришли в обычный порядок...»

В черновой рукописи Печорин «стал припоминать выражения письма Веры, стараясь объяснить себе причины, побудившие ее к этой странной трагической выходке.

«Вот последовательный порядок моих размышлений.

1. Если она меня любит, то зачем она так скоро уехала и не простясь, не полюбопытствовав даже узнать, убит я или нет? — не верю я этим предчувствиям сердца, да и ей бы не должно на них так слепо полагаться.

2. Но ведь нам надобно же было когда-нибудь расстаться—и она хотела своим письмом произвести на меня в последний раз глубокое, неизгладимое впечатление. Эгоизм!..

3. Женщины вообще любят драматизировать свои чувства и поступки; сделать сцену почитают они обязанностью;

4. Но тут еще может быть скрывается маленькая ревность. Вера думает, что я влюбился в княжну и хочет своим великодушием привязать меня более к себе, или даже зная мой характер, она думает, что я княжну оставляю и погоню за нею, потому что блага, которые мы теряем, получают в глазах наших двойную цену. Если так, то она ошиблась: я слишком ленив.

5. Или она великодушно уступает меня княжне: это от нее пожалуй станется! но в таком случае она меня не любит.

6. И какое же право я имею требовать ее любви? — разве не я первый начал платить за ее ласки холодностью, за ее жертвы равнодушием и насмешкой.

7. Теперь, когда я знаю, что все между нами кончено, мне кажется, что я ее любил истинно. Одно меня печалит: это письмо. Неужели она не могла обойтись без пышных фраз и декламации.

8. Я был дурак, что так мучился несколько часов сряду: вот что значит расстроенные нервы, ночь без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок» (VI, стр. 604—605).

«...Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию».

На языке военной науки диверсией называется отдельная операция, цель которой — отвлечь внимание неприят-

теля в другую сторону и принудить его к разделению своих сил. Печорин употребляет это слово в психологическом, философском смысле. Замечание его глубоко диалектично и вместе с тем заключает в себе горькую шутку: новое физическое страдание отвлекло Печорина от психического потрясения, вызванного внезапной и окончательной разлукой с Верой. «Счастливая диверсия» в смысле благотворное отвлечение.

«Заснул сном Наполеона после Ватерлоо».

По преданию (едва ли достоверному), Наполеон I после битвы при Ватерлоо, где пала его империя (18 июня 1815 г.), был так подавлен, что проспал более полутора суток.

«Ему хотелось пожать мне руку...»

Почему же Вернер воздержался от этого? С. В. Шувалов полагает, что «Вернер проявляет мещанскую трусость и, не понимая Печорина, тем самым осуждает его за убийство Грушницкого» (С. В. Шувалов. «Герой нашего времени» в школьной проработке. — «Русский язык в советской школе», 1929, № 4, стр. 59). А Печорин обвиняет Вернера: «Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..» (VI, стр. 335). По мнению Н. О. Лернера, «и герой, и критик — оба несправы. Вернеру трусить уже нечего, так как он исполнил все, что обещал, и даже больше того: ведь пуля из груди, как можно догадываться, вынута им. Печорин не взял на себя одного, да и не мог бы взять, — нравственную ответственность. Отношение доктора к нему должно было измениться. Вовлеченный им в секунданты, доктор уже не мог отступить и оставить Печорина...»

«Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска».

Печорин утром «получил приказание от высшего начальства отправиться в крепость», около полудня «зашел к княгине проститься» и «через час» после свидания с Лиговскими мчался к месту новой ссылки на «курьерской тройке», вероятнее всего, в сопровождении фельдъегеря, как экстренно высылаемый» (Дурыйлин, стр. 246).

«Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как

ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце...»

Этим лирическим образом Печорин включает свою личность в семью тех вечных странников-отверженников, неуемных мятежников, скитальцев, которых Лермонтов с юношеских лет выводил в своих поэмах («Исповедь», «Измаил-Бей», «Моряк», «Боярин Орша», «Мцыри» и т. д.), каким был сам и каких символизировал в сходном образе паруса (1832):

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой! (II, стр. 62)

Бриг — небольшое, быстроходное двухмачтовое судно, ходившее и под парусами, и под веслами, и поэтому весьма употребительное у пиратов, о которых Лермонтов имел достаточное представление по романтическому разбойничьему роману. Лермонтов с детских лет мог слышать и читать и о действительных похождениях морских разбойников, промысел которых в начале XIX века еще не был искоренен в Атлантическом океане и Средиземном море.

Лирическая концовка повести «Княжна Мери», по определению Е. Н. Михайловой, «выражает... несмиряющееся, мятежное начало потенциально могучей личности, которая превышает своим подлинным содержанием все житейские возможности проявления, ей предоставленные судьбой» (Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, стр. 321).

«ФАТАЛИСТ»

Автограф повести «Фаталист» имеется в тетради Лермонтова, хранящейся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Впервые повесть опубликована в журнале «Отечественные записки» (1839, т. VI, № 11, отд. III, стр. 146—158). Тексту были предпосланы следующие строки, исходящие от самого автора: «Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем. Не смею надеяться, чтоб все читатели «Отечественных записок» помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому считаю нужным напомнить, что

Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, который рассказал мне историю Бэлы, напечатанную в 3-й книжке «Отечественных записок», а Печорин тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. Передаю этот отрывок из записок Печорина в том виде, в каком он мне достался». В дошедшей до нас авторской рукописи различий сравнительно с печатным текстом немного; самое значительное из них, находящееся в конце повествования, в размышлениях Печорина (см. ниже).

Текст «Фаталиста» в «Отечественных записках» очень мало отличается от текста, напечатанного в первом и втором отдельных изданиях романа 1840 и 1841 годов.

Как утверждал Висковатый, «Фаталист» «списан с происшествия, бывшего в станице Червленной с [Акимом Акимовичем] Хастатовым», дядей Лермонтова (П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 263). «По крайней мере, — прибавляет тут же Висковатый, — эпизод, где Печорин бросается в хату пьяного рассвирепевшего казака, произошел с Хастатовым; все это слышал я от А. П. Шан-Гирея. Хохряков говорит, что слышал от С. А. Раевского, будто «Фаталист» истинное происшествие, в коем участвовали сам Лермонтов и Монго Стольпин. Едва ли это так. Или же, быть может, оба друга были лишь свидетелями случая, изображенного в Вуличе, выстрелившем в себя». В другом месте своей книги Висковатый снова утверждает: «место действия — Червленная станица; Хастатов и есть офицер, бросившийся в окно на убийцу» (стр. 366).

Червленная — одна из старейших гребенских станиц на Тереке. Ныне входит в состав Чечено-Ингушской АССР. В годы Кавказской войны, как и все линейные станицы, представляла укрепленный пункт, окопанный рвом, обнесенный земляным валом и плетеным тыном. Червленная занимала пространство прямоугольника, в длину около двух верст и в ширину около версты. Жизнь станицы была до крайности сжата и скучена. В ней умещалось все домашнее и полевое хозяйство казака. К ночи люди спешили в станицу. Ворота, а их было пять, наглухо запирались, возле ставили охрану, на сторожевую вышку поднимались казаки, а на Тереке располагались секреты.

В 1837 году Лермонтов проехал вдоль Линии; сохранились рассказы, что он останавливался в Червленной, где казак Борискин провел его на ночлег в хату Ефремо-

ва, у которого Лермонтов услышал песню молодой казачки над колыбелью сына и под впечатлением этой песни написал свою «Казачью колыбельную песню».

В автографе рассказа фамилия офицера всюду читается «Вуич», а не «Вулич». Это Иван Васильевич Вуич (1813—1884), поручик лейб-гвардии Конного полка. Г. И. Филипсон, его товарищ по академии генерального штаба, рассказывает, что это был человек замечательных способностей, много обещавший, но мало сдержавший, хотя не по своей вине. «Вуич был идеальный юноша. Красавец строгого греческого или сербского типа, с изящными светскими манерами, умный, скромный, добрый и услужливый, Вуич был такою личностью, которой нельзя было не заметить» («Русский архив», 1883, т. III, стр. 157; ср.: Воспоминания Г. И. Филипсона. М., 1885, стр. 85, а также: Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. М., «Художественная литература», 1964, стр. 346—347. В этом же издании в альбоме иллюстраций за № 43 воспроизведен портрет И. В. Вуича).

Н. И. Черняев сблизил тип Вулича с пушкинским Сильвио, героем «Выстрела» («Южный край», 1901, № 6925). Б. В. Нейман, цитируя Н. И. Черняева, добавлял: «... в самом деле имеется некоторое, но не особенно значительное сходство вообще между «Выстрелом» и лермонтовским очерком. Действие произведений разыгрывается в захолустье; все участвующие — офицеры; герои мрачны, молчаливы, таинственны, вдобавок иностранцы; центральным моментом рассказов является выстрел» (Б. В. Нейман. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914, стр. 114—115).

Трудно сказать, кто в большей степени, Вулич или Печорин, является «героем» рассказа, в котором, как справедливо заметил С. В. Шувалов, «искусно связаны две темы: 1) Печорин и Вулич, 2) Печорин и казак, убивший Вулича; это два последовательных эпизода одной истории, и в то же время они объединены основным мотивом рассказа — о предопределении» (С. В. Шувалов. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., ГИЗ, 1925, стр. 134—135).

Белинский в своей большой статье о «Герое нашего времени» говорит о «Фаталисте»: «...отрывок с превосходно изложенными подробностями, увлекательный по рассказу. Особенно хорошо обрисован характер героя — так и видите его перед собою, тем более, что он очень похож

на Печорина. Сам Печорин является тут действующим лицом, и едва ли еще не более на первом плане, чем сам герой рассказа. Свойство его участия в ходе повести, равно как и его отчаянная, фаталическая смелость при взятии взбесившегося казака, если не прибавляют ничего нового к данным о его характере, то все-таки добавляют уже известное нам и тем самым усугубляют единство мрачного и терзающего душу впечатления целого романа, который есть биография одного лица. — Это усиление впечатления особенно заключается в основной идее рассказа, которая есть — фатализм, вера в предопределение, одно из самых мрачных заблуждений человеческого рассудка, которое лишает человека нравственной свободы, из слепого случая делая необходимость. Предрассудок — явно выходящий из положения Печорина, который не знает, чему верить, на чем опереться, и с особенным увлечением хватается за самые мрачные убеждения, лишь бы только давали они поэзию его отчаянию и оправдывали его в собственных глазах» (Белинский, IV, стр. 261).

С. П. Шевырев находил, что «Фаталист» для того и написан, чтобы «развить более характер» Печорина и выставить его «фатализм, согласный со всеми прочими его свойствами» («Москвитянин», 1841, ч. II, № 4, стр. 527). Выступает в рассказе и присущая Печорину жестокость, его «вампиризм», который он проявляет в отношениях к Бэле, Мери, Максиму Максимычу. Вулич для него тоже лишь орудие эксперимента: своим пари он провоцирует Вулича на весьма возможное самоубийство. Точно такой же эксперимент Печорин проделывает, стоя перед заряженным пистолетом Грушницкого.

Раздумья о предопределении, игра со случаем, отчаянная храбрость, неразрывная спутница фатализма, — все это было свойственно Лермонтову, особенно в последние месяцы его жизни, когда он уже не видел выхода из трагических противоречий в условиях русской действительности начала 40-х годов. «Ему доставляло как будто особенное удовольствие вызывать судьбу; опасность или возможность смерти делали его остроумным, разговорчивым, веселым» (Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 346).

В сентябре 1840 года в письме к А. А. Лопухину Лермонтов завершал описание Валерикского боя характерным признанием: «Я вошел во вкус войны и уверен, что для

человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными» (VI, стр. 456). Эти слова были бы уместны в дневнике Печорина, а в стихотворении «Валерик» он говорил:

Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переносу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили... (II, стр. 167)

Как заметил Б. М. Эйхенбаум, «Повесть «Фаталист» играет роль двойного финала: ею не только заканчивается «Журнал Печорина», но и замыкается вся «цепь повестей», образующая роман. Автор избавил себя от традиционной обязанности говорить в конце романа о дальнейшей судьбе героя и о его смерти, потому что об этом было сообщено раньше («Максим Максимыч» и Предисловие к «Журналу Печорина»). Проблема финала решена иначе: в основу последней повести положен вопрос о «судьбе», о «предопределении», о «фатализме» — вопрос, характерный для мировоззрения и поведения людей 30-х годов (последекабристской эпохи).. Он подготовлен и самим ходом событий внутри романа, поскольку и в «Тамани» и в «Княжне Мери» герой оказывается на краю гибели» (т. VI, стр. 666).

В другой работе Б. М. Эйхенбаум уточнил историко-философскую основу «Фаталиста». «Как за портретом Печорина стала целая естественнонаучная и философская теория, так за «Фаталистом» скрывается большое философско-историческое течение, связанное с проблемой «исторической закономерности», «необходимости», или, как тогда выражались, «судьбы», «предвидения». Это была одна из острейших декабристских тем (см. у К. Рылеева, А. Бестужева, Н. Муравьева и др.), научным обоснованием которой служили работы французских историков О. Тьерри, П. Баранта, Тьера (об этом см. в кн.: Б. Г. Рейзов. Французская романтическая историография, Л., Издательство Лен. гос. университета, 1955,

и С. С. Волк. Исторические взгляды декабристов. М. — Л., Изд. АН СССР, 1958, особенно стр. 136—142). Лермонтов, конечно, знал сочинения и взгляды этих французских историков и, главное, понимал всю серьезность и все значение этих взглядов не только для исторической науки, но и для жизни, для ежедневного решения самых основных вопросов поведения и борьбы. Достаточно вспомнить, какое важное место отведено теме «судьбы» и «рока» в лирике Лермонтова, в его поэмах» (Б. М. Эйхенбаум. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. М., Изд. АН СССР, 1962, в серии «Литературные памятники», стр. 158—159).

Не отвергая значения проблемы предопределения, фатализма, Лермонтов, как это убедительно показал Б. М. Эйхенбаум, берет эту проблему не в теоретическом («метафизическом») плане, а в чисто психологическом, в связи с душевной жизнью человека, в связи с его поведением, и делает неожиданный для «теоретика», но убедительный практический (психологический) вывод: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!» (VI, стр. 347). Фатализм здесь повернут своей противоположностью: «если «предопределение» (хотя бы в форме исторической закономерности) действительно существует, то сознание этого должно делать поведение человека тем более активным и смелым. Вопрос о «фатализме» этим не решается, но обнаруживается та сторона этого мировоззрения, которая приводит не к «примирению с действительностью», а к «решительности характера — к действию». Таким истинным художественным поворотом философской темы Лермонтов избавил свою заключительную повесть от дурной тенденциозности, а свой роман от дурного или мрачного финала» (Б. М. Эйхенбаум. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». М., Изд. АН СССР, 1962, в серии «Литературные памятники», стр. 159).

Очень близко к этому поставлен вопрос в «Войне и мире» Л. Н. Толстого: «В чем состоит фатализм восточных? — рассуждает он в черновой редакции эпилога. — Не в признании закона необходимости, но в рассуждении

о том, что если все предопределено, то и жизнь моя предопределена свыше и я не должен действовать...

Наше воззрение не только не исключает нашу свободу, но непоколебимо устанавливает существование ее, основанное не на разуме, но на непосредственном сознании» (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 15. М., Гослитиздат, 1955, стр. 238—239).

И. М. Тойбин в содержательной статье «К проблематике новеллы Лермонтова «Фаталист» показал борьбу, «которая происходила в философско-исторической мысли 30-х годов вокруг проблемы фатализма», в частности, он весьма убедительно сопоставил взгляды Лермонтова на фатализм с концепцией, изложенной К. Лебедевым в книге «История. Первая часть введения: идея, содержание и форма истории» (М., 1834). И. М. Тойбин пришел к выводу, что «круг вопросов, затрагиваемых Лебедевым в связи с проблемой фатализма и, главное, точка зрения, с которой они рассматриваются (нравственная ответственность человека, значение его воли и сознания), настолько перекликаются с аналогичными размышлениями Лермонтова, что невольно напрашивается предположение о знакомстве поэта с названной книгой. Возможно предположить, что Лермонтов встречался с К. Лебедевым, который учился в Московском университете и был дружен с приятелем Лермонтова А. Д. Закревским, но даже если это и не так, то все-таки бесспорно, что вопросы, затронутые Лебедевым, волновали и обсуждались в том кругу студентов, с которым был связан Закревский, а следовательно, и Лермонтов» (Ученые записки Курского государственного педагогического института, гуманитарный цикл, 1959, вып. IX, стр. 19—56).

И. Виноградов в статье «Философский роман Лермонтова» специально уделил внимание значению повести «Фаталист» в идейно-художественном единстве романа: «...«Фаталист» отнюдь не довесок к основной, самостоятельно значимой части романа. В известном отношении он занимает в системе повестей «Героя нашего времени» ключевое положение, и без него роман не только потерял бы в своей выразительности, но во многом утратил бы и свой внутренний смысл. Вся логика повествования, весь ход развертывающегося композиционного его построения подготавливают постепенно, шаг за шагом, необходимость появления этого последнего и решающего

звена, — «Фаталист» заключает роман, как своего рода «замковый камень», который держит весь свод и придает единство и полноту целому...»

И дальше: «Фаталист» и в самом деле раскрывает нам Печорина с существенно новой и важной стороны. Оказывается, — «рефлексия» Печорина куда более серьезна и глубока, чем это представляется поначалу... Оказывается, — и в этом тоже Печорин до конца верен своему времени — времени, подвергнувшему пересмотру коренные вопросы человеческого существования, во всем пытавшемся идти «с самого начала», времени небывалого доселе, напряженнейшего интереса к важнейшим философским проблемам, — времени, когда, по выражению Герцена, «вопросы становились все сложнее, а решения менее простыми». Печорин тоже, как видим, пытается идти «с самого начала», пытается решить вопрос, которым, действительно, все «начинается».

Это вопрос о тех первоначальных основаниях, на которых строятся и от которых зависят уже все остальные человеческие убеждения, любая нравственная программа жизненного поведения. Это вопрос о том, предопределено ли высшей божественной волею назначение человека и нравственные законы его жизни или человек сам, своим свободным разумом, свободной своей волей определяет их и следует им» («Новый мир», 1964, № 10, стр. 217—218).

Фаталист (от латинского *fatum* — судьба) — человек, верящий в судьбу, в предопределение.

«Мне как-то случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты».

По всей вероятности, место действия «Фаталиста» — станица Червленая, в которой Лермонтов останавливается по пути в Кизляр в 1837 году. О станице Червленной см.: П. Кулебякин. Из местных воспоминаний о М. Ю. Лермонтове. — «Терские ведомости», 1886, № 14, стр. 2; Г. А. Ткачев. Станица Червленая. Владикавказ, 1912, 116 стр.; Л. П. Семенов. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, стр. 119, 423—424; Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1940, стр. 132—133, В. С. Виноградов. Русские писатели в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1958, стр. 69—75.

«Рассуждение о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников».

«Учение и вера в предопределение (фатализм), в то, что ход и исход жизни каждого человека извечно предопределены свыше, и человек не властен ни в чем его изменить, выполняя в своей жизни лишь божественные предначертания, составляет одну из основ магометанского религиозного жизнепонимания. Исторические корни этого учения таковы: для мусульманина, как и для христианина, бог всемогущ и всеведущ; будущее ему так же хорошо известно, как прошлое и настоящее; все, что делается в мире, делается по его воле; и в то же время человек может исполнять и не исполнять предписания божии и за их неисполнение подлежит ответственности. Учение о боге, таким образом, могло развиваться или в сторону учения о предопределении, или в сторону признания свободной человеческой воли. В Мекке Мухаммед не был ничьим повелителем; призывая людей к покаянию, вере и деятельной любви, он мог взывать только к их доброй воле; естественно, что в меккских сурах учение об обязанностях и ответственности человека преобладает над учением о всемогуществе божием. После бегства в Медину Мухаммед сделался правителем сначала этого города и его области, потом — почти всей Аравии; люди должны были беспрекословно исполнять волю бога, передаваемую через его посланника; естественно было убеждать их, что этой волей все заранее обдуманно и предрешиено, так что сопротивляться ей бесполезно; даже в битвах человеку не угрожает никакая опасность, так как его смертный час заранее определен в книге судеб. Преемники Мухаммеда по тем же причинам имели основание поддерживать учение о предопределении, за которое одинаково стояли «праведные» халифы и омейяды» (см.: В. В. Бартольд, Ислам. Пг., «Огни», 1918, стр. 68—69; см. также: Л. Климович, Ислам и современность. — «Наука и религия», 1965, № 7, стр. 21—24; № 8, стр. 51—57; № 9, стр. 16—21; № 10, стр. 15—20; № 11, стр. 29—32).

В записанной Лермонтовым сказке «Ашик-Кериб» есть эпизод: богач Куршуд-бек обманом женится на невесте бедняка Ашик-Кериба, но в самый разгар свадебного пира является Ашик-Кериб, и невеста бросается

к нему в объятия. Брат Куршуд-бека кинулся на них с кинжалом, но Куршуд-бек остановил его, сказав «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует» (VI, стр. 201).

Об отношении Лермонтова к идее предопределения и интересе его к фатализму см. на стр. 256.

«Pro или contra» (лат.) — за или против.

«Он был родом серб, как видно было из его имени...»

О поручике И. В. Вуиче — прототипе Вулича см. стр. 253.

«Была только одна страсть, которой он не таил — страсть к игре».

Образ Вулича примыкает к галерее страстных игроков, которыми изобилует русская литература первой половины XIX века. Лермонтов хорошо помнил Сильвио из «Выстрела» и Германна из «Пиковой дамы» Пушкина. В творчестве Лермонтова созданию образа Вулича предшествовала работа над «Маскарадом», где большое внимание уделено изображению игроков, и в том числе Арбенина, Казарина и Звездича. Уже когда «Герой нашего времени» вышел в свет, в начале 1841 года, Лермонтов вернулся к изображению игрока Лугина в отрывке из неоконченной повести «Штосс». Одновременно с Лермонтовым ряд образов игроков был создан Гоголем («Игроки», Ноздрев в «Мертвых душах»).

Этот интерес к карточной игре не случаен. Двадцатые, и в особенности тридцатые годы в России, да и на Западе характеризуются широко распространенным увлечением игрой в карты. Для некоторых слоев разоряющегося дворянства карты становятся постоянным «промыслом», неверным, но заманчивым способом обогащения.

«...раз во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло».

Речь идет об игре в банк. Вулич — банкомет. Он ставил определенную сумму (метал или держал банк). Другие игроки — «понтёры», «понтировали», шли против него. Каждый из понтеров объявлял свою сумму, которую он «отвечает»; она могла быть меньше суммы, объявленной банкометом, или равна ей. В случае, как было с Вуличем, она равнялась всей сумме банкмета: «ва банк!» — это значит, что игра достигла предела денежного напря-

жения, выигравший получил бы всю сумму, находящуюся в банке. Поэтому банкومت Вулич непременно хотел «докинуть талью», то есть довести до конца промет колоды, пока не объявится карта, объявленная его противником — понтером, в данном случае семерка. Только когда семерка была «дана» и этим определился выигрыш понтера, проигравший Вулич оторвался от карт и «явился в цепь». В самозабвении игрока, Вулич нарушил военную дисциплину. Эта черта была нужна Лермонтову, чтобы показать силу страсти, которая владела Вуlichem (ср.: Д у р ы л и н, стр. 253).

«Все замолчали и отошли».

В рукописном тексте за этими словами следует: «Вулич продолжал: если я не должен умереть, то этот пистолет или не заряжен, или осечется, если суждено противное, то ничего не может этому помешать. Итак, господа, все ваши опасения напрасны. Он вышел» и т. д. (VI, стр. 609).

По этому поводу И. М. Болдаков приводит рассказ Байрона об одном своем школьном товарище: «... он рассказал мне, что накануне, взяв пистолет и не справляясь, был ли он заряжен, он приставил его себе ко лбу и спустил курок, предоставив случаю решить, последует выстрел или нет». «Не этот ли случай, — спрашивает И. М. Болдаков, — встреченный Лермонтовым в «Мемуарах Байрона», которыми он зачитывался еще в юности, дал ему тему для рассказа, столь характерно заканчивающего его роман?» (Лермонтов. Сочинения, т. I. М., изд. Е. Гербек, стр. 442—443). Предположение И. М. Болдакова любопытно, но сомнительно. Такой случай мог быть и в одном из полков, в которых служил Лермонтов.

«Но я утверждал, что последнее предложение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета».

После этого в рукописи следовало: «Как бы то ни было, посредничество судьбы в этом деле все-таки оставалось неоспоримо». Лермонтов исключил эту фразу из окончательного текста, как слишком определенное утверждение справедливости веры в предопределение (Д у р ы л и н, стр. 253).

«Я возвращался домой... звезды спокойно сияли...»

Все это размышление Печорина стоит в близкой связи с давними мыслями самого Лермонтова. Взгляд на звездное небо внушал ему, что человек одинок, что природа равнодушна к нему. Ср. стихотворение «Небо и звезды» (1831, I, стр. 219).

В «Демоне» звезды поставлены в пример человеку:

В день томительный несчастья
Ты о них лишь вспомяни;
Будь к земному без участия
И беспечна как они! (IV, стр. 194)

В «Сказке для детей» Демон говорит:

И улыбались звезды голубые,
Глядя с высот на гордый прах земли,
Как будто мир достоин их любви,
Как будто им земля небес дороже...

(IV, стр. 176)

Жалоба Печорина «А мы, их жалкие потомки...» представляет собою отчасти повторение жалобы самого Лермонтова в «Думе»:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властью — презренные рабы

(II, стр. 113).

«...были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли, или за какие-нибудь вымышленные права!»

Речь идет об астрологах, которые в древности и в средние века пытались предсказывать судьбы людей по положению на небе небесных светил в момент рождения того или иного человека. Вера в астрологические предсказания была так сильна, что еще в XVIII веке астрономам приходилось составлять гороскопы — таблицы, анализирующие положение звезд в час рождения человека и определяющие их влияние на его судьбу. Печорин относился к таким предсказаниям иронически, но завидовал этому проявлению фатализма, потому что люди, верившие во влияние небесных светил на земные дела, были будто бы сильнее современных людей, дрожащих за свою жизнь (см.: Д у р ы л и н, стр. 254).

По словам И. Виноградова, «позиция Печорина отнюдь не свидетельствует о его приверженности к традиционному мировоззрению, о симпатиях к наивной вере «людей премудрых». Напротив, как это явствует из едкой иронии его по отношению к ним, в разрешении проблемы он склонен идти скорее путями атеистического сознания — или во всяком случае такого, которое не признает вмешательства высшей воли в дела человеческие и оставляет вопрос о боге открытым, не имеющим значения для остальных вопросов человеческой жизни. В этом — отметим кстати — он тоже подлинный герой тридцатых годов; и в самом интересе его именно к этой «начальной» дилемме, и в том, как он ее разрешает, звучат явственные отзвуки тех духовных исканий, которые были характерны для тридцатых годов, через которые прошли все лучшие люди его поколения — в том числе и такие, как Белинский и Герцен, Огарев или Бакунин. Ироническое отношение Печорина к философии «людей премудрых» прямо связано у него, как видим, с утверждением права человека на самостоятельность решений: он называет «колею предков» «опасной», он видит, что она отнимает у него свободу воли, и предпочитает «решительность» характера, основанную на праве человека «сомневаться во всем». Он сознает в себе единственного творца своей судьбы и потому-то и дорожит своей свободой как высшей ценностью...» («Новый мир», 1964, № 10, стр. 218).

«В первой молодости моей я был мечтателем...»

Об этой работе воображения говорит одно из ранних стихотворений Лермонтова («Русская мелодия», 1829):

В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье;
Я цепью их связал между собой,
Я дал им вид, но не дал им названья...

(I, стр. 34)

Ср. другие признания в стихотворении «1831 года июня 11 дня»:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала...
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями...
...Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,

Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О, нет! все было ад иль небо в них!

(I, стр. 177)

«... Усталость как после ночной битвы с привидением».
Образ этот заимствован из сохранившегося библией древнего еврейского мифа о борьбе патриарха Якова с богом.

«Я истошил и жар души...»

Ср. в желчной «Благодарности» Лермонтова:

За жар души, растрченный в пустыне... (II, стр. 159)

«Кого ты, братец, ищешь?» — «Тебя!» — отвечал казак...»

Б. М. Эйхенбауму это место показалось сомнительным: «...ясно, что никто, кроме самого Вулича, не мог рассказать об этом, а Вулич успел сказать только два слова: «он прав» (Б. М. Эйхенбаум. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., ГИЗ, 1924, стр. 153). Из всего контекста ясно, что краткий диалог Вулича и его убийцы был сообщен Печорину двумя казаками, которые «следили за убийцей» и «подоспели, подняли раненого». Так как Вулич был разрублен «от плеча почти до сердца», то от момента его вопроса и ответа убийцы прошло лишь несколько секунд, и казаки, подоспевшие к еще дышавшему Вуличу, должны были услышать эти слова.

«... Уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь».


Снова мысль о предопределении, высказанная в данном случае казаком-есаулом Ефимычем, как выражение обычной, повседневной народной мудрости. Ср. дальше слова Максима Максимыча: «Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано...» (VI, стр. 347). Дурылин приводит в связи с этим местом русские народные пословицы: «От судьбы не уйдешь», «От роду не в воду», «Судьба руки вяжет», «Детишки не без судьбишки» и др. (Дурылин, стр. 257; ср.: В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. III, изд. 4-е, стр. 622).

«Больше я от него ничего не мог добиться...»

«Фаталист» кончается юмористически краткой беседой Печорина об азиатских курках в черкесских винтовках с

простодушно-лукавым, неподатливым Максимом Максимычем, так умно и тактично избегающим «метафизических прений». Такою же усмешкой оканчивается и «Тамань»: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, страстующему офицеру, да еще с дорожной по казенной надобности?» (VI, стр. 260).

Лев Толстой в «Набеге» так же завершил беседу, которую рассказчик пытался завязать на «метафизическую тему» с капитаном Хлоповым, напоминающим Максима Максимыча. Хлопов прямо, без околичностей отклоняет бесплодный разговор: «... вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет» (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 3. М. — Л., ГИХЛ, 1932, стр. 17).



БИБЛИОГРАФИЯ¹

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗДАНИЯ РОМАНА

Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Чч. 1—2. Спб., в тип. Ильи Глазунова и К°, 1840, ч. 1, 173 стр.; ч. 2, 250 стр.

Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Чч. 1—2. Изд. 2-е. Спб., в тип. Ильи Глазунова и К°, 1841, ч. 1 [2], 173 стр.; ч. 2 [2], VI, 250 стр.

Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Чч. 1—2. Изд. 3-е. Спб., в тип. Ильи Глазунова и К°, 1843, ч. 1 [1], 173 стр.; ч. 2 [2], VI, 250 стр.

Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок и дополненные С. С. Дудышкиным. Т. 1. Спб., изд. А. И. Глазунова, 1860, стр. 221—416.

Сочинения. Первое полное издание в 6-ти томах. Под ред. П. А. Висковатова. Т. 5. Проза и письма. М., В. Ф. Рихтер, 1891, стр. 187—339.

Полное собрание сочинений. Под ред. и с прим. проф. Д. И. Абрамовича. Т. 4. Проза. Спб., Изд. Разряда изящной словесности имп. Академии наук, 1913 (Академическая библиотека русских писателей, вып. 2—6), стр. 153—276.

Иллюстрированное полное собрание сочинений. Ред. В. В. Калаша. Т. 4. Проза. М., «Печатник», 1915, стр. 143—279.

Полное собрание сочинений в 5-ти томах. Ред. текста и коммент. Б. М. Эйхенбаума. Т. 5. Проза. М.—Л., «Academia», 1937, стр. 185—321.

Сочинения в 6-ти томах. Под ред. Н. Ф. Бельчикова, Б. П. Городецкого, Б. В. Томашевского. Т. 6. Проза, письма. М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, стр. 202—347.

Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. Проза, письма. М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 275—474.

Герой нашего времени. Изд. подгот. Б. М. Эйхенбаум и Э. Э. Найдич. М., Изд. АН СССР, 1962, 228 стр. с илл. (Акад. наук СССР. Литературные памятники).

Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. Проза. Письма. М., «Художественная литература», 1965, стр. 7—133.

¹ Составила О. В. Миллер.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ О РОМАНЕ

Белинский В. Г. «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. Спб., 1840 (Рецензия I). — «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. Спб., 1840 (Рецензия II). — «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. Спб., 1840 (Статья). — «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. Изд. 2-е. СПб., 1841 (Рецензия). — «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. Изд. 3-е. Спб., 1843 (Рецензия I). — «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. Изд. 3-е. Спб., 1843 (Рецензия II). — В кн.: Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13-ти томах. Т. 4. М., 1954, стр. 145—147, 173—175, 193—270; т. 5, М., 1954, стр. 451—456; т. 8, М., 1955, стр. 116—118, 164—166.

Герцен А. И. Еще раз Базаров [1868]. — В кн.: А. И. Герцен. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 20, кн. I. М., Изд. АН СССР, 1960, стр. 335—350. [Стр. 337—344, 347.]

Герцен А. И. Very dangerous!!! [1859]. — В кн.: А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 14. М., Изд. АН СССР, 1958, стр. 116—121.

Добролюбов Н. А. Несколько слов о цензуре в России [1855]. — В кн.: Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в 9-ти томах. Т. 1. М. — Л., Гослитиздат, 1961, стр. 150—151.

Добролюбов Н. А. Реестр прочитанным книгам (25 февраля 1852 года). — В кн.: С. А. Рейсер. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., Госкультпросветиздат, 1953, 371 стр. [Стр. 43].

Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина? [1859]. — В кн.: Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в 9-ти томах. Т. 4. М. — Л., Гослитиздат, 1963, стр. 307—343.

Писарев Д. И. Базаров [1862]. — В кн.: Д. И. Писарев. Сочинения в 4-х томах. Т. 2. М., Гослитиздат, 1955, стр. 7—50.

Чернышевский Н. Г. Заметки о журналах. Январь 1857 года. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 4. М., Гослитиздат, 1948, стр. 696—708.

Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы [1855—1856]. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 3. М., Гослитиздат, 1947, стр. 5—309.

Чернышевский Н. Г. Роман и повести М. Авдеева [1854]. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 2. М., Гослитиздат, 1949, стр. 210—221.

Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez vous [1853]. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 5. М., Гослитиздат, 1950, стр. 156—174.

Шелгунов Н. В. Русские идеалы, герои и типы. — «Дело», 1868, № 6, стр. 92—101; № 7, стр. 100—152.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О РОМАНЕ

Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. Изд. подгот. Е. П. Населенко и Е. А. Смирнова. М., Изд. АН СССР, 1960, 296 стр. [Стр. 43].

Гончаров И. А. Милion терзаний (Критический этюд) [1872]. — В кн.: И. А. Гончаров. Собрание сочинений в 8-ми томах. Т. 8. М., Гослитиздат, 1955, стр. 7—40.

Гончаров И. А. Письмо к С. А. Никитенко от 8 (20) июня 1860 г. — В кн.: И. А. Гончаров. Собрание сочинений в 8-ми томах. Т. 8. М., Гослитиздат, 1955, стр. 331—335 [Стр. 334].

Горький М. История русской литературы. М., «Художественная литература», 1939, X, 340 стр. [Стр. 158—159, 164—166].

Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1961, 215 стр.; 10 л. илл. [Стр. 107].

Григорьев А. А. Собрание сочинений. Под ред. В. Ф. Саводника. Вып. 7. Лермонтов и его направление (Крайние грани развития отрицательного взгляда) [1862]. М., 1915, 96 стр.

Григорьев А. А. Русская литература в 1851 году. — В кн.: А. А. Григорьев. Собрание сочинений. Под ред. В. Ф. Саводника. Вып. 9. М., 1916, стр. 1—51.

Тынянов Ю. Н. Кюхельбекер о Лермонтове. — «Лит. современник», 1941, № 7—8, стр. 142—150.

Писемский А. Ф. Письма. Подготовка текста и коммент. М. К. Клемана и А. П. Могилянского. М.—Л., Изд. АН СССР, 1936. VIII, 928 стр.; 18 л. илл., портр. и факс. [Стр. 33—35, 524].

Лев Толстой об искусстве и литературе. В 2-х томах. Т. 2. М., «Советский писатель», 1958, 576 стр.; 1 л. портр. [Стр. 125].

Л[уканина] А. Мое знакомство с Тургеневым. Записи 1876—1883 гг. — «Северный вестник», 1887, № 2, стр. 38—59.

Чехов А. П. Письмо к Я. П. Полонскому от 18 января 1888 г. — В кн.: А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах. Т. 14. М., Гослитиздат, 1949, стр. 17—19.

А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1960, 834 стр. с илл.; 16 л. илл. [Стр. 463, 650].

ОБЩИЕ РАБОТЫ О РОМАНЕ

(Творческая история, проблематика, композиция)

Абрамович Г. Л. Критические мотивы в творчестве Лермонтова. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Сб. статей под ред. Н. А. Глаголева. М., 1941, стр. 62—78 [Стр. 71—74].

Андреев-Кривич С. А. «Герой нашего времени». — «Литературная учеба», 1939, № 10, стр. 3—19.

Андреев-Кривич С. А. Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова. — «Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского ин-та». Т. I, 1946, стр. 261—263.

Андреев С. Лермонтов и реакция (эпизод литературной борьбы сороковых годов). — «30 дней», 1938, № 7, стр. 88—90.

Андроников И. Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. Тбилиси, «Заря Востока», 1958, 240 стр.; 8 л. илл. [Стр. 116—123: Прототипы Вернера, действующих лиц «Тамани»].

Андроников И. Лермонтов. М., «Советский писатель», 1951, 320 стр. [Стр. 204—217: Отрывок «Я в Тифлисе...» — набросок сюжета, использованного в «Тамани». Прототип Вулича].

Благой Д. От «Евгения Онегина» до «Героя нашего времени». — «Неделя», 1964, 4—10 октября, № 41, стр. 8—9.

Бронштейн Н. Доктор Майер. — «Лит. наследство», Т. 45—46. М. Ю. Лермонтов, II. М., Изд. АН СССР, 1948, стр. 473—496 [Прототип доктора Вернера].

Бурсов Б. И. Лев Толстой и русский роман. М.—Л., Изд. АН СССР, 1963, 152 стр. (Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) [Стр. 30—33, 92—94].

Виноградов Б. С. О «Герое нашего времени». — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставропольское книжное изд-во, 1965, стр. 20—34 [Очерк Павла Бестужева и повесть «Бэла». — Эпопосная речь в романе «Герой нашего времени»].

Виноградов И. Философский роман Лермонтова. — «Новый мир», 1964, № 10, стр. 210—231.

Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., «Советский писатель», 1964. 496 стр. [Стр. 100—103: Отзыв Николая I о романе].

Гинзбург Л. Я. Герой нашего времени. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Л., Гослитиздат, 1941, стр. 207—229.

Глухов В. «Герой нашего времени» и «Евгений Онегин» (К вопросу о творческом методе). — В кн.: Творчество М. Ю. Лермонтова. 150 лет со дня рождения. 1814—1964. М., 1964, стр. 285—310.

Григорьян К. Н. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» — вершина русской романтической прозы. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, 1963, стр. 36—53.

Домбровский Р. Я. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. — «Ученые записки Ульяновского гос. пед. ин-та им. И. Н. Ульянова», вып. 8, 1956, стр. 395—430.

Дурылин С. Н. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., Учпедгиз, 1940, 256 стр.

Дурылин С. Н. Как работал Лермонтов. М., «Мир», 1934, 128 стр. [Стр. 105—119].

Дурылин С. Н. Лермонтов и его «Герой нашего времени». — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. М., 1957, стр. 3—16.

Евзерихина В. А. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова и русская литература 30-х годов XIX в. Автореферат дисс. на соискание степени канд. филол. наук. Л., 1960, 20 стр. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

Евзерихина В. А. М. Ю. Лермонтов на пути к созданию образа Печорина. — В кн.: Труды IV научной конференции Новосибирского гос. пед. ин-та, т. I, 1957, стр. 217—248.

Ермилова Л. Как построен «Герой нашего времени». — «Литературная Россия», 1964, № 40, стр. 11.

Журавлева А. И. Лермонтов и Достоевский. — «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», т. 23, вып. 5, 1964, стр. 386—392.

Заславский И. Я. М. Ю. Лермонтов и современность. Киев, Изд-во Киевского ун-та, 1963, 124 стр. [Стр. 68—75].

Калиберзина А. М. Художественное своеобразие романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — «Ученые записки Даугавпилсского пед. ин-та», т. 8, серия филол., вып. 5, 1963, стр. 3—40.

Касторский С. В. Герой нашего времени. — В кн.:

М. Ю. Лермонтов. Сборник статей. М., Учпедгиз, 1941, стр. 109—132.

Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., Изд. МГУ, 1959, 402 стр. [Стр. 59—61].

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Сост. В. А. Мануйлов и М. И. Гиллельсон. М., «Художественная литература», 1964, 584 стр. 8 л. илл. [Стр. 52: А. П. Шан-Гирей о «Герое нашего времени»; стр. 400—401: Отзыв Николая I о романе].

Леушева С. Традиции Лермонтова в творчестве Толстого. — «Литература в школе», 1964, № 5, стр. 21—32.

Линник Г. Т. Материалы к изучению пейзажа в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — «Научные записки Полтавского гос. пед. ин-та им. Короленко», т. 12, вып. 2, 1961, стр. 70—77.

Любович Н. А. Печорин и Павел Корчагин. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Сб. статей под ред. Н. А. Глаголева. М., 1941, стр. 188—202.

Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. М. — Л., «Наука», 1964, 268 стр. [Стр. 107—112].

Мануйлов В. А. Вечно живая книга. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Пятигорск, 1948, стр. 150—164.

Мануйлов В. А. «Герой нашего времени» Лермонтова как реалистический роман (Тезисы доклада). — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, 1963, стр. 25—35.

Мануйлов В. А. Лермонтов. — В кн.: История русской литературы. Т. 7. М. — Л., 1955, стр. 262—378. Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) [Стр. 344—362].

Мануйлов В. А. М. Ю. Лермонтов. Биография. Пособие для учащихся. М. — Л., «Просвещение», 1964, 184 стр. [Стр. 141—154].

Мануйлов В. А. Лермонтов в Петербурге. Л., Лениздат, 1964, 340 стр. с портр. и илл. [Стр. 250—252, 283—290].

Маркович В. М. Проблема личности в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — «Известия Акад. наук Каз. ССР. Серия обществ. наук», 1963, вып. 5, стр. 63—75.

Материалы к V Международному съезду славистов. Вопрос № 3. Каким произведением надо считать роман «Герой нашего времени» Лермонтова — реалистическим или романтическим? Ответы Г. М. Фридендера, Н. И. Кравцова, Ю. В. Стенника, У. Р. Фохта, Е. Е. Слащева и К. Н. Григорьяна. — «Известия АН СССР, отд. языка и литературы», 1963, № 4, стр. 319—323.

Мезенцев П. А. История русской литературы XIX века. Первая половина. М., «Высшая школа», 1963, 354 стр. [Стр. 250—265].

Михайлова Е. Н. Проза Лермонтова. М., Гослитиздат, 1957, 382 стр.; 1 л. портр. [Стр. 203—381].

Найдич Э. Э. «Герой нашего времени» в русской критике. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. М., Изд. АН СССР, 1962, стр. 163—197 (Литературные памятники).

Нейман Б. В. Женские образы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — «Литература в школе», 1961, № 1, стр. 65—70.

Нейман Б. В. М. Ю. Лермонтов. — В кн.: История русской литературы XIX века. Т. I. Под ред. Ф. М. Головенченко и С. М. Петрова. М., 1960, стр. 282—324.

Никитин Н. И. Образ Печорина в композиции «Героя нашего времени». — «Литература в школе», 1941, № 4, стр. 48—63.

Поляков Н. Н. Материалы к практическому занятию со студентами-филологами по теме «Художественное своеобразие романа Лермонтова «Герой нашего времени». — «Ученые записки Комсомольского-на-Амуре гос. пед. ин-та. Серия историко-филол. наук», вып. I, 1959, стр. 168—185.

Попов А. В. «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963, стр. 30—80 (Ставропольский гос. пед. ин-т).

Рез З. Я. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Л., 1956, 41 стр. (О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. Ленингр. отделение. Серия «В помощь учащимся 8—10 классов»).

Семенов Л. П. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, Орджоникидзевское краевое изд., 1941, 98 стр.

Соколов А. Н. История русской литературы XIX в. Т. I. М., Изд. МГУ, 1960, стр. 736—748.

Тамарченко Д. Е. Свободный роман М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Из истории русского классического романа. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М. — Л., Изд. АН СССР, 1964, стр. 59—103.

Тамахин В. М. Эстетическая функция пейзажа в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставропольское книжное изд-во, 1965, стр. 45—51.

Титов А. А. Лермонтов и «герои начала века». — «Русская литература», 1964, № 3, стр. 13—31.

Титов А. А. Художественная основа образа Печорина. — В кн.: Проблемы реализма русской литературы XIX века. М. — Л., Изд. АН СССР, 1964, стр. 76—104.

Удодов Б. Т. «Герой нашего времени» как явление историко-литературного процесса (Характер, метод, стиль, жанр). — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Воронеж, 1964, стр. 3—109.

Фохт У. Р. Пути русского реализма. М., «Советский писатель», 1963, 264 стр. [Стр. 148—224].

Фохт У. Р. Творчество Лермонтова. — В кн.: История русской литературы в 3-х томах. Т. 2. Литература первой половины XIX века. М. — Л., Изд. АН СССР, 1963, стр. 590—614.

Фридлиндер Г. М. Лермонтов и русская повествовательная проза. — «Русская литература», 1965, № 1, стр. 33—49.

Цейтлин А. Г. Мастерство Тургенева-романиста. М., «Советский писатель», 1958, 435 стр. [Стр. 25—40: «Герой нашего времени» — звено в развитии русского психологического романа. «Герой нашего времени» и «Евгений Онегин». Лермонтов и Достоевский].

Черный К. Г. Лермонтов и его роман. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Ставрополь, краевое книжное изд-во, 1947, стр. 3—22.

Шевченко Г. Г. На путях становления русского социально-психологического романа (Проблема «героя века» в литературе 30-х годов XIX в.). Автореферат на соискание учен. степени канд. филол. наук. Харьков, 1965 (Харьковский гос. ун-т им. А. М. Горького), 22 стр.

Шевченко Г. Г. О своеобразии метода психологического анализа в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — «Ученые записки Харьковского ун-та», т. 116, труды филол. фак., т. 10, Харьков, 1962, стр. 73—95.

Шкловский В. Б. М. Ю. Лермонтов. — В кн.: В. Б. Шкловский. Заметки о прозе русских классиков. Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Советский писатель», 1955, стр. 170—199.

Эдельштейн Б. Я. Посмертная история Печорина (О восприятии и влиянии лермонтовского героя). — Труды Горьковского гос. пед. ин-та им. Бараташвили, X, 1965, стр. 269—275.

Эйхенбаум Б. М. Герой нашего времени. — В кн.: Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. М.—Л., Изд. АН СССР, 1961, стр. 221—285. Ср. сокр. вариант — «О смысловой основе «Героя нашего времени». — «Русская литература», 1959, № 3 и полностью в кн.: История русского романа в 2-х томах. Т. I. М.—Л., Изд. АН СССР, 1962.

«БЭЛА»

Андреев-Кривич С. А. Песня Казбича. — В кн.: С. А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 72—78.

Виноградов Б. С. Бэла и песня Казбича. — «Научные доклады высшей школы. Филол. науки», 1963, № 2 (22), стр. 187—198.

Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» (Тезисы доклада). — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, 1963, стр. 54—66.

Гиоргидзе Г. Конец Казбича. — «Литературная Грузия», 1958, № 6, стр. 111.

Евзерихина В. А. «Бэла» и путевые записки 30-х годов XIX в. — «Труды объединения кафедр литературы вузов Сибири и Дальнего Востока», т. I, вып. 2, 1960, стр. 51—71.

«БЭЛА» И «МАКСИМ МАКСИМЫЧ»

Виноградов Б. С. Образ повествователя в романе Лермонтова «Герой нашего времени». — «Литература в школе», 1956, № 1, стр. 20—28.

Самбикина М. В. Язык новелл Лермонтова «Бэла» и «Максим Максимыч». — «Известия Воронежского гос. пед. ин-та», т. 10, 1948, вып. 3, стр. 119—148.

Слащев Е. Е. О композиции и системе повествования «Бэлы» и «Максима Максимыча» Лермонтова. — В кн.: Тезисы докладов на X научной конференции профессорско-преподавательского состава Кыргызского гос. ун-та. Серия филол. наук, Фрунзе, 1961, стр. 32—33.

Юсуфов Р. С. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в. М., «Наука», 1964, 270 стр. [Стр. 204—211; фольклорная и историко-бытовая основа «Бэлы»].

«ТАМАНЬ»

Евзерихина В. А. Мастерство Лермонтова в «Герое нашего времени» («Тамань»). — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставрополь, книжное изд-во, 1965, стр. 35—44.

Ефремов А. Ф. Язык новеллы М. Ю. Лермонтова «Тамань». — В кн.: Язык и стиль русских писателей и публицистов (XIX—XX вв.). Труды V—VI научных конференций кафедр рус. языка пед. ин-тов Среднего и Нижнего Поволжья. Куйбышев, 1963, стр. 74—88.

Михайлова Е. Н. Тамань. — «Литературная учеба», 1941, № 7-8, стр. 3—24.

«КНЯЖНА МЕРИ»

Вацуро В. Э. Лермонтов и Марлинский. — В кн.: Творчество М. Ю. Лермонтова. 150 лет со дня рождения. 1814—1964. М., «Наука», 1964, стр. 341—363.

Евзерихина В. А. «Княжна Мери» М. Ю. Лермонтова и «светская повесть» 1830-х годов. — «Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Кафедра русской литературы», т. 219. Вопросы истории русской литературы, 1961, стр. 51—72.

Ефимова М. Т. Работа в школе над повестью «Княжна Мери» при изучении образа Печорина. — «Ежегодник научных работ Херсонского пед. ин-та им. Н. К. Крупской», 1960, гуманитарные науки, Херсон, 1961, стр. 97—105.

Левин В. Об истинном смысле монолога Печорина. — В кн.: Творчество М. Ю. Лермонтова. 150 лет со дня рождения. 1814—1964. М., «Наука», 1964, стр. 276—282.

Лисенкова Н. А. Мотивационная сфера романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (Повесть «Княжна Мери»). — В кн.: Творчество М. Ю. Лермонтова. Сборник статей, посвященный 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. стр. 170—224 (Пензенский гос. пед. ин-т им. В. Г. Белинского. Кафедра литературы. Ученые записки, серия филол., вып. 14). Пенза, 1965.

Прокопенко Л. И. Поиски лермонтовского фокусника. — «Советский цирк», 1962, № 7, стр. 22—24.

«ФАТАЛИСТ»

Бочарова А. К. Фатализм Печорина. — В кн.: Творчество М. Ю. Лермонтова. Сборник статей, посвященный 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. (Пензенский гос. пед. ин-т им. В. Г. Белинского. Кафедра литературы. «Ученые записки, серия филол., вып. 14»). Пенза, 1965, стр. 225—249.

Евзерихина В. А. К вопросу об истоках и проблематике «Фаталиста» М. Ю. Лермонтова. — В кн.: Вопросы творчества и языка русских писателей. Вып. I. Новосибирск, 1960, стр. 3—16.

Никольский В. А. Урок по рассказу Лермонтова «Фаталист». — «Литература в школе», 1964, № 5, стр. 33—36.

Тойбин И. М. К проблематике новеллы Лермонтова «Фаталист». — «Ученые записки Курского пед. ин-та», вып. 9 (Гуманитарный цикл), 1959, стр. 19—56.

ЯЗЫК И СТИЛЬ РОМАНА

Бах С. А. Работа М. Ю. Лермонтова над языком романа «Герой нашего времени». — «Ученые записки Саратовского гос. ун-та», т. 56, 1957, стр. 83—98.

Ефимов А. И. История русского литературного языка. М., Учпедгиз, 1961, 322 стр. [Стр. 255, 268—273].

Ефремов А. Ф. Специфика стиля прозы Лермонтова. — В кн.: Саратовский педагогический институт. Научная конференция, посвященная итогам научно-исслед. работы за 1957—1958 учебный год. Тезисы докладов. Вып. 5. Вольск, 1958, стр. 77—78.

Клюева В. Н. О языке романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — «Русский язык в школе», 1962, № 2, стр. 36—40.

Линник Г. Т. О работе М. Ю. Лермонтова над словом в романе «Герой нашего времени». — «Научные записки Киевского гос. пед. ин-та», т. 32. Некоторые вопросы языкознания и литературоведения. Киев, 1962, стр. 27—43.

Маслов М. М. Персонажи говорят своим языком. — «Литературная учеба», 1940, № 7, стр. 53—74.

Тютяева А. Синтаксические особенности прозы М. Ю. Лермонтова. — «Русский язык в школе», 1961, № 2, стр. 37—41.

ИЗУЧЕНИЕ РОМАНА В ШКОЛЕ

Беляев М. А. Два урока в X классе школы рабочей молодежи. — «Литература в школе», 1959, № 5, стр. 67—70.

Бражник Н. И. Из опыта изучения в VIII классе языка романа Лермонтова «Герой нашего времени». — В кн.: Изучение языка художественных произведений в школе (Из опыта работы). Сб. статей. М., Изд. АПН РСФСР, 1955, стр. 54—69.

Елеонский С. Ф. Изучение творческой истории художественных произведений (Пособие для учителей). М., Учпедгиз, 1962, 304 стр. [Стр. 176—230: Генезис романа «Герой нашего времени»].

Качурин М. Г. и Шнейерсон М. А. Изучение языка писателей. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., Учпедгиз, 1961, 304 стр. [Стр. 178—228].

Корсунский С. Н. Изучение романа «Герой нашего времени» в школе. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставропольское книж. изд-во, 1965, стр. 67—76.

Литвинов В. В. Изучение языка романа «Герой нашего времени» Лермонтова. — «Литература в школе», 1954, № 1, стр. 33—42.

Мотольская Д. К. Изучение композиции литературного произведения. — В кн.: Вопросы изучения мастерства писателей на уроках литературы в VIII—X классах. Сборник статей. Пособие для учителя. Л., Учпедгиз, 1957, стр. 63—122.

Рез З. Я. М. Ю. Лермонтов в школе. Изд. 2-е, доп. Л., Учпедгиз, 1963, 224 стр.; 1 л. портр. [Стр. 126—222].

Русанов Н. А. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Опыт изучения романа в VIII классе средней школы. Под ред. Г. Н. Борисовой. Куйбышев, 1957, 64 стр. (Куйбышевский гор. ин-т усовершенствования учителей).

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» В МУЗЫКЕ, ТЕАТРЕ, КИНО

Гайгерова В. Крепость у Каменного брода. — «Театральная неделя», 1941, № 10, стр. 15 [Композитор о своей опере на сюжет «Бэлы»].

Замошкин К. Поиск и мысль. — «Смена», 1965, № 7, стр. 16—17 [«Герой нашего времени» в Московском театре драмы и комедии на Таганке].

К. «Княжна Мери» Лермонтова на оперной сцене. — «Декада театральных зрелищ», М., 1940, № 8, стр. 7.

Канн Е. Опера «Княжна Мери». — «Советская музыка», 1940, № 8, стр. 113. [Композитор — В. А. Дегтерев].

Лебедев Н. А. Очерк истории кино СССР. Т. I. Немое кино. — М., Госкиноиздат, 1947, стр. 272, 282, 285.

Марьямов А. Натка, Печорин и время. — «Театр», 1965, № 3, стр. 20—26 [«Герой нашего времени» в Московском театре драмы и комедии на Таганке].

Очерки истории советского кино в 3-х томах. М., «Искусство». 1956—1961. Т. I (1917—1934), 1956, стр. 449; Т. 3 (1946—1958), 1961, стр. 380—381.

Паперный З. С. При чем тут Лермонтов? — В кн.: З. С. Паперный. Самое трудное. Статьи. Рецензии. Фельетоны. М., «Советский писатель», 1963, стр. 447—452 [О фильме «Княжна Мери»].

Фрейлих С. И. Драматургия экрана. М., «Искусство», 1961, стр. 56—57 [О фильме «Княжна Мери»].

Хохловкина А. «Бэла» — опера Ан. Александрова. — «Советская музыка», 1946, № 11, стр. 19—34.

IV декада советской музыки в Москве. — «Советская музыка», 1941, № 2, стр. 26 [Об опере А. Александрова «Бэла»].

Шалуновский В. Не тот Печорин. — «Советская культура», 1955, 18 августа [О фильме «Княжна Мери»].

Шкловский В. О художественности. — «Искусство кино», 1955, № 10, стр. 24—25 [О фильме «Княжна Мери»].

БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ

Мануйлов В. А., Гиллельсон М. И., Вацуро В. Э. М. Ю. Лермонтов. Семинарий. Под ред. В. А. Мануйлова. Л., Учпедгиз, 1960, 460 стр. [Стр. 314—319].

Попов А. В. М. Ю. Лермонтов и Кавказ. Рекомендательная библиография с приложением хронологической канвы кавказской биографии поэта. Ставропольское книжное изд-во, 1963, 52 стр. [Стр. 28—31].

М. Ю. Лермонтов. Рекомендательный указатель литературы и методические материалы в помощь библиотекаряю. Сост. Э. Э. Найдич. К 150-летию со дня рождения поэта. Л., 1964, 232 стр. (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) [Стр. 114—120].

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»	7
Первые отклики из двух станов	—
Предшественники и современники Печорина в русской и мировой литературе	11
Творческая история романа. Последние прозаические за- мыслы Лермонтова	17
Спор о творческом методе романа	20
Образ Печорина, его судьба и оценка в истории русской литературы	28
Жанр, построение, стиль романа	38
Комментарий к роману «Герой нашего времени»	56
Предисловие	—
«Бэла»	60
«Максим Максимыч»	126
Предисловие к «Журналу Печорина»	139
«Тамань»	142
«Княжна Мери»	156
«Фаталист»	251
Библиография	266



Виктор Андроникович Мануйлов

РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Комментарий

Редактор *Т. Н. Сопотова*. Переплет и титул *Б. Н. Осенчакова*,
Технический редактор *К. И. Жилина*. Корректор *Н. Ф. Промашкова*.

Сдано в набор 28/III 1966 г. Подписано к печати 14/VII 1966 г.
М-52650. Формат бумаги 84×108^{1/32}. Печ. л. 8,625(14,49)+вкл. 0,06(0,1).
Уч.-изд. л. 15,44+вкл. 0,004. Тираж 75000 экз. (Тематический план 1966 г.
№ 123). Цена без переплета 42 к. Переплет коленкоровый 18 к.

Ленинградское отделение издательства «Просвещение» Комитета
по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, Невский пр., 28
Заказ № 130

Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Главполиграф-
прома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Измайловский
проспект, 29.